ВЯЧЕСЛАВ КОШЕЛЕВ
КОНСТАНТИН БАТЮШКОВ. СТРАНСТВИЯ И СТРАСТИ

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

ВЯЧЕСЛАВ КОШЕЛЕВ

КОНСТАНТИН БАТЮШКОВ. СТРАНСТВИЯ И СТРАСТИ

ВЯЧЕСЛАВ КОШЕЛЕВ

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

ВЯЧЕСЛАВ КОШЕЛЕВ

КОНСТАНТИН БАТЮШКОВ. СТРАНСТВИЯ И СТРАСТИ

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

ВЯЧЕСЛАВ КОШЕЛЕВ

КОНСТАНТИН БАТЮШКОВ. СТРАНСТВИЯ И СТРАСТИ

«Современник»
Москва · 1987

83.3Р1
К76

Рецензент: Г. М. Фридлендер

Кошелев В. А.

К76 Константин Батюшков. Странствия и страсти.— М.: Современник, 1987.—351с., ил. — (Б-ка «Любителям российской словесности»).

В книге впервые на обширном документальном материале, в значительной части своей извлеченном из архивов, воссоздается облик выдающегося русского поэта, мыслителя и литературного критика Константина Николаевича Батюшкова (1787 — 1855). Повествование о его жизненном и творческом пути вводит читателя в атмосферу русского общества начала XIX века. Со страниц книги предстает блистательный круг современников поэта: Карамзин, Жуковский, Вяземский, Гнедич, семья Олениных и многие другие.

Написанная живо, увлекательно и вместе с тем на высоком научном уровне, книга будет интересна и знатокам, и просто любителям отечественной литературы.

Издание приурочено к двухсотлетию со дня рождения К. Н. Батюшкова.

К $\frac{4603010101 - 296}{М106(03) - 87}$ КБ — 7 — 32 — 87

83.3Р1

ПРЕДИСЛОВИЕ

«...Про Раевского набрать не много»,— заметил Батюшков, приведя в записной книжке несколько эпизодов из жизни генерала Н. Н. Раевского, героя Отечественной войны 1812 года.

«Про Батюшкова набрать не много»,— мог бы заметить современный биограф этого выдающегося русского поэта.

Это тем более удивительно, что никому из русских поэтов «допушкинского» времени так не повезло с наследниками, последователями и исследователями, как Батюшкову.

В 1821 году Н. И. Греч, составляя краткую биографическую справку о поэте, не мог даже толком указать время и место его рождения.

В 1843 году В. Г. Белинский, излагая в третьей статье цикла «Сочинений Александра Пушкина» биографию Батюшкова, допустил ряд фактических неточностей, отражавших общий уровень представлений о поэте.

В 1855 году, после смерти Батюшкова, его ближайший друг П. А. Вяземский начал сбор материалов о нем, и с «благословения» Вяземского в журналах пятидесятых — шестидесятых годов появилось несколько интересных статей и публикаций (Н. Ф. Бунакова, П. Г. Гревенца, М. Н. Лонгинова, П. И. Бартенева, М. И. Семевского и других).

В 1880-е годы сводный брат поэта Помпей Николаевич Батюшков развил бурную деятельность по сбору его писем и документов о нем. Материалов набралось очень много, и в 1885 — 1887 годах было выпущено трехтомное собрание сочинений Батюшкова, которое позднейшие исследователи назвали «целой энциклопедией русской литературы конца XVIII — начала XIX века». Подготовил его один из крупнейших филологов того времени Л. Н. Майков «при ближайшем участии» выдающегося библиографа и историка русской культуры В. И. Саитова.

Первый том «майковского издания» открывался большой (в половину тома) статьей редактора «О жизни и сочинениях Батюшкова». В этой монографии (потом она вышла отдельно под заглавием «Батюшков, его жизнь и сочинения») Л. Н. Майков сумел кропотливо обобщить разрозненные факты биографии поэта, ввести его личность в атмосферу литературной жизни начала XIX века, выделить основные этапы становления и развития его творческой индивидуальности. И монография, и само издание были действительно «колоссальными»

по замыслу и исполнению и составили эпоху в развитии русской науки о литературе.

Позже сочинения Батюшкова готовили такие крупные ученые, как Д. Д. Благой, Б. В. Томашевский, Б. С. Мейлах, Г. П. Макогоненко, Н. В. Фридман, И. М. Семенко. Появились многие исследования о творчестве поэта (в том числе две книги Н. В. Фридмана «Поэзия Батюшкова» и «Проза Батюшкова»), ряд публикаций его произведений и писем, вступительные статьи к его однотомникам. В них дается анализ художественного наследия писателя, решается (по-разному) вопрос о его творческом методе, исследуется влияние Батюшкова на русскую поэзию...

Но единственной биографической книгой о поэте до сих пор остается монография Л. Н. Майкова, вышедшая сто лет назад. Она не утратила своей красоты, привлекательности и ценности кропотливых разысканий. Для каждого, кто захочет подробно ознакомиться с жизнью Батюшкова, она явится незаменимым пособием...

Однако история и люди не стоят на месте. За сто лет открылось много новых материалов и фактов, которые позволяют не только уточнить книгу Майкова, но и дать новое объяснение, новое толкование целому ряду эпизодов жизни и творчества Батюшкова.

Батюшков был необычным человеком и необычным писателем. Он удивлял друзей своими «софизмами», раздражал странными поступками — и считался в общем мнении «чудаком». Он удивлял первых читателей неординарностью и странной привлекательностью создаваемых им «безделок». Он удивляет исследователей, которые до сих пор не могут найти ему подходящего «места» в привычной схеме развития литературных направлений, относя его творчество то к сентиментализму, то к неоклассицизму, то к предромантизму; отыскивая в его поэзии и прозе «реалистические тенденции» и «декадентские мотивы»...

Как совместить в его облике то, что исследователи называют «гедонистическим романтизмом» (разумея под этим жизненное и творческое тяготение к воспеванию радостей жизни и любви),— и то трагическое скитальчество, которое ознаменовало всю его «сознательную» биографию?

Как совместить певца «мечты», строившего воздушные замки воображения,— и «поэта-фронтовика» в самом точном значении этого слова?

В привычные схемы литературного процесса не умещается, например, тот факт, что очерк Батюшкова «Прогулка по Москве» написан в 1811 году: по типу повествования и по способу отражения жизни это, собственно говоря, «физиологический очерк» 1840-х годов. А «военные записки» (вернее, наброски их, писавшиеся в 1815 году) очень напоминают по своим мыслям и по характеру повествования «военные рассказы» Льва Толстого. А «Подражания древним», написанные в 1821 году, как бы предваряют художественные поиски русских акмеистов начала XX века. Может быть, Батюшков сам испугался того, что написал: упомянутые произведения увидели свет лишь после его смерти...

Иногда произведения Батюшкова именуют даже «историко-литературными парадоксами»: сказка «Странствователь и Домосед», которая может быть рассмотрена как пародия на романтическую поэму, появилась в 1815 году, когда еще объекта пародии, самой романтической поэмы, не существовало в русской литературе...

«Как растолкуют это?» — спрашивал Батюшков в записной книжке, намечая собственный психологический портрет и пытаясь объяснить самому себе противоречия собственной личности.

Вся писательская деятельность Батюшкова уместилась в пятнадцать лет: тут и слабые начала, и взлеты, и итоги. Эта деятельность пришлась на бурное и сложное время: Отечественная война, движение декабристов — «дней Александровых прекрасное начало». Батюшков оказался в гуще, в самом центре великих событий русской истории.

Это была эпоха пересмотра литературных мнений и переделки литературного быта. На арене словесности столкнулись не только различные творческие индивидуальности, но различные творческие методы: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм... Батюшков учился у всех и не хотел писать «как в старину писали». И с этой точки зрения даже не важно, к какому литературному направлению отнести его творческие поиски.

В применении к каждой поэтической личности, возникшей «на стыке» литературных эпох, есть вопрос не менее важный: какова была историческая роль писателя в формировании общественного сознания? насколько велик его действительный вклад в историю национальной культуры? Конечно, крупные явления в любой области искусства, у любого народа есть прежде всего результат совокупной деятельности многих художников — и прикреплять эти явления к какому-либо одному имени не всегда правомерно. Но и сам этот «осторожный» подход не всегда правомерен. Признаки, характерные для какого-либо явления, в деятельности различных писателей обнаруживаются по-разному. Это дает право исследователю из всей массы лиц, связанных с осуществлением характерных тенденций той или иной литературной эпохи, выделять и выдвигать для изучения в первую очередь тех, в чьем творчестве в наибольшей мере и наиболее отчетливо выразились эти новые тенденции.

Это дает право биографу писать о большом художнике как о явлении не только типическом, но и исключительном.

Батюшков был похож на всех других людей первой четверти XIX века. И — не похож, оставаясь человеком глубоко оригинальным. Это был человек, устремленный в свое время — и обогнавший его. Это был Поэт, не выдержавший натиска житейских противоречий.

Поэтому применительно к Батюшкову очень действенным оказывается именно «биографический метод» изучения писателя. Конечно, его творчество не было зеркальным отражением его жизни. И в то же время он сам предлагал посмотреть на свое творчество как на

Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрилы наслажденья:
Как в жизни падал, как вставал,
Как вовсе умирал для света,
Как снова мой челнок фортуне поверял...

Движимый этими мыслями и сознающий, по выражению Батюшкова, «слабость сил и маловажность занятий моих», автор этой книги предпринял неко-

торые разыскания, результатом которых явилась предлагаемая биография Батюшкова. Опираясь на источники, как опубликованные, так и хранящиеся в архивах Ленинграда, Москвы, Вологды,— он попытался исследовать личность поэта «изнутри» самой этой личности.

Поэтому по своему жанру книга является документальным повествованием: там, где это возможно, приводится сам документ, а не его пересказ,— чтобы читатель мог почувствовать дух изображаемой эпохи, ее стилистику, характер мышления самого поэта и окружающих его людей.

Подзаголовок книги — «Странствия и страсти» — также отражает задачу автора. Применительно к Батюшкову, «странствия и страсти» — это почти то же самое, что выражается традиционно: «жизнь и творчество».

Глава первая. ДЕТСТВО

Образование, или ***воспитание*** *(как говорится на языке материнском), разделяется на две части: на* ***нравы*** *и* ***учение.***

К. Н. Батюшков. Письмо Бернарда Тасса к Порции о воспитании детей

Константин Николаевич Батюшков родился в городе Вологде 18 мая 1787 года в семье среднепоместного дворянина Николая Львовича Батюшкова и жены его Александры Григорьевны, урожденной Бердяевой. Крестным отцом его был тогдашний правитель Вологодского наместничества Петр Федорович Мезенцев*[1].

РОДОСЛОВИЕ

В «Российской родословной книге» П. А. Долгорукова род Батюшковых указан в числе старинных дворянских фамилий, «существовавших в России прежде 1600 года»[2]. По семейному преданию, родоначальником Батюшковых был татарский хан по имени Батыш. Он влюбился в русскую княжну, женился на ней и перешел на службу к московским князьям, приняв православную веру...

Романтическая эта легенда не нашла подтверждения в истории: однако уже с начала XVI века Батюшковы числятся в дворянах, выполнявших ответственные поручения московских князей и владевших поместьями возле Устюжны Железопольской. В 1543 году Семен Дмитриевич Батюшков ездил посланником от Московского государства в землю Молдавскую. В Устюжне, в первой половине XVI века, некий Ляпун Батюшков ведал рыболовецкою слободой, «население которой обязано было ловить красную рыбу в Мологе, на Липенском и других ездовищах и поставлять ее в Москву к царскому столу»[3].

В 1799 году в Герольдию П. Л. Батюшков (дядя поэта) представил поколенную роспись рода и три грамоты, на основании которых род Батюшковых был внесен в первое отделение «Общего гербовника дворянских родов». Начинается эта поколенная роспись Иваном Михайловичем Батюшковым, имя которого упоминается в числе участников первого казанского похода Ива-

---

*Все даты приводятся по старому стилю. В ряде случаев (письма из-за границы) через дробь дается дата нового стиля.

на Грозного (1544 — 1545 годы), где он был есаулом. У Ивана Михайловича было два сына (родоначальники двух «отраслей» рода — старшей и младшей): Тимофей и Федор. Поэт Константин Батюшков был прямым потомком Федора, следовательно, принадлежал к «младшей отрасли»[4].

Правнук этого самого Федора, Иван Никитич Батюшков, чем-то отличился в период Смутного времени и в 1612 году был жалован владениями «в Есеницком стане», в том числе сельцом Даниловским с деревнями Попихой, Трестенкой и несколькими пустошами. В сельце был двор помещика, три «бобыльских двора» и десять десятин пахотной земли. Сын его Матвей Иванович «за службу свою и храбрость во время войны с поляками с 1654 и с турками с 1673 года получил в 1683 году две похвальные грамоты, которые пожалованы ему из поместья его в вотчину Бежецкого уезда в Ясеневском стану деревнею Попихою, жеребьем сельца Голузина и половиною сельца Даниловского, полпустошами Заполком, Круглашем, Богданихою, Дубками, Дубровою, Таболовою, Высокою на речке Холменке, Шалалыкою и Никитиною, жеребьями деревни Крестенки и пустошами Алжеловой, Соповой, Лугинцовой, Волошининой, Хлопотовой, Подольской, Блиновой, Стрелковой и Ножкиной; да в Полянском стану жеребьями пустошей Раскотиной, Борисихи, Белуньи, Голохвастовой, Пупца и Аверкиевой, да в Верховском стану полпустошью Кортуньею, да Углицкого уезда в Новосередском стану деревнею Понизовьем, Озерском, Карашнем и жеребьем в приселке Туханихе и пустошью Вязовик»[5]. Так Батюшковы обрели некоторое «имущество».

Внук Матвея Ивановича Андрей Ильич служил во времена Петра I «по статской части» и дослужился до чина прокурора. В одном из писем Батюшкова-поэта есть упоминание о нем: «...прадед мой был не Анакреон, а бригадир при Петре Первом, человек нрава крутого и твердый духом» (III, 567)[6].

Эта «твердость духа», строгость нрава и успехи в военных предприятиях старших Батюшковых отразились и на родовом гербе, который находился на личной печати поэта и которым тот очень дорожил. Вот его описание: щит — основа любого дворянского герба — «разделен на четыре части, из коих в первой в голубом поле изображен золотой крест, поставленный на подкове, шипами вниз обращенной. Во второй в серебряном поле находится дерево ель. В третьей части в серебряном же поле виден до половины лев с мечом, выходящий из городовой стены красного цвета. В четвертой части в золотом поле красный крест и внизу оного две луны, рогами обернутые к бокам щита. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на поверхности которой распростерто черное крыло, пронзенное серебряною стрелою, летящею в

правую сторону. Намет на щите голубой и золотой, подложенный серебром и красным цветом. Щит держат с правой стороны лев, а с левой гриф»[7]...

ДЕДЫ

У прадеда поэта Андрея Ильича Батюшкова было шесть сыновей: Лев, Михаил, Семен, Илья, Федор и Петр. Двое из них оставили несомненный след в истории.

Лев Андреевич Батюшков, дед поэта, служил сначала в военной, а потом в статской службе. После смерти отца в руках его оказалась основная часть старинных владений Батюшковых. Судя по всему, Лев Андреевич был по-своему человек замечательный. Даже по тем отрывочным сведениям, которые удалось отыскать, можно уверенно сделать этот вывод.

Вот первая деталь. В 1767 году Л. А. Батюшков был избран депутатом от дворянства Устюжны Железопольской в Екатерининскую комиссию по составлению проекта нового Уложения (свода законов). Там он представительствовал недолго, но весьма активно, выступив на заседаниях пятнадцать раз, активно защищая интересы своего, среднепоместного сословия. Его очень уважали в родном крае: в течение пятнадцати лет (до 1883 года) он был предводителем дворянства Устюжно-Железопольского уезда,— а должность эта тогда была выборная и весьма почетная, и выборы проводились раз в два года.

Еще деталь — стихотворная. Выдающийся поэт XVIII века М. Н. Муравьев — его племянник — посвятил Льву Андреевичу несколько строк в своем стихотворении «Путешествие»:

Прехóдим, от валов теченье удаля,
Железом ýстюжским усеяны поля.
Ты принял нас в твоей сени благословенной,
Муж, важный твердостью, родством соединенный.
Ты, от волнения себя уединив,
Находишь счастие среди спокойных нив.

«Муж, важный твердостью...» Именно таковым, человеком властным, независимым и очень уважаемым, Лев Андреевич рисуется в письмах М. Н. Муравьева к отцу, Никите Артамоновичу. В 1777 году он на короткое время приезжал в Петербург и встречался с племянником. «Лев Андреевич...— пишет М. Н. Муравьев,— к нам так добр был и с нами играл в шашки...» И ниже: «На другой день поутру дядюшка поехал, затем что стала наконец зима. После обеда... он вышел, и я письмо ему подал, спросил, от кого, распечатал и, обратившись к свечам, посмотрел. Сказал, что ответствовать будет. Потом, ко

всякому подходя, обошел кружок наш и откланялся. Надобно знать, что с ним говорить улучают вечер»[8].

В музее Пушкинского дома сохранился портрет Льва Андреевича. Еще молодой, статный, энергичный мужчина в паричке: с горбинкой нос, красивые, но пронзительные и колючие глаза, иронический взгляд и желчная складка у губ...

В имении своем Лев Андреевич навел порядок. Он, например, активно занимался приращиванием земель. Сорок шесть лет длилась его тяжба с крупным помещиком А. Ю. Нелединским-Мелецким (отцом известного поэта) за право владения деревней Тучковом и пустошью Кутилихой Бежецкого уезда. Тяжебщик был человек влиятельный и богатый,— но Батюшков-дед выиграл-таки у него дело в 1788 году (огромное это двухтомное дело сохранилось в Центральном государственном историческом архиве)[9].

Но особенно прославился во времена Екатерины II брат Льва Андреевича — Илья. Когда-то очень недолго служил он в гвардии, но дослужился лишь до первого чина, корнета, и по какой-то причине был от службы отставлен. Жил Илья Андреевич Батюшков в селе Тухани, как указано в документах, «ведя жизнь более распутную, нежели порядочную»[10], и, может быть, дожил бы таким образом до седых волос,— не случись одно, на первый взгляд, незначительное происшествие. Летом 1769 года к нему на недельку заехал его сосед по имениям и бывший сослуживец Ипполит Опочинин. Гостил он как обычно: пили, говорили, снова пили... Потом уехал.

В ноябре 1769 года на высочайшее имя поступил донос некоего Алексея Лебедева, лекаря Нарвского баталиона. Донос был о том, что адъютант Опочинин выдает себя за незаконнорожденного сына английского короля и покойной русской императрицы Елизаветы Петровны. В доносе указывалось, что существует заговор против Екатерины II, что около Нового года предполагается схватить ее величество, перестрелять и переколоть ее ближних, а Опочинина, как «законного» наследника, посадить на российский престол. Арестованный Опочинин на допросе в Тайной экспедиции показал, что руководителем предполагаемого заговора, открывшим ему, Опочинину, «тайну» его рождения, является отставной корнет гвардии, а ныне помещик села Тухани Устюжно-Железопольского уезда Илья Батюшков.

Так возникло секретное дело «о говорении важных злодейственных слов». Екатерина II (бывшая немецкая принцесса София Августа Ангальт-Цербтская), пришедшая к власти в результате заговора 1762 года и не имевшая решительно никаких прав на русский престол, чувствовала себя на троне не совсем уверенно и потому относилась к подобным «злоумышлениям» исключительно серьезно. Следователем по делу был назначен обер-

прокурор сената В. А. Всеволожский, один из деятельных пособников воцарения Екатерины, а впоследствии — один из судей над Емельяном Пугачевым.

Всеволожский немедля выехал в Устюжну и 22 декабря 1769 года арестовал Илью Батюшкова (которому в то время было двадцать пять лет). Обыск в усадьбе Тухани ничего не дал, а на допросах Илья Батюшков, «стараясь казаться безумным... иногда заговаривался и отвечал непорядочно», на письменные ответы давал показания «с великим притворством». Привлеченный по делу майор Патрикеев показал, что считал Батюшкова «в уме поврежденным» и одержимым «ипохондрическою болезнию».

Несмотря на это, в ход пошли «увещевания», то есть пытки,— и после «продолжительных увещеваний», на рождество, Батюшков «сознался», но так туманно и сбивчиво, что из этих признаний трудно было что-либо понять. Всплывали имена наследника Павла Петровича, его (умершего уже) воспитателя С. А. Порошина, Григория Орлова, князя Барятинского,— и бог знает кого еще, кого обезумевший от пыток отставной корнет и в глаза-то никогда не видел. «Больно мне досадно на графов Орловых,— заявил он,— что они не помнят милости отца моего и сестру мою Кропотову выгнали из дворца, а меня против воли моей отставили от службы...» Вызвали сестру, Марию Андреевну Кропотову: оказалось, что она не только не была «выгнана из дворца», но и в столицу-то никогда не езживала... Когда же Илья Батюшков вспомнил князя Чернышева и заявил: «...он нашей партии будет, потому что он не Григория Петровича сын, а сын Петра Великого», Всеволожский понял, что пора «увещевания» прекратить и ничего из этого дела уже не выудишь...

Тогда Илью Батюшкова перевезли в Петербург и снова «увещевали». После этого сложилось совсем уж твердое убеждение, что расследуемый «заговор» есть плод его слишком горячей фантазии...

Однако «злодейственные слова» были сказаны; надобно было что-то предпринимать. В январе 1770 года был утвержден высочайший приговор. По поводу Ильи Батюшкова («виновнейшего») указывалось: «...чтобы он таковых вредных плевел между благонамеренными и желающими общего спокойствия и тишины людьми рассевать не мог, то послать его, Батюшкова, *в Мангазею*. А как из дела видно, что он некогда имел в уме помешательство, а посему, когда на него там придет безумство, тогда и в работы употреблять будет неудобно, то производить ему кормовые деньги по две копейки в день... Оттуда же его ни для чего без именного ее императорского величества указа отнюдь во всю жизнь не отпускать». Опочинин же, как менее виновный, был отправлен на новое место службы: в Сибирь, на Иртышскую

линию,— служил там десять лет, а в 1781 году, отпущенный, умер в родовом поместье.

Следы Ильи Батюшкова после 1770 года затерялись, и дальнейшая судьба его неизвестна. Когда двадцать шесть лет спустя Павел I подписал приказ о помиловании «злоумышленника», того искали в его заброшенной енисейской стороне,— но не нашли: сгинул...

Поэт Константин Батюшков приходился ему внучатым племянником.

Между прочим, в 1773 году хозяйственный Лев Андреевич написал просьбу на имя императрицы, прося о разрешении владеть имением «отставного корнета»,— и получил высочайшее соизволение. Потом эти владения были оформлены на Николая Львовича Батюшкова (отца поэта): в Устюжно-Железопольском уезде — село Тухани и деревня Попиха; в Бежецком уезде — сельцо Сандырево и деревни Тучково, Шевелево, Дехтярка, Ольховец, Гвестярка и Малое Никитино; в других губерниях — сельцо Потулино, сельцо Денисово и деревня Кочурово. Наследство не маленькое: двести девяносто душ мужеска пола[11].

ОТЕЦ

Как свидетельствуют материалы дела Ильи Батюшкова, Николай Львович тоже оказался причастен к «умыслу» его дяди. Великой вины за ним не было. Просто летом 1769 года, когда Опочинин приезжал в Тухани, он тоже жил у дяди — и волей-неволей слышал «злодейственные слова». А был он тогда пятнадцатилетний мальчик, записанный в «солдаты лейб-гвардии Измайловского полку». На допросах в Устюжне он дал «чистосердечное показание о всем, что слышал», и Екатерина II утвердила следующее определение: «Николая Батюшкова... отпустить в дом по-прежнему, а чтоб однако же, когда он будет в полку, то б по молодости лет своих не мог иногда о сем деле разгласить, то велеть его от полка, как он не в совершенных летах, отпустить, ибо по прошествии некоторого времени, особливо живучи в деревне, могут те слышанные им слова из мысли его истребиться...»

Дальше начинается самое интересное для биографии Батюшкова. Л. Н. Майков, приведя этот приговор, заметил, что-де отец Батюшкова «был обречен провести свою молодость, так сказать, под опалой» и поэтому нигде не служил, а жил дома, в родовом имении[12]. Это утверждение было безусловно принято позднейшими биографами поэта и попало почти во все вступительные статьи к собраниям его сочинений. «Николай Львович прожил опальным дворянином в своем поместье»,— писал Б. В. То-

машевский[13]. «...Служебная карьера его была разбита навсегда,— заметил Д. Д. Благой,— и большую часть жизни он прожил в опале, в своем крайне запущенном в хозяйственном отношении родовом имении, которое неудачными промышленными предприятиями довел почти до полного разорения»[14].

Как показывает анализ источников, эта романтическая история не соответствует действительности. В одном из списков дворян Устюженского уезда, хранящемся в Государственном архиве Вологодской области, рядом с именем Н. Л. Батюшкова значится: «коллежский советник и кавалер»[15]. Коллежский советник, по табели о рангах,— это довольно высокий чин, приравнивавшийся к армейскому чину полковника. А «кавалер» означает, что Николай Львович был награжден орденами. До полковника не дослужишься, живя в родовом имении...

Приходится искать документы и упоминания,— и в поисках этих сразу же натыкаешься на неожиданные факты. В Центральном государственном историческом архиве сохранилось несколько документов, которые свидетельствуют о том, что отец Батюшкова (благодаря, конечно же, энергии Льва Андреевича) оказался вновь устроен на службу буквально через несколько месяцев после приведенного выше «приговора» императрицы. Вот фрагменты из обширного определения военной коллегии:

> «1774 году, генваря, 30 дня... Государственная военная коллегия по челобитной отставного от службы подпоручика Николая Батюшкова, о котором по справке в военной коллегии оказалось, находился он в Кексгольмском пехотном полку в службе с 1764 году, из дворян, за ним 200 душ. В штабе господина генерал-фельдмаршала и кавалера графа Кирилы Григорьевича Разумовского регистратором, ⟨с⟩ 1770 году майя 26 дня. Переименован прапорщиком ⟨в⟩ 1771 году апреля 25. В походах и штрафах не бывал. К повышению аттестовался достойным. В прошлом 1771 году октября 5 дня оной прапорщик Батюшков, по определению военной коллегии, а по представлению от команды его челобитной, за имеющимися у него болезньми от воинской службы отставлен, указом отпущен в дом на его пропитание»[16].

В январе 1774 года отец поэта вновь подал прошение в службу, «объявляя, что от бывших у него болезней пришел в лутшее здоровья его состояние».

15 августа 1774 года приказом генерал-фельдмаршала П. А. Румянцова Н. Л. Батюшков был «произведен в квартирмейстеры». Квартирмейстером в тогдашней армии именовался особый офицер, который заведовал приемом, хранением и отчетностью провианта, дров и освещения, хозяйством лазарета, огородом, приемом подвод и множеством всяких хозяйственных мелочей. Как проявил себя на этой должности отец Батюшкова,

судить трудно. Во всяком случае, он неплохо продвигался по службе: в 1776 году был уже штабс-капитаном.

Сохранился черновик его челобитной, в которой «архангелогородского пехотного полку квартирмейстер Николай Львов сын Батюшков», находящийся в отпуске до 1 января 1777 года и живущий в своем имении, просит о продлении отпуска «для излечения болезни»: «Я нахожусь в чахотке и водяной болезни, о чем об ней и аттестаты мне даны при осмотре в Устюжне Железопольской воеводской канцелярии присутствующими...»[17]

Военная служба Н. Л. Батюшкова продолжалась до 1781 года: начиная с 1782 года он упоминается в «Месяцесловах с росписью чиновных особ в государстве...» состоящим в гражданской службе по Вологодскому наместничеству. В 1782 — 1785 годах Николай Львович служил в Великом Устюге в должности прокурора 2-го департамента Устюжского губернского магистрата, в чине коллежского асессора. Вероятно будучи в Великом Устюге, он и женился: 22 декабря 1784 года родилась его вторая дочь — Елизавета[18]; старшая же дочь, Анна, была годом старше ее.

С 1786 года Н. Л. Батюшков (уже надворный советник) служит в Вологде, сначала в должности прокурора 2-го департамента верхнего Земского суда, а с 1790 года — в должности губернского прокурора. В 1791 — 1792 годах Николай Львович был переведен на должность губернского прокурора в Вятском наместничестве. В «Месяцеслове...» на 1795 год он значится как «надворный советник и ордена святого Владимира кавалер». В том же, 1795 году отец поэта, в возрасте сорока двух лет, вышел в отставку...

Вряд ли стоило бы так подробно разыскивать обстоятельства службы Н. Л. Батюшкова, если бы они не были связаны с ранними годами жизни его сына...

МАТЬ

Об Александре Григорьевне Бердяевой, матери поэта, сведений почти не сохранилось. Происходила она «из вологодских Бердяевых»[19] и родилась около 1760 года. От брака с нею у Н. Л. Батюшкова родилось пятеро детей: Анна (1783 — 1808), Елизавета (1784 — 1853), Александра (1785 — 1841), Константин и Варвара (1791 — 1880-е).[20] Умерла она, когда будущему поэту было семь лет — 21 марта 1795 года в Петербурге,— и похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, где поставлен ей памятник с надписью: «Добродетельной супруге в знак любви, истинного почитания воздвиг сей памятник оплакивающий невозвратно ее Николай Батюшков купно с детьми своими, 1795»[21].

«Вологодские Бердяевы» были богаты, и приданое за Александрой Григорьевной весьма значительно. После 1807 года именно оно стало основой материального существования Константина и его сестер. Пятьсот шестьдесят душ крепостных в Вологодской и Ярославской губерниях и около двухсот душ в Череповском уезде Новгородской губернии. А старая усадьба Бердяевых — Хантоново — стала для поэта «единственным верным приютом». В одном из писем к сестре Александре он замечал, что имеет, *«благодаря матушке*, кусок хлеба и независимое состояние» (III, 579).

А «матушки» он почти не помнил...

Первые четыре года жизни поэта прошли в Вологде. Сохранившееся в семейных преданиях упоминание о том, что крестным отцом Константина был П. Ф. Мезенцев, правитель Вологодского наместничества, генерал-поручик, кавалер Большого Владимирского креста, второе лицо после генерал-губернатора,— говорит о многом. В чиновной среде провинциальной Вологды Николай Львович Батюшков пользовался большим уважением и чувствовал себя уверенно. Через два года после рождения сына он был назначен на высокую должность губернского прокурора. Но почему же тогда в 1791 или в 1792 году он уехал из Вологды? Как получилось, что он оказался в Вятке, с тем же чином и на такой же должности?

Переезд этот был связан с семейными обстоятельствами. В Вологде 21 ноября 1791 года родилась младшая сестра поэта Варенька. С ее рождением семейное предание связывало начавшееся душевное заболевание матери... В этой ситуации необходимо было, говоря современным языком, «сменить обстановку». Николай Львович переводится в другой город, три старшие сестры отдаются в петербургский пансион, маленькие сын и дочь отвозятся в родительское имение...

Так Константин Батюшков лишился матери. В Вятке ей, вероятно, лучше не стало, и отец, вышедший в отставку, повез больную жену в Петербург, на лечение, где она и скончалась «вследствие расстройства умственных способностей». Предрасположенность к душевному заболеванию, к умопомешательству была каиновой печатью вырождавшихся дворянских родов, доставшейся в наследство и Константину, и Александре, и Анне... Болезнь как черный символ распростерлась над всем родом. В семидесятые годы девятнадцатого века та же болезнь постигла правнука Александры Григорьевны Петра Гревенца.

Константин Батюшков знал о тяжелом наследстве и часто мучился мыслью о неизбежном грядущем безумии. Вот характерный отрывок из его письма к В. А. Жуковскому от 27 сентября 1816 года: «С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло, росло с летами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли — не знаю!..» (III, 403).

И тут же, рядом — мечты о семейной идиллии, которые для

Батюшкова ребенка символизировали нечто далекое от него. К этой идиллии он тянулся всегда, а в 1817 году подготовил даже специальный вольный перевод «Письма Бернарда Тасса к Порции о воспитании детей». Здесь выступает не столько тема поэта (Бернардо — отец знаменитого Торквато Тассо и сам известный поэт),— сколько тема семьи и матери: «И отец, и мать должны быть нрава кроткого, степенного и беспрестанно заботиться о благе детей; они должны облечь добродетелию детей своих, напитать ею их зрение и слух, ум и сердце» (II, 285).

Не помня матери, поэт страстно любил ее: не как детское воспоминание о чем-то светлом и радостном, а именно как отсутствие воспоминания, как несвершившуюся возможность радости. Высказав в письме к сестре свое желание о том, чтобы младшая и любимая Варенька удачно вышла замуж, Батюшков добавляет: «Вот моя молитва перед господом! Да будет на ней Его святое провидение и молитвы покойной незабвенной нашей матери. Тебя же, мой друг, прошу поберечь ее для нас и для себя для самой» (III, 92). Мудрое желание: беречь молитву матери и материнскую надежду, беречь младшую сестру — живое напоминание о матери...

Элегия Батюшкова «Умирающий Тасс» — автобиографична. Одно из горьких мест ее — ранняя разлука с матерью, слезы младенца, оставшегося без матери. Батюшков вкладывает в это рассуждение и свои человеческие чувства:

Соренто! колыбель моих несчастных дней,
Где я в ночи, как трепетный Асканий,
Отторжен был судьбой от матери моей,
От сладостных объятий и лобзаний,—
Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!
Увы! с тех пор добыча злой судьбины
Все горести узнал, всю бедность бытия...

Это смутное чувство с годами становилось все более жгучим. А бытие без матери казалось все беднее...

«ВЕРНИТЕ МНЕ МОИ МОРОЗЫ...»

Друг и сослуживец Батюшкова, брат знаменитого партизана-поэта Д. В. Давыдова Лев («Левушка»), попал в 1814 году, во время заграничного похода русской армии, в плен к французам. В Париже он «говорил одной женщине: «Rendez moi mes frimas» («Верните мне мои морозы». Эта фраза подсказала Батюшкову мысль стихотворения «Пленный»:

Какие радости в чужбине?
Они в родных краях;

Они цветут в моей пустыне
И в дебрях, и в снегах.
Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом!..

Вообще говоря, край, где рожден писатель, в сильной степени определяет характер и общий запас понятий, образов и слов в его творчестве с самых важных периодов жизни — детства и отрочества — когда первые случайные мотивы будущих произведений уже возникают в его творческом воображении. Детские впечатления становятся основой позднейших поэтических шедевров. Кроме того, писателю, вообще художнику, свойственно соединять и воплощать в своих даже самых абстрактных образах те черты, которые раздельно и в разное время составляли облик его родины.

Этим обликом родины для Батюшкова стал русский Север. «Я видел страну, близкую к полюсу, соседнюю Гиперборейскому морю, где природа бедна и угрюма, где солнце греет постоянно только в течение двух месяцев, но где, так же как в странах, благословенных природою, люди могут находить счастие». Так начинается первое прозаическое произведение Батюшкова — «Отрывок из писем русского офицера о Финляндии» (1809). Здесь, собственно, не о Финляндии речь. Здесь возникает тема Севера вообще — того Севера, который Тютчев позже обозначит как «Север-чародей». Уже в первом очерке встает образ глухих, страшных, непроходимых лесов: «Вечное безмолвие, вечный мрак в них обитает». Но эти же «пространные вертепы» становятся обителью народной мудрости и высокой фольклорной и мифологической культуры. «Сии страшные явления напоминают мне мрачную мифологию скандинавов, которым божество являлось почти всегда в гневе, карающим слабое человечество».

«Север-чародей» в трактовке Батюшкова романтичен, а люди, живущие посреди этой чудесной природы — неброской, но воистину прекрасной,— непременно гипербореи, живые выходцы из греческих мифов.

Гипербореи — это страна мудрецов, особенно любимых покровителем искусств Аполлоном. Блаженная жизнь, песни, танцы, музыка и пиры — вот суть их творческого бытия, и даже смерть приходит к ним как избавление от жизненного пресыщения, и они, испытав все наслаждения, бросаются в море... Эти люди владеют древними божественными символами: стрелой, вороном и лавром Аполлона; они, обладая чудодейственной силой, призваны обучать людей и создавать новые культурные ценности.

Рожденным среди таких вот Гипербореев видел себя романтический поэт Батюшков.

К этим же представлениям восходит и эпикурейская, гедонистическая тема в творчестве раннего Батюшкова:

Отгоните призрак славы!
Для веселья и забавы
Сейте розы на пути;
Скажем юности: лети!
Жизнью дай лишь насладиться;
Полной чашей радость пить...—
(«Веселый час», 1806)

и тема смерти как избавления, ставшая основой его поздних стихов:

Без смерти жизнь не жизнь: и что она? Сосуд,
Где капля меду средь полыни...—
(«Подражания древним», 1821)

и тема единственной ценности бытия поэта и его стихов, тема «внутреннего человека»:

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит...
(1821)

Поэтому не случайно герой Батюшкова Филалет (из сказки «Странствователь и Домосед», 1815) в конце своих странствований

За розами побрел — в снега Гипербореев...

Он сам частенько рисовал себя этаким «гиперборейцем», грубым, мудрым и праведным. Посылая в 1817 году А. Н. Оленину поздравление (Оленин был назначен президентом Академии художеств) и указывая, что его поздравительные стихи — это не лесть, он замечает: «Я так загрубел на берегах Шексны и железной Уломы, где некогда володел варвар Синеус, что не в состоянии ничего сказать лестного, не в силах ничего написать, кроме простой, самой голой истины». Живя в деревне, на Севере, он постоянно подчеркивает, что он «среди медведей, но духом посреди избранных» (III, 445).

«Зима убивает меня...— пишет он в другом письме,— посуди сам, каково здесь, в России, в трескучие морозы!.. Здесь, право, холодно во всех отношениях» (III, 449). А в теплых краях он будет скучать по этим самым «морозам».

В своем последнем прозаическом «опыте»— философском диалоге «Вечер у Кантемира» (1816) Батюшков еще раз ставит тему «мороза» и «Севера» — и их роли в развитии наук и худо-

жеств. В основе очерка — спор двух просветителей XVIII века, французского философа Монтескье и русского писателя Антиоха Кантемира. Монтескье заявляет о России, «что климат ваш, суровый и непостоянный, земля, по большей части бесплодная, покрытая в зиму глубокими снегами, малое население, трудность сообщений...— все это вместе надолго замедлит ход ума и просвещения. Власть климата есть первая из властей». Кантемир энергично возражает: «Самый Север не столь ужасен взорам путешественника; ибо он дает все потребное возделывателю полей... С успехами людского просвещения Север беспрестанно изменяется и, если смею сказать, прирастает к просвещенной Европе».

И далее: «...Поэзия свойственна всему человечеству: там, где человек дышит воздухом, питается плодами земли, там, где он существует,— там же он наслаждается и чувствует добро и зло, любит и ненавидит, укоряет и ласкает, веселится и страдает. Сердце человеческое есть лучший источник поэзии...»

И еще далее: «Мы, русские, имеем народные песни: в них дышит нежность, красноречие сердца; в них видна сия задумчивость, тихая и глубокая, которая дает неизъяснимую прелесть и самым грубым произведениям северной музы... Что скажете, г. президент, что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких, родился великий гений?»

Этого «великого гения»— Ломоносова — Батюшков считал «солнцем» русской мысли и русской поэзии: в записной книжке он однажды нарисовал возле его фамилии рисунок солнца с лучами[22], а его «северному» характеру посвятил специальную статью «О характере Ломоносова» (1815). Интересно, что в этом сложном характере он ищет прежде всего черты, близкие ему самому, его житейскому и поэтическому облику: «возвышенную душу, ясный и проницательный ум», чрезмерно увлекающееся «воображение и сердце», «некоторое тайное беспокойство души», «тусклое желание чего-то нового и лучшего», «дерзость в предприятиях»... Все это возникало и формировало Ломоносова «на волнах Ледовитого моря», Батюшкова же — в маленьком дедовском имении Даниловском (что в пятнадцати верстах от Устюжны Железопольской), где он прожил с четырехлетнего до десятилетнего возраста.

«ДЕДОВСКИЙ КРОВ»

В летописях издавна пространство между современными городами Вологодской области — Череповцом, Устюжной и Бабаевом — именовалось Железным полем. И теперь еще среди мхов и торфяников, с редколесьем вокруг больших и малых болот,—

можно найти месторождения железных руд, болотных и луговых. А раньше их было много больше.

На холмах — сосновые боры, богатые зверем и птицей. В реках — знаменитая красная рыба, которая издревле поставлялась отсюда в специальных кадях к столу царя и патриарха. По берегам рек — Суды, Мологи, Чагодощи, Кабожи — плодовитая пахотная земля.

Еще до нашей эры жившие здесь люди научились выплавлять железо, изготавливать орудия труда и пахать благодатную землю. А славяне поселились здесь еще в VIII — IX веках. Потом в устье речки Ижины, впадающей в Мологу (а Молога впадает в Волгу), возникло большое славянское поселение, которое потихоньку да помаленьку к XIII веку стало городом, ремесленным и торговым центром всей территории Железного поля, да, пожалуй, и соседнего Белозерья. Где-то здесь, на реке Сить, 4 марта 1238 года произошла решающая битва владимирских князей с татарами, и Батыевы рати, как известно, не двинулись в район Устюжины и Белоозера. Эта обетованная земля вообще не знала захватчиков.

Тихо и радостно жили эти «гипербореи». Крестьяне, помимо сельскохозяйственных занятий, добывали руду в болотах Железного поля, выплавляли в домницах кричное железо и жгли древесный уголь. В деревнях по берегам Мологи они строили речные суда и ходили на них торговать своими ремеслами. Кузнецы в городах и деревнях ковали плуги и пушки, косы и пушечные ядра и пивные котлы. Устюженские кузнецы попали даже в ирои-комическую поэму Василия Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх»:

Плутон по мертвеце с жрецами пировал,
Вулкан на Устюжне пивной котел ковал
И, знать, что помышлял он к празднику о браге...

Умели они и воевать, ежели придется. В 1609 году под стенами Устюжны был остановлен ополченцами большой отряд поляков под командованием Косаковского, опустошивший многие города и села. В 1812 году целый полк устюженских ополченцев, крепостных графа Матвея Мамонова, отправился защищать родину от французских завоевателей...[23]

От старинного дедовского села Даниловского открывается вид верст на тридцать кругом. Прямо возле окон старого усадебного дома — сад, за ним — поле, а дальше, у кромки горизонта — синий старый бор, населенный издревле дивными чудесами... Помещичий дом небольшой, одноэтажный, с мезонином наверху в три окошечка. На первом этаже — семь окон по фасаду. Дом хотя и старый, но уютный: разве родительские дома бывают неуютными?

Отдай, богиня, мне родимые поля,
Отдай знакомый шум домашнего ручья,
Отдай мне Делию: и вам дары богаты
Я в жертву принесу, о Лары и Пенаты!..
(«Элегия из Тибулла. Вольный перевод», 1815)

Согласно римской мифологии, Лары — это души предков, а Пенаты — боги, покровители семьи и дома. Их статуи должны находиться в особом шкафчике, вблизи очага, в котором поддерживается неугасимый огонь. Это, по терминологии Батюшкова, «отеческие боги»: в их осмыслении соединяются два понятия: отец и Отечество.

Еще чаще у Батюшкова встречается определение «дедовский»: «дедовский кров», «дедовский нрав», «дедовский устав», «солонка дедовска одна»... Что это: просто условное обозначение старины? О деде Батюшкова толком не говорится ни в одной из биографий поэта.

А напрасно: с 1791 по 1797 год будущий поэт был оставлен в Даниловском именно на дедовых руках. Лев Андреевич, которому в те времена уже перевалило за шестьдесят, был еще весьма бодр и умело содержал довольно крепкое помещичье хозяйство. В эти годы в большом дедовском доме, кроме самого хозяина да дворовых, жили только его внук Константин да малолетняя внучка Варенька.

При доме — парк, маленькая церковь и большое родовое кладбище с могилами предков. Эти могилы — немаловажная деталь биографии поэта. За ней — традиция...

В 1821 году молодой поэт П. А. Плетнев, желая польстить прославленному и признанному Батюшкову, поместил в журнале «Сын Отечества» следующую стихотворную «надпись»:

К портрету Батюшкова

Потомок древнего Анакреона,
Ошибкой жизнь прияв на берегах Двины,
Под небом сумрачным отеческой страны
Наследственного он не потерял закона:
Ни вьюги, ни снега, ни жмущий воды лед
Не охладили в нем огня воображенья —
И сладостны его живые песнопенья,
Как Ольмия благоуханный мед[24].

Лестная эта «надпись» утверждала вненациональное, «античное» существо творчества Батюшкова и вполне соответствовала устойчивым представлениям современников о нем как о «Парни Российском», «нашем Тассе», «маленьком Овидии», «новом Тибулле» и т. п. Здесь декларировалось восприятие Батюшкова как «чистого художника», далекого от народной стихии, живого носителя «античных» или «италианских» литературных традиций.

Батюшков, по свидетельству современника, увидел в подоб-

ной трактовке своей поэзии «не только оскорбление, но и донос»[25]. Еще бы: оказывается, что на русском Севере он родился «ошибкой», а надо бы ему родиться в Греции или в Италии,— да и прадед его оказывается не российским дворянином, а самим Анакреоном. «Скажи им,— раздраженно выговаривает Батюшков в письме к Гнедичу,— что мой прадед был не Анакреон, а бригадир при Петре Первом...» (III, 567). Он не позволяет ни себе, ни хвалителям своим забыть истинного своего прадеда...

Андрей Ильич Батюшков, прадед поэта, умер в родовом имении своем в селе Даниловском в 1766 году на шестьдесят седьмом году от рождения. После смерти отца своего, Ильи Матвеевича, он вышел в отставку и занялся хозяйством.

Лев Андреевич, его старший сын, повторил отцовский путь, вышедши по смерти отца в отставку и занявшись управлением наследственных земель.

Старший из двух его сыновей, Николай Львович, отец поэта, в 1798 году, когда отец его занемог, тоже перебрался в Даниловское.

Старшему сыну Николая Львовича, Константину Николаевичу, поэту, такая участь уже не была суждена. И не только потому, что по характеру и наклонностям своим Константин Николаевич не подходил к роли помещика, но и потому, что дележи, неурожаи, тяжбы, невзгоды и всякие житейские передряги совершенно расстроили дедовское хозяйство,— и ему уже, собственно, нечем было бы управлять.

С женами старшим Батюшковым везло — и не везло.

Андрей Ильич был женат дважды, и обеих жен пережил.

Жена Льва Андреевича Анна Петровна (урожденная Ижорина) умерла еще при жизни тестя, в 1765 году, на тридцать седьмом году от рождения, оставив неутешному и горячо любившему мужу двух малолетних сыновей и двух дочерей.

Николай Львович через двенадцать лет после смерти Александры Григорьевны, в 1807 году, женился вторично. Вторая жена, Авдотья Никитична (урожденная Теглева), была моложе мужа на двадцать два года, но и ее отец Батюшкова пережил: она умерла в 1814 году, оставив ему малолетних детей Помпея и Юлию.

Константину Николаевичу участь вдовца тоже не была суждена: он так и не успел жениться за свою долгую и страшную жизнь.

Теперь при Даниловском ни церкви, ни кладбища нет; все заросло, и могил не найти: мало ли могил исчезает из нашей жизни и из нашей памяти? Батюшков и об этом тоже писал, обронив однажды страшный и многозначительный стих:

Минутны странники, мы ходим по гробам...

В годы детства Батюшкова Даниловское было крепким хозяйственным имением. Сохранилась опись усадьбы Даниловское, составленная дедом в 1796 году,— как раз в то время, когда девятилетний внук жил при нем. Лев Андреевич, очень рачительный хозяин, дотошно перечислил в ней все строения, усадебные комнаты, мебель, одежду, посуду, картины, книги, инвентарь...[26] В 1796 году в Даниловском оказались оба его сына: Николай Львович (приехавший из Петербурга после похорон жены) и Павел Львович (1765 — 1848), впоследствии генерал и сенатор, а в то время капитан-поручик Семеновского полка. Обоим сыновьям выделено по отдельной спальне, причем «занавески зеленые гарусные», ранее висевшие «в детских горницах», ныне перевешены в спальню младшего сына.

«Детских горниц», судя по описи, две. В одной висит «образ Спасителя, риза и венец серебреные,— Александры Григорьевны, а от нее благословлены сыну ее Константину Николаевичу», в другой — «образ Варвары Великомученицы». В одной из «горниц», следовательно, живет Константин, в другой — его младшая сестра, которой в то время шел пятый год. Ей же предназначен «полог кисейной белой». В спальне Льва Андреевича, помимо девяти больших и малых портретов, шести картин и родословной рода, обозначен пейзаж, «рисованный Александрой Батюшковой», и пять картин, «детьми вышитых»...

Весьма показательны некоторые детали описи, указывающие на особенности поместного быта Батюшковых. Среди книг усадьбы Даниловское перечислены «Лексикон российский словесной», сочинения Марка Аврелия, Квинта Курция, басни Эзопа, «Жиль-Блаз» (плутовской роман А. Р. Лесажа), «История натуральная», «Опыт российской географии», «Письменные оды Ломоносова», «Флорентова экономия», «Житие Петра Великого» (книга рукописная, вероятно наследство прадеда) и так далее.

В зале и столовой висят портреты царей, фамильные портреты, большое количество «картин исторических». В «лакейской горнице» висят «портрет персицкого шаха и японского императора», «две картины на полотне о картежниках и поставщиках», «рожа убийцы — короля швецкого». В сенях — и того лучше: «рожа Димитрия Самозванца» и «рожа Емельки Пугачева».

Ну, а что касается хозяйства и домовитости... Вот единственный пример: в описи перечислено три имеющиеся в усадьбе кареты, четыре коляски, «трои» дрожек, три одноколки, две летние кибитки и две зимние, три зимних возка, пять саней, «трои» розвальней...

Все это — осколки первых жизненных впечатлений поэта. Портреты предков. Образ, подаренный матерью. В кабинете дед читает: он не любит, когда дети шалят. За зеленой занавес-

кой — окно, за окном зима, снег. Весело потрескивают дрова в простой беленой печке. Очаг...

ВОСПИТАНИЕ

Евгений Онегин, герой пушкинского романа, родившийся лет на восемь позже Батюшкова, претерпел обычный путь воспитания дворянского недоросля, который Пушкин описал кратко и гениально:

> Судьба Евгения хранила:
> Сперва Madame за ним ходила,
> Потом Monsieur ее сменил...

Француз и француженка в качестве гувернеров были характернейшими фигурами тогдашнего домашнего воспитания. В наброске «Русский Пелам» Пушкин дал яркую картину такого образования: «Отец, конечно, меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек не глупый и не без сведения, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; третий, проживавший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме тогда только догадались о том, когда пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со всего дому не давать ему покою, и что сверх того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке»[27].

Пушкин вовсе не преувеличивает «достоинств» французских гувернеров. Русская сатирическая литература и свидетельства самих французов конца XVIII века изобилуют подобными анекдотами. «Тут и рассказы о французе, который преподавал французскую грамматику, но, будучи подвергнут сам профессиональному экзамену, на вопрос о наклонениях (по-французски «mode») французских глаголов, отвечал, что давно покинул Париж, а моды там меняются постоянно, и о том, как французский посол в 1770 году узнал в Петербурге в одном учителе своего бывшего кучера, а начальник кадетского корпуса Ангальт — бывшего барабанщика своего полка, которого он лично приговорил к телесному наказанию»[28].

Провинциальные же гувернеры (а Устюжна к началу XIX века стала глухой российской провинцией) были еще рангом ниже. С ними соседствовали приглашаемые «по билетам» уездные цыфиркины и кутейкины, бывшие достойным фоном для французских кучеров и барабанщиков.

Отголоски этого, домашнего, воспитания мы находим в одном

из позднейших неопубликованных писем Батюшкова, датированном 24 марта 1816 года. В это время сестра Батюшкова Елизавета, жившая в Вологде замужем за П. А. Шипиловым, обратилась к поэту с просьбой (он жил тогда в Москве) подыскать хорошего и сравнительно дешевого француза-учителя для воспитания десятилетнего сына Алеши. Батюшков, судя по письмам, очень любит своего племянника, но отвечает следующее: «Долгом поставляю говорить с вами откровенно, без предубеждений и лести, о *деле столь нежном*. Первое, по справкам моим оказалось, что здесь иностранцев, достойных уважения, мало, особенно французов, что хороший (или то, что называли хорошим, а по-моему, скотина скотиной) не поедет вдаль ни за какую сумму».

Далее Батюшков предлагает свой проект воспитания племянника: отдать его учиться «лет шесть сряду» в Московский университетский благородный пансион: «...Общественное воспитание для небогатых дворян необходимо и есть лучшее... Рано или поздно надо будет с сыном расстаться. Лучше расстаться ранее, нежели взять в дом урода морального, каковы по большей части все выходцы из земли Вольтеровой; или невежду, ибо они — я, право, не лгу — едва ли и читать умеют: так переродилась вся нация!»[29] Ну как тут не вспомнить инвективы Грибоедова против «французиков из Бордо» или облик Вральмана в комедии Фонвизина «Недоросль»!

Самому Батюшкову в детстве повезло: он избежал участи Митрофанушки. Первоначально его образовывал дед.

Правда, сколько можно судить из одного дошедшего до нас письма, у Николая Львовича было поначалу другое намерение. Письмо адресовано отцу поэта, в то время служившему в Вятке. Отправительница — некая Мария Эклебен, содержательница пансиона, в котором воспитывались старшие сестры. «Уведомляем вас,— пишет М. Эклебен,— что деньги 900 рублей исправно получили и покорно вас благодарим. По свидетельствовании от детей ваших, которые, слава богу всевышнему, все здоровы, и нашего обоюдного почтения вам и любезной Александре Григорьевне...» Письмо датировано 4 мая 1793 года.

В этом же письме есть деталь, касающаяся Константина, которому к тому времени еще не исполнилось шести лет. В предыдущем письме Н. Л. Батюшков просил воспитательницу дочерей «разведать» возможности отправления малолетнего сына в казенное учебное заведение. М. Эклебен отвечает обстоятельно и дотошно: «Что принадлежит до отдачи Константина Николаевича в корпус, то кажется нам, что предпринятое вами намерение не худо, ибо мы рассуждаем: когда первой степени особы детей своих препоручают корпусу, то для чего ж бы и вам не отдать своего сына, а чтобы получше за ним был присмотр, то стоит лишь попросить ту мадам, у которой он находиться будет,

и дать ей сто рублей в год, что вы, верно, не пожалеете. Что ж до пищи и учения принадлежит, то первое, конечно, не может так быть, как дома, а последнее, как вы и сами ведаете, гораздо лучше и превосходнее домашнего. Относительно до приема детей, то оной не прежде будет, как в будущем марте, о чем, однако, поскольку еще довольное имеется время, узнавши повернее, вас уведомить не упустим. Детей же принимают в корпус не иначе как 17, по осмотрам и свидетельствам корпусного доктора и штаб-лекаря о здоровом их сложении и безвредном состоянии, с достаточным от губернского предводителя доказательством о дворянстве и достовернейшего о крещении его от приходского священника свидетельства»[30].

В какой именно корпус хотел Николай Львович поместить сына — кадетский или пажеский — не ясно. Что-то помешало этому намерению: вероятно, за хлопотами о больной жене отцу стало уже не до сына... Вряд ли в Даниловское приглашались специальные гувернеры: во всяком случае, в цитированной выше описи имения какой-либо комнаты для гувернеров не указано. Так что самым вероятным «воспитателем» будущего поэта был единственный из обитателей Даниловского, живший там постоянно,— старый хозяин Лев Андреевич, «муж, важный твердостью».

Он обладал, как видно из сохранившихся его распоряжений к сыновьям и приказчикам, характером крутым и упорным, был весьма начитан и мог научить многому. Во всяком случае, русской грамоте научил Батюшкова дед.

Сохранилось письмо десятилетнего Константина к сестрам; оно свидетельствует, что мальчик, писавший еще детским почерком, уже неплохо владел грамотой. Совершенно неожиданной и не детской оказывается стилистика письма: оно пестрит выражениями и оборотами, бывшими в ходу именно у дворянина «галантной» эпохи шестидесятых — семидесятых годов XVIII века. Приведем его целиком, сохраняя орфографию письма:

«Любезные сестрицы! Вы неможете себе представить, сколь я сожалею, что так долгое время не имел удовольствия получать от вас известия с новостями о вашем здоровьи. Вчерашний день препроводил я очень весело у сестриц моих, которые в присудствии моем писали к вам письма с не весьма великим выговором, который подносят они вам зато, что вы к ним не пишите, может быть, что сей выговор возымеет свое действие и произведет у вас желание повеселить нас вашим уведомлением. Извещая вас о сем, с почтением остаюсь ваш брат *Константин Б.*»[31].

Вычурные обороты эпистолярного стиля десятилетнего мальчика появляются, конечно же, в подражание «взрослым» письмам, а сам образец для подражания — «семейное» письмо XVIII ве-

ка — позволяет конструировать и его носителя: тип человека, очень близкого по социальному и психологическому облику к деду поэта...

Письмо датировано 6 июля 1797 года. Из его содержания (брат навещает сестер, живущих отдельно) видно, что Константин в Петербурге (сестры живут в пансионе) и что прибыл он сюда недавно, ибо в собственном сознании мальчик еще ощущает себя неким связующим звеном между теми, от кого он уехал, и теми, к кому приехал. Так что, скорее всего, именно летом 1797 года Николай Львович привез сына из Даниловского в Петербург для помещения в учебное заведение.

Николай Львович задержался в Петербурге на полтора года. Сохранился отрывок из его прошения на высочайшее имя, показывающий, в какое тягостное материальное положение попала в то время его семья:

> «Надворный советник Батюшков, имея четырех дочерей и пятого сына, всеподданнейше просит о всемилостивейшем их награждении, объясняя в просьбе своей, что семилетним воспитанием трех старших дочерей в пансионе, двулетнею болезнию умершей его жены и двулетним же проживанием в Петербурге без жалованья ввергнут он в несчастное состояние, по случаю коего, задолжав до 10 000 руб., не в состоянии доставить приличного воспитания меньшим его сыну и дочери. Упоминает при том о службе деда своего при государе Петре Первом во время войны со шведами, брата внучатого при вашем величестве в наследничьем Кирасирском полку, родного брата гвардии Семеновского полку. Равно и о своем служении, в продолжении которого взыскано казенной недоимки до 100 000 руб. и приращение последовало казне до 50 000 руб., также и о том, что в течение 10-летней надворным советником службы были два производства, но он при обеих обойден и уволен до выздоровления с тем же чином»[32].

Прошение это, по всей видимости, было удовлетворено частично: уволенный от службы Н. Л. Батюшков получил следующий чин. Долги же, сделанные им во второй половине 1790-х годов, стали основой всех его будущих хозяйственных неурядиц. Николай Львович прожил до шестидесяти четырех лет, но так и не смог расплатиться с долгами, хотя помаленьку спускал нажитое отцом состояние. В октябре 1815 года его имение было за долги (двадцать две тысячи рублей) отдано в опеку; в 1819 году, уже после смерти его, село Даниловское вместе с усадьбой было за долги же продано[33].

Пока же, в 1797 — 1798 годах, Лев Андреевич, предчувствуя, что петербургские похождения сына добром не кончатся, зовет его в Даниловское: приезжай домой, незачем заживаться в столицах, делать долги... Николай Львович отца побаивался,—

но с отъездом тянул. Тогда старик написал весьма грозно, адресовав письмо младшему сыну, Павлу, который в Петербурге же служил: «И получа сие письмо, того ж часу съезди к брату твоему, и покажи ему сие письмо, и усовести его об отъезде, и скажи ему, чтоб ехал ко мне как наискорее, и с девками его, большими тремя дочерьми. Ежели же не исполнит моего повеления, то поеду вскорости сам в Петербург, и когда его тут найдут, то приезд мой будет к его несчастию, о чем я к нему писал на прошедшей почте. Не допустил бы меня до оного»[34].

Константин в дедовском письме не упоминается: к тому времени он уже был благополучно пристроен в пансион.

ПАНСИОНЫ

Пансион располагался на набережной Невы, возле пятой линии Васильевского острова, под боком у Академии художеств. Плата за обучение сравнительно невелика — семьсот рублей в год. В верхнем, третьем этаже живут воспитанники обоих классов — старшего и младшего; в нижнем — классы и службы, а бельэтаж занимает содержатель и директор пансиона, француз Осип Петрович Жакино.

Жакино, француз из Эльзаса, состоял учителем французской словесности в сухопутном шляхетном корпусе. Умер он в 1816 году, и по свидетельствам некролога был человек весьма почтенный и нравственный[35]. Особое внимание в пансионе уделялось французскому языку; на нем преподавалась большая часть предметов: география, история, арифметика, химия, ботаника, чистописание и танцы... Учителя были в основном немцы и французы: Коль, Баумгертель, Грандидье, Швабе, Делавинь. Русскому языку обучал (в старшем отделении) Иван Сиряков, забытый ныне поэт. В 1803 году Сиряков выпустил в свет плохой перевод «Генриады» Вольтера, а семь лет спустя Батюшков напечатал эпиграмму на этот перевод.

У Жакино, очевидно, не многому учили, так как на пятом году обучения (уже будучи в другом пансионе) Батюшкову пришлось, как видно из его писем к отцу, начинать только вторую часть арифметики, геометрию, географию и первые правила российской риторики.

Батюшков пробыл в пансионе Жакино, по его собственному признанию, около четырех лет, и в 1801 году он — уже в другом пансионе, содержателем которого был итальянец Иван Антонович Триполи. Трудно сказать, по каким причинам состоялся этот переход из одного заведения в другое: вероятнее всего, потому,

что пансион Триполи был рангом пониже и стоил подешевле. Триполи преподавал в Морском кадетском корпусе географию и был «предмет общих насмешек воспитанников по своим странным шутовским приемам, по своей фигуре и возгласам»[36]. Воспитанники кадетского корпуса составили даже шараду на его имя:

Коль первый слог вы знать хотите,
По пальцам граций перечтите;
Второй — река, обильная водами,
Течет в Италии зелеными лугами;
Мой третий слог — союз,
А целое — полуфранцуз,
Прекрючковатый нос, фитою ножки,
Морской мундир, гусарские сапожки[37].

Батюшков проходил здесь старшие классы. «Я продолжаю французской и итальянской языки,— пишет он отцу 11 ноября 1801 года,— прохожу италиянскую грамматику и учу в оной глаголы; уже я знаю наизусть довольно слов. В географии Иван Антонович истолковал нужную материю, велит оную самим без его помощи описать; чрез то мы даже упражняемся в штиле... Теперь занимаюсь переводами. Рисую я большую картину карандашом — Диану и Ендимиона, которую Анна Николаевна мне прислала, но еще и половины не кончил... На гитаре играю сонаты» (III, 3).

«Сонаты» на гитаре означали некую свободу нравов. И сама фигура «полуфранцуза» Триполи не располагала к высоконравственному поведению воспитанников. Вот сохранившийся анекдот об этом батюшковском воспитателе из кадетского корпуса: «Однажды в один из средних классов... во время урока г-на Триполи ворвался камер-паж буквально в райской одежде праотца Адама. Учитель всполошился, испугавшись, как бы не набрело начальство на такую всего менее классическую живую картинку. Расшалившийся головорез обещал уйти только на условии, если г. Триполи согласится сесть к нему на корточки и прогалопировать по классу,— и вместо того пронесся с ним вдоль всего классного коридора»[38]. Об учителях плохо не говорят, но...

Курс обучения у Триполи был никак не выше, чем у Жакино, но для нас важно, что новым для Батюшкова предметом здесь стал итальянский язык: он, наряду с французским, стал одним из любимых его языков. Кроме того, Батюшков в достаточной степени знал немецкий, английский, латынь. Он научился неплохо рисовать и начал интересоваться модными философскими течениями. Одним словом, он начал подрастать...

Николай Львович в годы учения сына в Петербурге почти не бывал и поручил надзор за ним своему дальнему родственнику и знакомому, пошехонскому помещику Платону Аполлоновичу Соколову (пятнадцать лет спустя сестра Батюшкова

Варенька вышла замуж за его брата — Аркадия Аполлоновича). Сведений о Платоне Аполлоновиче почти не сохранилось, но с ним связан первый литературный опыт будущего поэта.

12 марта 1801 года на российский престол вступил Александр I. С его воцарением многие умы России связывали будущие надежды. Похвальные слова на воцарение Александра I пишут Державин, Карамзин, Шишков. 15 сентября 1801 года известный московский митрополит Платон (Левшин) произнес знаменитую речь на его коронование. Перевод этой речи на французский язык и стал первым печатным трудом будущего поэта. «В свободное время переводил я речь Платона,— пишет он отцу,— ...а как она понравилась Платону Аполлоновичу, то он и хочет ее отдать напечатать. К оной присоединил я посвятительное письмо Платону Аполлоновичу, которое, как и речь, были поправлены Иваном Антоновичем» (III, 2). К концу года брошюрка четырнадцатилетнего переводчика (шестнадцать страниц, в восьмую долю листа) вышла из печати.

В это время Батюшков очень много читает. «Сделайте милость,— замечает он в том же письме к отцу,— пришлите Геллерта, у меня и одной немецкой книги нет, также лексиконы, сочинения Ломоносова и Сумарокова, Кандида, соч. Мерсье, Путешествие в Сирию, и попросите у Анны Николаевны каких-нибудь французских книг...» (III, 3). Список этот поражает чрезвычайной пестротой: благочестивый Геллерт и скептический Вольтер, наблюдатель Вольней (автор «Путешествия в Сирию») и фантаст Мерсье (автор книги «Год 2440-й»), и два русских поэта, столь несходные между собою...

Позже в статье «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815) Батюшков так отозвался о собственных переживаниях на пороге юности: «Во время юности и огненных страстей каждая книга увлекает, каждая система принимается за истину, и читатель, не руководимый разумом, подобно гражданину в бурные времена безначалия, переходит то на одну, то на другую сторону». А читал Батюшков в те времена, что называется, запоем: многие европейские писатели и мыслители, даже самые малозначительные, не миновали знакомства с пятнадцатилетним юношей из пансиона Триполи...

В 1802 году учение Батюшкова было закончено. Одновременно кончилось детство.

«Его сиятельству господину действительному тайному советнику, члену Государственного совета, сенатору, министру народного просвещения и кавалеру графу Петру Васильевичу Завадовскому. Из дворян Константина Николаева сына Батюшкова. Покорнейшее прошение.

В службе его императорского величества нигде я опреде-

лен не состою, а как я имею совершенные лета, то посему, ваше сиятельство, покорнейше и осмеливаюсь просить о определении меня в канцелярию министерства, высочайше вашему сиятельству вверенного, без произвождения мне жалованья, на собственное мое содержание.

К сему из дворян Константин Батюшков руку приложил. *Декабря... дня 1802»*[39].

Покамест Батюшков получил лишь какое-никакое образование — и только! Для того чтобы он стал Поэтом, надобно было пройти еще одну ступеньку — и важнейшую! Ему необходимо было найти, повстречать, полюбить некоего Человека...

Глава вторая. МУРАВЕЙНИК

...Я говорил о нашем Фенелоне с чувством; я знал его, сколько можно знать человека в мои лета. Я обязан ему всем и тем, может быть, что я умею любить Жуковского.

К. Н. Батюшков. Из письма к В. А. Жуковскому от 3 ноября 1814 года (III, 305)

Дед Батюшкова, Лев Андреевич, был женат на Анне Петровне Ижориной, а ее родная сестра, рано умершая, была замужем за Никитой Артамоновичем Муравьевым, отцом Михаила Никитича. А сам М. Н. Муравьев, поэт, прозаик и просветитель конца XVIII столетия, приходился Константину Батюшкову двоюродным дядей.

ДЯДЮШКА

Об известном, но забытом поэте XVIII века М. Н. Муравьеве существует обширная литература[1]: большинство исследований относится к недавнему времени. Лишь в конце 1930-х годов литературоведы обратили серьезное внимание на этого оригинальнейшего поэта-новатора.

Биография его вкратце такова. Родился Михаил Никитич Муравьев 25 октября 1757 года. Отец его, Никита Артамонович, служивший в военных инженерах, часто менял обители своего местопребывания: Смоленск, Вологда, Архангельск, Оренбург, Москва, снова Вологда, Петербург, Тверь... Сына своего и дочь, Федосью Никитичну, военный инженер возил с собою, и из-за частых переездов будущий поэт систематического образования не получил: лишь полтора года он проучился в гимназии при Московском университете и несколько месяцев (до начала 1770 года) — в университете.

Однако это отсутствие единого и цельного воспитания не помешало М. Н. Муравьеву стать одним из образованнейших людей своего века. Еще в Оренбурге пятилетний Михаил учился немецкому языку у местного обывателя Калау, а с отцом стал заниматься математикой. На акте университетской гимназии 17 декабря 1769 года он отличился произнесением «признательных речей» на французском и немецком языках. Живя в Архангельске (в 1770 году), он уже активно занимается науками, ведет переписку со старшим товарищем своим по оставленному уни-

верситету Николаем Рахмановым, который шлет ему краткие конспекты лекций по философии профессоров Барсова и Штадена. В октябре 1772 года Муравьев становится солдатом Измайловского полка — но служба не мешает его дальнейшим занятиям. Он интересуется математикой, механикой, физикой, историей, живописью, часто бывает в Академии художеств, посещает лекции профессоров Эйлера и Крафта, изучает греческий, английский, итальянский языки, не пропускает новых спектаклей на театре, рисует, пишет стихи...

В 1773 — 1775 годах печатается семь его книг: «Басни в стихах», «Переводные стихотворения», «Слово похвальное Михайле Васильевичу Ломоносову», «Военная песнь», «Оды»... Литературные круги Петербурга приветливо встречают способного юношу. Его наставником в поэзии становится поэт Василий Майков, ему покровительствует Михаил Херасков и приглашает для сотрудничества в журнале Николай Новиков. Он становится членом «львовского кружка» молодых литераторов (В. В. Ханыков, Н. А. Львов, И. П. Тургенев, И. И. Хемницер и др.), вместе со своими молодыми сослуживцами много думает о будущем русской литературы — и начинает перевод Гомеровой «Илиады», следуя стихотворному размеру подлинника. Он знакомится с актером и драматургом И. А. Дмитриевским, поэтами В. В. Капнистом и Я. Б. Княжниным, сближается с Г. Р. Державиным. В 1776 году Муравьева принимают в члены Вольного российского собрания при Московском университете.

Продвижение по службе между тем идет весьма неуспешно. Худо-бедно дослуживается он до звания прапорщика — и записывает в дневнике: «Гвардии прапорщиком я ⟨стал⟩ поздно и своим величеством могу удивлять только капралов. Но дурак я, ежели стыжусь в мои годы быть прапорщиком; дурак, ежели кто меня почитает по прапорщичеству. Неоспоримые титлы мои должны быть в сердце»[2]. А в письме к отцу от 17 июля 1778 года, говоря о смене очередного «фаворита» императрицы, он замечает, что при дворе «все управляется по некоторым ветрам, вдруг восстающим и утихающим так же. Любимец становится вельможей; за ним толпа подчиненных вельмож ползает: его родня, его приятели, его заимодавцы. Все мы теперь находим в них достоинства и разум, которых никогда не видали. Честный человек, который не может быть льстецом или хвастуном, проживет в неизвестности»[3].

Между тем сам Муравьев счастливо миновал и «честной» неизвестности и «льстивой» известности. В 1785 году кто-то обратил внимание Екатерины II на незаурядного, многосторонне образованного прапорщика. Он переводится во дворец и с ноября 1785 года зачисляется в «кавалеры» и наставники великих князей Александра и Константина Павловичей. Он преподает им русскую словесность, русскую историю и нравствен-

ную философию, а после приезда (в 1792 году) невесты Александра обучает русскому языку будущую императрицу.

На посту царского воспитателя Муравьев явил себя незаурядным педагогом, что подтвердили и его повестушки и статьи, написанные с учебной целью, а также рассказы о русской истории и прозаические повести «Обитатель предместия» и «Эмилиевы письма», форма и язык которых предварили прозу Карамзина. Впрочем, и в своих педагогических исканиях он оказался и мягкосердечен, и наивен, воспитывая будущих венценосцев на идеях Адама Смита, Кондильяка, Мабли, Мирабо, Руссо. Он желал воспитать истинно просвещенных монархов, понимающих значение развития промышленности и торговли, видевших в своих подданных людей, а не скотов...

В феврале 1796 года, по окончании воспитания цесаревича Константина, Муравьев был уволен от службы в чине бригадира — и перешел в статскую службу. В 1800 году он становится сенатором, а в 1801-м, после восшествия на престол своего воспитанника Александра I, — статс-секретарем по принятию прошений. В 1803 году он уже товарищ министра народного просвещения, попечитель Московского университета, тайный советник.

Вот в это-то время он и берет под свое «призрение» своего двоюродного племянника Константина Батюшкова, выпущенного из пансиона Триполи.

ДЯДЮШКИНЫ ПОУЧЕНИЯ

М. Н. Муравьев был по характеру своему человеком «семейственным». Многочисленную родню свою он ласково именовал «муравейником» — и кого только в этом «муравейнике» не было! И «братец Иван Матвеевич, и дядюшка Матвей Артамонович, и Николай Федорович, и Захар Матвеевич»[4] — все Муравьевы. «Вообразите, сколько нас тогда было,— описывает он одно из заседаний «муравейника» в письме к отцу от 11 декабря 1777 года.— Лев Андреевич, который к нам так добр был и с нами играл в шашки... Нас четыре брата. Сколько разных нравов»[5].

Дед поэта Л. А. Батюшков частенько упоминается в письмах Муравьева (сержанта Измайловского полка) в 1777 — 1778 годы. Через двадцать пять лет в его жизнь входит внук Льва Андреевича, выпущенный по шестнадцатому году из пансиона, как то и было положено в те непритязательные времена:

> И лет шестнадцати мой друг
> Окончил курс своих наук...
> *(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин», варианты)*

Батюшков начал службу свою без жалованья, в числе «дворян, положенных при департаменте министерства народного просвещения». Определение его состоялось 20 декабря 1802 года, через три месяца после образования самого министерства (образовано 8 сентября 1802 года). Почти через год службы, 7 ноября 1803 года, ему был пожалован первый «табельный» чин коллежского регистратора[6]. С 1804 года началась иная служба: М. Н. Муравьев взял его к себе на должность секретаря. Позже Батюшков вспоминал, что вел он себя на этой службе как истый «баловень» (III, 67) и «очень не усердно» занимался письмоводительскими делами. Кое-какие следы этой деятельности нам удалось отыскать в архиве. Так, 15 ноября 1804 года Александр I утвердил новый устав Московского университета. «Проект изменений в уставе» переписан рукою Батюшкова[7]; возможно, он принимал какое-то участие и в составлении проекта.

Дело, однако, было не только в службе. Гораздо важнее для Батюшкова было то, что в 1802 — 1806 годах он стал своим человеком в семействе тайного советника (и «дядюшки») Муравьева.

Михайло Никитич — такой мягкий и «домашний», вовсе не похожий на именитого сановника. Любезная тетушка Катерина Федоровна: ей чуть за тридцать, у нее шестилетний сын Никита, и она беременна вторым, и она обворожительна и ласкова. Какая-то очень «нестрогая» обстановка большой петербургской квартиры: преданные слуги, приживалы, гости, гувернер — француз де Петра́... В 1802 году Батюшков вошел в эту квартиру легко и просто — и остался в ней на правах «своего», на положении «любимчика» и «баловня».

После смерти М. Н. Муравьева его младший современник и добрый знакомый Н. М. Карамзин сказал о нем знаменательную фразу: «Страсть его к учению равнялась в нем со страстью к добродетели»[8]. Батюшков испытал эту страсть на себе.

Товарищ министра и попечитель Московского университета, Михаил Никитич чрезвычайно занят делами по службе. Историк Михаил Погодин, анализируя деятельность Муравьева, назвал его «идеальным куратором» университета. А для Батюшкова он сам явился университетом знаний. В «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» (1816) поэт дает такую характеристику Муравьева: «Под руководством славнейших профессоров московских, в недрах своего отечества, он приобрел свои обширные сведения, которым нередко удивлялись ученые иностранцы; за благодеяния наставников он платил благодеяниями сему святилищу наук: имя его будет любезно всем сердцам добрым и чувствительным; имя его напоминает все заслуги, все добродетели. Ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних, редкое искусство писать он умел соединить с искрен-

нею кротостию, с снисходительностию, великому уму и добрейшему сердцу свойственною».

Это не просто красивые слова и не только дань очевидной признательности. Батюшков был обязан Муравьеву и знанием латинского языка, и ранним развитием литературного вкуса, и множеством нравственных уроков. «При конце жизни своей» Муравьев, обремененный «государственными занятиями,— пишет Батюшков,— ...редко беседовал с музами, уделяя несколько свободных минут на чтение древних в подлиннике, и особенно греческих историков, ему от детства любезных». Учитель открыл Батюшкову многообразный мир классической древности, мир Горация и Тибулла. Он сумел привить поэту, восприимчивому и тревожному духом, светлый оптимизм философских убеждений,— и этот оптимизм и надежда на лучшее не покидали Батюшкова и в самые тревожные минуты...

Он сделал Батюшкова поэтом в жизни,— и был одним из немногих, кто сумел понять его до конца.

Вот характерный эпизод — воспоминание, приведенное Батюшковым в письме к Н. И. Гнедичу в 1810 году (III, 64 — 65). Оно относится к 1803 — 1804 годам, когда Батюшков служил в канцелярии Муравьева секретарем по Московскому университету. На должности «расставщика кавык и строчных препинаний» семнадцатилетний поэт не слишком усердствовал и заслужил среди своих товарищей репутацию «ленивца». Непосредственным начальником его («старшим письмоводителем») был капитан флота в отставке Николай Назарьевич Муравьев, который, кстати, впоследствии тоже стал литератором и даже выпустил собрание своих сочинений под названием «Некоторые из забав отдохновения»...

«...Николай Назарьевич, негодуя на меня за то, что я не хотел ничего писать в канцелярии... сказал это покойному Михаилу Никитичу, а чтоб подтвердить на деле слова свои и доказать, что я ленивец, принес ему мое послание к тебе, у которого были в заглавии стихи из Парни, всем известные:

Le ciel, qui voulait mon bonheur,
Avait mis au fond de mon cœur
La paresse et l'insouciance* — *и проч.*

Что сделал Михаил Никитич? Засмеялся и оставил стихи у себя...»

А далее Батюшков пишет: «И впрямь, что значит моя лень? Лень человека, который целые ночи просиживает за книгами, пи-

---

* Небо, которому хотелось моего счастья,
Вложило в глубину моего сердца
Лень и беззаботность *(фр.)*.

шет, читает или рассуждает! Нет... если б я строил мельницы, пивоварни, продавал, обманывал и исповедовал, то верно б прослыл честным и притом деятельным человеком».

Гнедич, которому адресовано письмо, так и не понял этой, особенной, лени Батюшкова. А Муравьев — понял.

И еще фраза из того же письма: «Ах, обстоятельства, обстоятельства, вы делаете великих людей!»

ЖЕНЩИНЫ

В XVIII столетии, в эпоху «красных каблуков и величавых париков», распущенность, любовные измены и погоня за женскими прелестями были, как утверждал Пушкин, весьма в чести:

Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян:
Ловласов обветшала слава...

Начало XIX века, вместе с небывалым увлечением сентиментализмом и «сладкими чувствиями» — принесло и новый характер отношения к женщине. Рассудочность житейских отношений и распущенность нравов мало-помалу начали обуздываться некими новыми «идеалами», извлекаемыми из модных романов Руссо, Ричардсона или мадам Коттен. Отношения к женщине стали более утонченными и более свободными. Появились салоны и «законодательницы зал», вошли в моду изящные удовольствия и легкие отвлеченные беседы. Эта перемена вкуса серьезно отразилась и в новой литературе. «Стихи твои,— замечает Батюшков в одном из писем Гнедичу,— ...будут читать женщины, а с ними худо говорить непонятным языком... я думаю, что вечер, проведенный у Самариной или с умными людьми, наставит более в искусстве писать, нежели чтение наших варваров» (III, 47).

Анна Петровна Квашнина-Самарина и была как раз одною из первых салонных «законодательниц». Дочь сенатора и фрейлина Екатерины II, она не вышла замуж, ибо, будучи женщиной современной, очень дорожила своею свободою. В кружке ее почитателей были поэты вроде Г. Р. Державина и В. В. Капниста, которые очень любили ее беседу. Державин пробовал за нею ухаживать, но «она так постоянна, как каменная гора;

не двигнется и не шелохнется от волнующейся моей страсти...»[9]. Страсти волновались, разговоры шли, а в делах Анна Петровна проявляла истинно мужскую хватку: сумела заплатить все долги отцовские и навести порядок в запущенных владениях.

Да и сами «разговоры» были вовсе не пустой тратой времени. «Очаровательница» Самарина, женщина неопределенного возраста, свела в салоне своем старых писателей и литературную молодежь (вроде Батюшкова и Гнедича). Обладая несомненным литературным чутьем, она умела создать атмосферу подлинной и естественной литературной жизни, и ее кружок «умных людей» стал прообразом будущих литературных обществ. Ее салон был «новостью» не только для Батюшкова, но и для всей русской поэзии.

Батюшков попал в него семнадцати-, восемнадцатилетним юношей — и был очарован, увидев в Анне Петровне лучшую представительницу светской культуры и образованности. «Поклонись Самариной: я душой светлею, когда ее вспоминаю»,— пишет он Гнедичу в декабре 1810 года (III, 66). Он советовался с нею и о своих служебных делах: «На этот случай женщины всегда лучше нас, ибо видят то, что мы не видим, ибо если захотят что, то сделают» (III, 50). Он высоко ценил ее художественный вкус, сообщал ей свои новые стихи и очень дорожил ее суждениями и оценкой.

Может быть, он был влюблен в Самарину. Во всяком случае, ее «любовь мистико-платоническая» (III, 79) находилась в соответствии с его ранними поэтическими произведениями, и Батюшков сам связал с именем Самариной свое стихотворение «Привидение» (1810):

Я забыт... но из могилы
Если можно воскресать,
Я не стану, друг мой милый,
Как мертвец тебя пугать...
Нет, по смерти невидимкой
Буду вкруг тебя летать;
На груди твоей под дымкой
Тайны прелести лобзать...

В 1804 — 1806 годах юноша Батюшков был охвачен тем блаженным чувством любви и нежности, которое даже не требовало взаимности: настолько оно было полно и удовлетворено самим собой.

Предметом такого чувства стала Прасковья Михайловна Нилова. Она была женою тамбовского помещика Петра Андреевича Нилова и доводилась дальнею родственницей Державину. Она отличалась завидной красотой, что Державин не преминул отметить в одном из своих стихотворений:

Белокурая Параша,
Сребророзова лицом,

Коей мало в свете краше
Взором, сердцем и умом.

Ниловы жили в Петербурге открытым домом; собирая представителей литературы и искусства. Прекрасная хозяйка дома сама писала стихи, пела и играла на арфе. Ее таланты и «сообщительный» характер всем нравились, и П. А. Нилов, экспедитор министерства юстиции, имел все основания представлять ее как славное домашнее украшение.

Как можно судить из позднейших реплик Батюшкова (в письмах к Гнедичу), он был весьма увлечен «белокурой Парашей», «которая... которую... ее опасно видеть!» (III, 70). Он считал ее редкой женщиной и посвятил ей французский куплет:

J'aimai Thémire,
Comme on respire
Pour éxister* (III, 85).

Несколько лет спустя Батюшков относился к этим своим увлечениям иронически: «...я любил, увенчанный ландышами, в розовой тюнике, с посохом, перевязанным зелеными лентами, цветом надежды, с невинностью в сердце, с добродушием в пламенных очах, припевая: «кто мог любить так страстно», или: «я неволен, но доволен», или: «нигде места не найду»... (III, 35).

Впрочем, именно так появлялись первые стихи. Весной 1805 года написано «Послание к Н. И. Гнедичу», где восемнадцатилетний Батюшков, именующий себя «веселий и любви своей летописатель», так описывает свое времяпрепровождение:

А друг твой славой не прельщался,
За бабочкой, смеясь, гонялся,
Красавицам стихи любовные шептал
И, глядя на людей — на пестрых кукл,— мечтал:
«Без скуки, без забот не лучше ль жить с друзьями,
Смеяться с ними и шутить,
Чем исполинскими шагами
За славой побежать и в яму поскользить?»

Эти мирные наслаждения жизнью и пребывание «среди веселий и забав»— благотворная почва для произрастания Мечты, а Мечта — мать всех стихов. Философия эта кажется несложной только на первый взгляд, — но попробуй ухвати эту раннюю поэтическую мысль:

И так мечтанием бываем к счастью ближе,
А счастие лишь там живет,

---

* Я любил Темир,
Как дышат
Чтобы жить *(фр.)*.

Где нас, безумных, нет.
Мы сказки любим все, мы — дети, но большие.
Что в истине пустой? Она лишь ум сушит.
Мечта все в мире золотит,
И от печали злыя
Мечта нам щит.

Батюшков здесь настаивает на том, что поэт — это существо особенное, живущее одновременно, по крайней мере, в двух мирах: обыденном и повседневном (в котором может не быть ничего особенно «поэтического»: гоняется за бабочкой, шепчется с красавицами, шутит с друзьями) — и в мире Мечты, который может быть сколь угодно разнообразен.

Мы, право, не живем
На месте все одном,
Но мыслями летаем;
То в Африку плывем,
То на развалинах Пальмиры побываем,
То трубку выкурим с султаном иль пашой...

Живя в этом мире, поэт может одновременно быть «на бале и в Париже», «посреди Армидиных садов», «возле Нимф» и в «радужных чертогах» Одена... Совершаемый в жизни поступок отсекает все возможные альтернативы: живя «посреди друзей», нельзя быть в другом месте; любя реальную «Мальвину», нельзя пленяться другими «нимфами»; а переписывая бумаги, нельзя ни «говорить с богами», ни «болтать с мудрецами». В Мечте, как и в Поэзии,— полнота и свобода жизни практически неограниченна. Мечта не требует выбора — и потому так привлекательна для людей: «Мы сказки любим все, мы — дети, но большие»... А Мудрость в поэзии мешается с шутками, а идеалом жизни становится легкое наслаждение в его наибольшем приближении к любимой «сказке»...

Итак, не должно удивляться,
Что ветреный твой друг —
Поэт, любовник вдруг
И через день потом философ с грозным тоном,
А больше дружен с Аполлоном,
Хоть и нейдет за славы громом,
Но пишет все стихи,
Которы за грехи,
Краснеяся, друзьям вполголоса читает
И первый сам от них зевает.

Так рождалось раннее эпикурейство Батюшкова. Он чрезвычайно скромен, а в отношении с женщинами — застенчив. Он обожает — без взаимности, а в стихах — в мире Мечты — резв и беспечен, стремится «плясать под тению густой с прекрасной Нимфой молодой», пить «густое вино» в «милых садах»— и,

живя в этой Мечте, вновь воспевать Мечту, еще более сладостную.

Мечтать во сладкой неге будем:
Мечта — прямая счастья мать...

Первые годы самостоятельной жизни Батюшкова, и первые увлечения его, и первые влюбленности, и первые стихи — оказались самыми счастливыми в его жизни.

ДРУЗЬЯ

В 1802 году в только что организованном департаменте народного просвещения, которым руководил престарелый граф П. В. Завадовский, оказалось на службе несколько молодых и одаренных людей, пробовавших силы свои на литературном поприще.

Правителем дел департамента стал Иван Иванович Мартынов, который много переводил греческих классиков, составлял словари и учебники, издавал два журнала и был всесторонне образованным человеком. В одном из его журналов — «Северный вестник» — Батюшков напечатал первые стихи. Экспедитором департамента был Иван Петрович Пнин, выдающийся поэт и публицист конца XVIII — начала XIX века, автор нашумевшего публицистического труда «Опыт о просвещении относительно к России», в котором он недвусмысленно выступал против крепостного права (книга эта вышла в 1804 году и была запрещена к переизданию).

Мартынов и Пнин были старше Батюшкова, но здесь же в департаменте служили Николай Радищев, сын автора «Путешествия из Петербурга в Москву», поэт и переводчик; Алексей Полозов — приятель Батюшкова первых лет — и поэт Дмитрий Языков — в будущем скромный писатель, член «Беседы...», заслуживший прозвище Безъерный.

Для начала 1800-х годов было характерно появление в столичных и провинциальных городах литературных содружеств и обществ. «В сие время,— вспоминает поэт А. Ф. Мерзляков,— обнаружилась охота и склонность к словесности во всяком звании... В Петербурге и в Москве существовали таковые общества, не думающие ни об известности своей, ни о выгодах, но живущие единственно удовольствиями, внутри самих себя заключенными, одним словом, наслаждениями учения... Пламенная любовь к литературе, простые, искренние расположения друг к другу, свобода, сладостная беспечность, любезная мечтательность, взаимное доверие, любовь к *человечеству*, ко всему изящному, стремитель-

ность к добру невинная, охотная, бескорыстная, даже исступленная — вот что было жизнию наших собраний, наших разговоров, наших действий!»[10]

Первым по времени из таких «содружеств» явилось организованное в Петербурге «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств». Составили его 15 июля 1801 года несколько молодых людей, только что выпущенных из Академической гимназии: Иван Борн, Василий Попугаев, Владимир Дмитриев и другие. Общество быстро выросло за счет таких же молодых писателей: Александр Востоков, Сергей Шубников, Федор Вронченко, Александр Измайлов, Николай Остолопов, Гавриил Каменев... Вошли в него и сослуживцы Батюшкова: Пнин, Радищев, Языков. Вскоре общество получило разрешение правительства и заявило о своем существовании некоторыми изданиями. В 1802 и 1803 годах оно издало два тома сборника «Свиток муз», а в 1804 году первую часть своего «Периодического издания...». В 1805 году органом общества стал «Журнал российской словесности», издававшийся Николаем Брусиловым, а в 1806 году — «Любитель словесности», издателем которого был Николай Остолопов.

В этих изданиях, кроме множества неизбежных в духе времени стихов, помещались и статьи политического и экономического содержания, частью переводные (переводчиком был Д. Языков), частью оригинальные (особенно замечательными здесь по своим демократическим идеям были статьи В. Попугаева). «Вольное общество...» преклонялось перед памятью А. Н. Радищева. В «Свитке муз» были помещены строки, исполненные горячего сочувствия к автору «Путешествия из Петербурга в Москву (написанные Пниным и Борном), а в «Северном вестнике» — напечатана одна из глав «Путешествия...» («Клин» — под названием «Отрывок из бумаг одного россиянина»). Под влиянием Радищева-поэта, писавшего в последние годы «русским складом», в обществе заметно проявилось увлечение нововведениями в стихосложении (особенно в стихах знаменитого впоследствии филолога А. Х. Востокова). Увлечению «русским складом» отдал дань и Батюшков. Около 1804 — 1805 года он пишет послание «К Филисе», очень необычное для него и по стиху (он не любил белых стихов), и по идеологии: оно явно навеяно разговорами в «Вольном обществе...»:

Сколько в час один бумаги я
Исписал к тебе, любезная!
Все затем, чтоб доказать тебе,
Что спокойствие есть счастие,
Совесть чистая — сокровище,
Вольность, вольность — дар святых небес.

Константин Батюшков был принят в общество семнадцатилет-

ним юношей — в апреле 1805 года. Приняли его с оговоркою: представленная им «Сатира» (подражание французскому) вызвала следующий отзыв Востокова: «Для вступления молодому автору в Общество надобно, чтоб он представил еще что-нибудь из трудов своих». Что это была за «сатира» — не ясно. До нас дошли три «сатиры» Батюшкова 1804 — 1805 годов, написанные в подражание французским поэтам: «Послание к стихам моим», «Послание к Хлое» и «Перевод I-й Сатиры Боало» (напечатана, впрочем, была лишь первая из них — в журнале «Новости русской литературы», 1805, январская книжка: это первое опубликованное стихотворение Батюшкова). Сатиры эти довольно схожи по содержанию: насмешки над лаисами, глупонами, брумербасами, сплетниными и стукодеями петербургского общества и «Москвы проклятой»,— им противопоставляется модное по тем временам поэтическое желание:

Сокроемся, мой друг, и навсегда простимся
С людьми и с городом: в деревне поселимся,
Под мирной кровлею дни будем провождать:
Как сладко тишину по буре нам вкушать!

Тем не менее хотя и слишком общие, но достаточно резкие выпады против знатных и богатых «подлецов», которые вкладываются в уста честного, но «бедного и малого чином» «стихотвора», отвечали действительной позиции Батюшкова, бедного дворянина-неудачника, созданного для дел великих, но вынужденного служить в мелких чиновниках:

Не мудрено, что ты в несчастии живешь:
Тебе никак нельзя, поверь, с людьми ужиться:
Ты беден, чином мал — зачем же не ползешь?..

Позже в письмах Батюшкова сквозной нитью проходит та же идея: «Служил и буду служить как умею; выслуживаться не стану по примеру прочих» (III, 362). Он не хочет жить «служа в пыли и прахе, переписывая, выписывая, исписывая кругом целые дести, кланяясь налево, а потом направо, ходя ужом и жабой» (III, 158) — и эта жизненная позиция определила его поэтическую идеологию, которая оказалась очень близкой, аналогичной критике поэтов «Вольного общества...».

В сатире «Послание к стихам моим» есть, кроме того, и стихотворные выпады против писателей-современников, которые сообщили ей характер острой злободневности. Сатира Батюшкова появилась в печати почти сразу же после выхода в свет «Рассуждения о старом и новом слоге» А. С. Шишкова, в котором передовой боец литературного «староверства» резко нападал на Карамзина. «Рассуждение...» адмирала Шишкова открыло собой долгую литературную борьбу (о ней — речь впереди), а сатира

Батюшкова стала одним из первых ответных выпадов против утверждений Шишкова. Шишков (Глупон) здесь назван «автором «Кругов»: он в своем «Рассуждении...» сравнивал развитие значения слова в языке с кругами, расходящимися в воде после брошенного в нее камня. «Всем известно, что остроумный автор «Кругов» бранил г. К⟨арамзи⟩на и пр. и советовал писать не по-русски». Глупон и иже с ним Плаксивин, который «на слезах с ума у нас сошел», Безрифмин («Всяк пишет для себя: зачем же не писать»), Стукодей, «что прежде был капрал, не знаю для чего теперь поэтом стал»,— вот едва очерченный круг литературных недоучек, которых Батюшков потом изобразит гораздо детальнее в «Видении на брегах Леты».

Вместе с тем эта юношеская и неприхотливая сатира очень многопланова. Основа ее — рассуждение лирического героя («я») о том, зачем он принялся за стихи. «Страсть писать» распространилась как чума: «Куда ни погляжу, везде стихи марают». Поэтов расплодилось огромное количество — и все «за славою бегут» и обретают в награду «позор». Над ними не властны ни увещевания, ни «глас разума», и «дым славы» притягивает. Кругом глупоны, безрифмины, плаксивины, стукодеи... Стоит ли попадать в их милую компанию? «Бедняга! удержись... брось, брось писать совсем!» И кончается сатира характерным признанием семнадцатилетнего поэта:

К несчастью моему, мне надобно признаться,
Стихи как женщины: нам с ними ли расстаться!..
Когда не любят нас, хотим мы презирать,
Но все не престаем прекрасных обожать!

Очень скоро «Вольное общество...» потрясло невосполнимые потери. В 1804 году умер казанский поэт Гавриил Каменев, автор первых баллад «в романтическом роде, с видениями, с волшебствами и провалами». 17 сентября 1805 года от чахотки на тридцать третьем году жизни скончался председатель общества И. П. Пнин. Сколько можно судить по косвенным данным, он находился с Батюшковым в отношениях весьма близких, и смерть его поэт воспринял очень тяжело.

Смерть Пнина означала скорое разрушение «Вольного общества...», духовным вождем которого Пнин стал в 1805 году. Идеал «честного человека», литературный политик, умевший примирить враждовавшие «партии», энергичный руководитель — таким он был в глазах почти всех молодых петербургских литераторов. Члены общества носят по нем траур, собирают деньги на памятник ему, ряд журналов, связанных с обществом, печатает произведения Пнина. Языков, Попугаев, Измайлов, Брусилов произносят речи, посвященные его памяти. В журналах появляется несколько стихотворений, написанных по поводу его смерти.

Н. Остолопов: Мы будем помнить, что старался
Он просвещенье ускорить
И что нимало не боялся
В твореньях правду говорить.
Н. Радищев: Невинность смело защищая,
Ты предрассудки попирал.
А. Варенцов: Тебе мы памятник воздвигнем,
Как другу истины святой.
А. Писарев: Но тот, кто съединял ум с кроткою душой,
В чувствительных сердцах живет, живет тот вечно!
А. Измайлов: Твое век имя будет славно
И память вечно драгоценна
Для нас и для потомков наших!

Среди этих эпитафий, в которых прославлялось по преимуществу гражданское направление в творчестве умершего писателя, выделяется небольшая элегия Батюшкова, которая начиналась отнюдь не громким восхвалением подвигов и не перечислением заслуг:

Где друг наш? Где певец? Где юности красы?
Увы, исчезло все под острием косы!
Любимца нежных муз осиротела лира,
Замолк певец: он был, как мы, лишь странник мира!..

Уже в этом, во многом несовершенном, стихотворении проявилась характернейшая особенность Батюшкова-поэта и важная черта его мировосприятия: особенный тип поэтического гуманизма. В общественном деятеле он видит прежде всего Человека — и для него становятся важными не заслуги, а сам факт гибели. Чувства общественные трактуются прежде всего как человеческие:

Несчастным не одно он золото дарил...
Что в золоте одном? Он слезы с ними лил.

Фраза о том, что Пнин «пером от злой судьбы невинность защищал», стоит рядом с воспоминанием: «В беседах дружеских любезен». Это восприятие человека отделяет Батюшкова-поэта, уже на раннем этапе творчества, и от классицизма, и от сентиментализма. Это — уже новое постижение жизни.

После смерти Пнина связи Батюшкова с «Вольным обществом...» слабеют, хотя он непременно отдает должное этим, первым на его пути, друзьям-писателям. Мечтая в 1817 году о создании настоящей истории русской литературы, он для заключительной ее главы намечает такое содержание: «Статьи интересные о некоторых писателях, как-то: Радищев, Пнин, Беницкий, Колычев».

ГНЕДИЧ

Первого марта 1803 года в департамент народного просвещения поступил «на ваканцию писца» высокий человек в аккуратном, но стар採ньком сюртучке. Он был одноглаз, и правильное, красивое лицо его было изрыто следами оспы. Звали его Николай Иванович Гнедич.

В департаменте Батюшков и Гнедич познакомились, и вскоре знакомство это переросло в дружбу, большую и трогательную. Дружба Батюшкова и Гнедича в восприятии современников стала классической дружбой поэтов.

Гнедич был выходец из Малороссии, с Полтавщины, и происходил из казачьего рода сотников Гнеденко. Отец его, маленький помещик маленького сельца Бригадировки, жил в доме под соломенною крышею и был истинным сельским обывателем, а мать — умерла при его рождении. Гнедич был тремя годами старше Батюшкова (он родился 3 февраля 1784 года) и к моменту их знакомства прошел большую жизненную школу. В детстве он привык стойко переносить неизбежную бедность; девяти лет он был отдан в «словенскую семинарию» и пять лет провел среди толпы одичавших от побоев, схоластического учения и плохого корма бурсаков, подобных Хоме Бруту из повести Гоголя «Вий». Уже в семинарии Гнедич проявил недюжинные способности к учению (в особенности — способности к древним языкам) и наклонность к сочинительству виршей и к театральному «лицедейству». Кто-то из семинарского начальства обратил на способного юношу покровительственное внимание — и Гнедич был переведен в харьковский «коллегиум» (устроенный по образцу иезуитских школ), который блестяще окончил в 1800 году.

Перед ним открывались две дороги: стать либо священником, либо учителем. Он выбрал третью и, с помощью каких-то рекомендательных писем, попал в Московский университет. «Некогда в университете,— вспоминал С. П. Жихарев, соученик Гнедича,— его называли l'étudiant aux échasses*, или просто ходульником, потому что он любил говорить свысока и всякому незначительному обстоятельству и случаю придавал какую-то важность. Между прочим он замечателен был неутомимым своим прилежанием и терпением, любовью к древним языкам и страстью к некоторым трагедиям Шекспира и Шиллера, из которых наиболее восхищался «Гамлетом» и «Заговором Фиеско»[11]. Именно в университете «семинарист» Гнедич особенно увлекся античной литературой: под влиянием лекций известного «классика» П. А. Сохацкого.

Как наследие ктиторского воспитания, у Гнедича навсегда осталась страсть к театральной декламации. Уже в универси-

---

* студент на ходулях (*фр.*).

тете он пленял своих товарищей «одушевленным, сильным чтением» драматических писателей. По тогдашнему мировоззрению своему он был близок и «просветителям» XVIII века и с увлечением декламировал монолог мужественного республиканца Вероны из трагедии Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Перевод этой пьесы в 1802 году стал первым литературным опытом Гнедича, доставившим ему известность.

Тогда же он должен был оставить университет: необходимо было служить. Гнедич переехал в Петербург и несколько лет вел жизнь почти нищенскую, кой-как перебиваясь заработком писца и случайными литературными «приношениями». В 1803 году он выпустил роман «Дон Коррадо де Герера», не имевший успеха у читателей. Первые стихотворные опыты его оказались, однако, более удачными — элегии «Общежитие» и «Перуанец к испанцу», переложения песен Оссиана сделали его имя популярным в передовых литературных кругах. Но несмотря на то что литература не давала средств к безбедному существованию, Гнедич, однако, избрал для себя долю литератора. Так что его знакомство с молодым поэтом Батюшковым было совершенно естественным.

Батюшков и Гнедич были розны почти во всем. Гнедич высок, суховат и очень серьезен. Батюшков маленький и подвижный, скоро и легко увлекается, горячо и пылко спорит. Гнедич очень стоек в характере и убеждениях. Батюшков быстро поддается всякому влиянию. Гнедич необыкновенный трудолюбец и весьма упорен во всяком труде. Батюшков простодушен и беспечен, живет лишь «вдохновениями». Гнедич, выбрав цель, твердо идет к ней. Батюшков не задумывается о выборе цели: самолюбивые мечты порой заносят его очень далеко — но тем болезненнее бывает отрезвление. Гнедичу, даже и в молодости, свойственна некоторая театральная торжественность во внешних проявлениях. Батюшков всегда нежен и прост и вовсе лишен поэтического облика.

Они розно относились к поэзии и к задачам ее. Гнедич требовал от поэта непременно большой гражданственной темы и порицал «карамзинистов». Батюшков, напротив, был очень склонен к «безделкам» и к мечтательной поэзии. Они спорили и устно, и письменно.

Около 1806 — 1807 года между Батюшковым и Гнедичем возникло нечто вроде соглашения: оба одновременно предприняли поэтический перевод выдающихся произведений мировой литературы. Гнедич принялся за перевод «Илиады» Гомера, Батюшков — за перевод «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо. И тот и другой были влюблены в подлинники; и тот и другой великолепно знали языки: один — греческий, другой — итальянский.

Гнедич переводил «Илиаду» двадцать лет, совершив своеобразный литературный подвиг. В 1807 году он приступил к переводу «Илиады» александрийским стихом (вслед за поэтом XVIII века Ермилом Костровым), перевел три песни,— и понял, что для перевода надобно искать другой стихотворный размер. Он создал русский гекзаметр — и вновь (с 1811 года) принялся за перевод, который, бесконечно переделывая, отважился выпустить в свет лишь в 1829 году.

Батюшков же начал переводить «Освобожденный Иерусалим» Тассо в 1808 году, в следующем году закончил перевод первой песни (из него до нас дошел лишь отрывок — вольный перевод тридцать второй — сорок первой октав) и перевел еще несколько отрывков и разных мест поэмы. И на этом остановился и даже стал «раскаиваться», что взялся за этот перевод. Как ни убеждал его Гнедич, как ни сердился на то, что Батюшков «оставил Тасса», — перевод далее не двинулся.

Своеобразным памятником этого соглашения молодых поэтов стало послание Гнедича «К К. Н. Батюшкову» («Когда придешь в мою ты хату...»), написанное в 1807 году. В послании говорится о темах этих переводов. Батюшков улетает мечтой

Туда, туда, в тот край счастливый,
В те земли солнца полетим,
Где Рима прах красноречивый
Иль град святой, Ерусалим.

А сам Гнедич переносится вослед за «песнью волшебной Омира»

В край героического мира
И поэтических богов.

Батюшков написал ответ на это послание — «Твой друг тебе навек отныне...». Этот ответ — памятник отказа от былых, юношеских увлечений. Друг Гнедича поэт Батюшков

...отслужил слепой богине,
Бесплодных матери сует.

Он «покинул мирт и меч сложил» и теперь живет и — «безвестностью доволен...» Он, как обычно, разочаровался.

А Гнедич, как это часто бывает в дружбе подобного рода, избрал для себя роль «дядьки» Батюшкова, учителя жизни, попечителя нежного, слабого и хрупкого душою друга. Гнедич по-настоящему умел оценить его тонкий ум и дарование. Он умел щадить его чуткое сердце и раздраженное самолюбие, умел быть снисходительным к его прихотям и слабостям. Как всякий «дядька» и наставник, Гнедич бывал слишком строгим и назойливым,

и наставления его порой весьма докучали Батюшкову. Как всякий воспитанник, Батюшков бывал шаловлив, капризен и частенько несправедлив к попечителю своему. Но такие их отношения очень естественно продолжились и были приняты обоими до конца жизни. Гнедич учил Батюшкова жизни, а тот делал по-своему. Потом, после пережитых разочарований, он вновь обращался к Гнедичу за советом и помощью,— и тот вновь помогал, советовал, выручал и «ходил», как то и положено «дядьке».

Он же был первым поверенным сочинений Батюшкова: почти каждое вновь написанное произведение тот посылал к нему на отзыв и на одобрение. А Гнедич — если ему нравилось — отдавал в журналы. И одновременно укорял Батюшкова за то, что тот забросил переводить Тассо.

ДЯДЮШКИНЫ СОЧИНЕНИЯ

Но еще большую роль в воспитании таланта поэта Батюшкова сыграли сочинения М. Н. Муравьева, которые сейчас по справедливости можно оценить как эпоху в истории русской литературы XVIII столетия. Творчество Муравьева носит переходный характер от литературы классицистической к литературе сентименталистов и ранних романтиков. Начал Муравьев как ученик Ломоносова и Сумарокова, а закончил как единомышленник Карамзина.

Его наследие постигла участь, характерная для судеб творчества поэтов переходного времени: «классики» отвернулись от него, сентименталисты и романтики — сумели оценить лишь после смерти поэта, да и то с оговорками. А последующие поколения читателей и критиков — вообще оценить не сумели. Белинский отозвался о М. Н. Муравьеве (в третьей статье цикла «Сочинения Александра Пушкина») холодно и насмешливо: «Кто теперь знает стихотворения Муравьева? — Батюшков в восторге от них»; «...герои Муравьева решительно ни на кого не похожи, даже просто на людей» и т. п. Будучи великим критиком и гениальным публицистом, Белинский вообще весьма сурово отнесся к литературе XVIII века, ибо видел в ней пример того, как не надо писать современным поэтам. В отношении же его к Муравьеву отразилось еще и неприятие того своеобразного «культа» Карамзина и Муравьева, который был принят в начале XIX века.

Благоговейное отношение к памяти М. Н. Муравьева (умершего в 1807 году) было характерно не только для Батюшкова или Гнедича, но и для Карамзина, Жуковского и их окружения.

«Самый облик Муравьева...— пишет Г. А. Гуковский,— стал каноническим образом мудреца и поэта, принятым в кругу Карамзина; это был образ мирного, тихого человека, обожающего добродетель и отечество, кроткого и умиленного, который в своей голубиной чистоте видит весь мир, общество и людей в розовом свете добродетельных эмоций, который кротко наслаждается в тиши изящными искусствами и чтением умных книг и без честолюбия и страстей, но вблизи трона, ведет спокойную ровную жизнь на лоне дружбы, природы и поэзии и кротко поучает юных друзей правилам своей мирной морали. Вскоре после смерти Муравьева роль носителя этого образа мудреца принял на себя Карамзин. Впоследствии, после смерти Карамзина, роль должна была перейти к Жуковскому...»[12]

Литературное воспитание Муравьев получил у поэтов школы Сумарокова (Хераскова, В. Майкова, Княжнина) и в первый период своей деятельности (до 1775 года) печатался много и активно, а начиная со второй половины семидесятых годов и до смерти — опубликовал очень немногое из написанного им. Как ученик Сумарокова, он стремился к «публичности», а перейдя к новой манере письма, стал довольствоваться «домашними» успехами своих произведений.

«Я долгом, и священным долгом, поставлю себе возвратить обществу сочинения покойного Муравьева,— замечает Батюшков в письме к Жуковскому от 3 ноября 1814 года.— Между бумагами я нашел «Письма Емилиевы», составленные из отрывков; их-то я хочу напечатать. Я уверен, что они будут полезны для молодости и приятное чтение для ума просвещенного, для доброго сердца» (III, 305). Речь идет о повести Муравьева «Эмилиевы письма» — одном из классических образцов русской сентиментальной литературы. Наследие М. Н. Муравьева полностью не опубликовано до сих пор; многие его стихотворения впервые увидели свет лишь в 1967 году[13].

В тиши своего кабинета поэт Муравьев, сам того полностью не осознавая, положил начало своеобразному «перевороту» в русской поэтической традиции. Начав писать «для себя», он как-то незаметно отошел от устоявшихся «высоких» традиций оды, от воспевания «бога браней» и попробовал взглянуть «округ себя», отразить в стихах именно «себя». Свою тихую жизнь. Свои путешествия и свои увлечения. Свой взгляд на мир. Свою личность. Такой взгляд «перепутывал» устоявшиеся жанры: где ода, где эклога, где эпистола? Стихи превращались в лирический дневник поэта.

Это означало отход от классицизма: для классицистической литературы мир человека оказывался поглощен безусловными внеличными ценностями (Россия, народ, человечество) — и признавались только эти ценности. Муравьев, убежденный в безусловной ценности личности, уже задумывается над необходимостью

обосновать ее положение в мире. И здесь на место упорядоченного, разумного и доброго мира классицистов становится мир дисгармонии и мечты об идеале, который, в свою очередь, и оказывается основным предметом творчества поэта.

Классицисты были заняты определением «вечных» категорий. Уже в первых оригинальных стихотворениях Муравьева возникает иной, более узкий, но и более предметный мир. В стихотворении «Путешествие» описывается первая поездка Муравьева от Вологды до Петербурга, и в этом географически локализованном пространстве повествования основное место занимают реальные, действительные детали и лица:

Ах! память жизни сей, толь сладко проведенной
С нежнейшим из отцов, с сестрою несравненной.
Уже церквей твоих сокрылися главы,
О Вологда! поля, лишенные травы,
Являют сентября дыхание сурово:
Но нас повсюду ждет друзей свиданье ново.

Мир воспринимается уже не абстрактным «просветителем», но определенным человеком с известной биографией, находящимся на определенном этапе своего нравственного развития. Человек этот окружен тоже совершенно конкретными, близкими по духу людьми: «нежнейшим из отцов» — вологодским помещиком Афанасием Матвеевичем Брянчаниновым, женатым на двоюродной сестре поэта, «мужем, важным твердостью», — Львом Андреевичем Батюшковым и т. п. Подобное восприятие мира невозможно внутри классицистической традиции — и Муравьев пересматривает традицию. Многие его стихи посвящены совершенно реальным «знакомцам» — М. А. Засодимскому (деду известного писателя), В. И. Майкову, А. М. Брянчанинову или «Феоне» — родной сестре Федосье Никитичне Луниной.

На месте оды появляется иной, интимный жанр — и внутри его развиваются тематические пласты лирики. П. А. Орлов выделил в поэзии Муравьева «три разновидности лирических мотивов: идиллическую («Ночь», «Сельская жизнь», «Роща», «Итак, опять убежище готово...» и др.), элегическую («Письмо к А. М. Брянчанинову», «Неизвестность жизни», «К Хемницеру», «Сожаление младости», «Жалобы музам» и др.) и самую обширную — медитативную («Время», «Размышление», «Эпистола к Н. Р. Р.», «Зрение», «Об учении природы» и ряд других)»[14]. Появление иных, лирических мотивов означало переход к иной поэтической системе, весьма отличной от завоеваний классицизма.

Это же определило и новую задачу, встающую перед поэтом:

Страстей постигнуть глас и слогу душу дать,
Сердечны таинства старайся угадать.
Движенье — жизнь души, движенье — жизнь и слога
И страсти к сердцу суть вернейшая дорога.
(«Опыт о стихотворстве»)

Новая художественная задача — проникнуть во внутренний мир человека — определила и новое отношение к стилю, к языку поэзии. Эту проблему детально обследовал Г. А. Гуковский, который писал, что в языке поэзии Муравьева «слова начинают значить эстетически не столько своим привычным словарным значением, сколько своими обертонами, эстетически-эмоциональными ассоциациями и ореолами»[15]. «Тихий» у Муравьева — это не обязательно антоним к слову «громкий» (только так воспринималось это слово, например, Херасковым). В его поэзии это слово начинает приобретать новые нюансы значения: «тихий сон», «тихий трепет», «тихая светлость»... Слова, употребленные в необычном значении, рождают очень поэтичные образы:

Мгновенье каждое имеет цвет особый,
От состояния сердечна занятой...

Или:

Мои стихи, мой друг,— осенние листы:
Родятся блеклые, без живости и цвету...

В поэзии Муравьева появляются эпитеты и сочетания, вошедшие впоследствии, как неотъемлемая часть, и в лирику Карамзина, Жуковского, Батюшкова: «легкие сны», «милое мечтанье», «стыдливая луна», «сладостны дыханья»... В его тяжеловесных стихах прорываются такие, которые позже будут характеризовать именно поэзию Жуковского и Батюшкова: «Медлительней текут мгновенья бытия», «Надежды и любви, невинности подруги», «Предмет нежнейшего союза, Природы драгоценный дар», «Месяц спускается ниже и, кажется, падает с неба; Свет вливается в воздух; волны востока зарделись»...

Цикл таких вот стихов Муравьев назвал «Pièces fugitives» — «Легкие стихотворения». Последователи Муравьева подхватили название «легкая поэзия», а Батюшков позже придал ему принципиальное значение: «В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях; он тотчас делается строгим судьею, ибо внимание его ничем сильно не развлекается».

Порой Батюшков откровенно подражает этим «легким» откровениям Муравьева:

Муравьев. «Богине Невы»
Я люблю твои купальни,
Где на Хлоиных красах
Одеянье скромной спальни
И Амуры на часах.

Батюшков. «Ложный страх»
Ты пугалась; я смеялся.
«Нам ли ведать, Хлоя, страх!
Гименей за все ручался,
И Амуры на часах».

Впрочем, не только Батюшков. Цитату из Муравьева не стесняется привести Пушкин в «Евгении Онегине»:

Муравьев. «Богине Невы»
Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный Пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.

Пушкин. «Евгений Онегин»
С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя Пиит.

Основную заслугу Муравьева в развитии «легкой поэзии» Батюшков формулирует так: «...стихотворения Муравьева, где изображается, как в зеркале, прекрасная душа его...» Одной этой заслуги было достаточно, чтобы Батюшков относился к Муравьеву с пиететом и всегдашним почтением. Поэзия по своей сущности личностна — эту истину поэт Батюшков усвоил именно из уроков Муравьева. Как указал Гуковский, Муравьев был «более или менее учитель всех литераторов 1790-х, а в особенности 1800-х гг., связанных с Карамзиным»[16].

Принципиально новой, не предусмотренной классицистическими теориями, была и проза Муравьева. В его «Дщицах для записывания», «Обитателе предместия», «Эмилиевых письмах» философские размышления чередуются с описаниями и лирическими пассажами, а «откровения души» с литературно-критическими высказываниями. Основа размышлений Муравьева — нравственно-этическая сторона человеческой жизни, утверждение единения добра и красоты. И здесь, при оценке прозы Муравьева, Батюшков особенно подчеркивает ее «личностную» направленность: «Вы можете читать его во всякое время, и в шуме деятельной жизни, и в тишине уединения; его слова подобны словам старого друга, который, в откровенности сердечной говоря о себе, напоминает вам собственную вашу жизнь, ваши страсти, печали, надежды и наслаждения. Он сообщает вам тишину и ясность своей души и оставляет в памяти продолжительное воспоминание своей беседы...»

...Михайло Никитич сидит один, в тиши кабинета своего, роется во французской энциклопедии Дидро и Даламбера и выражает несогласие с сими великими умами. Или просит послушать стихи свои, которых, занятый делами, он почти не пишет уже. Или просто рассказывает о чем-то в своей приятной тихой манере...

«Одним словом, самое бремя печалей и забот — я занимаю его выражение — отпадает по его утешительному гласу».

Муравьевы никогда не жили особенно открытым домом, предпочитая домашнее уединение и тихие семейственные радости. Батюшков попал в «муравейник» как племянник и любимый родственник. В качестве родственника он вошел и в первые литературные знакомства: с Г. Р. Державиным и В. В. Капнистом — известными и немножко меценатствующими литераторами; и с молодыми питомцами Муравьева — Н. Ф. Кошанским, А. И. Тургеневым, А. Е. Измайловым...

В «муравейнике» особенно ценились именно родственные связи: сестрица Федосья Никитична Лунина, двоюродные братья Иван и Захар Матвеевичи. Подрастают дети: у Михаила Никитича — Никита и Александр, у Федосьи Никитичны — Михаил, у Ивана Матвеевича — Матвей, Сергей, Ипполит, у Захара Матвеевича — Артамон... Все эти дети в будущем стали видными декабристами — но это произошло двадцать лет спустя, а пока что текут счастливые и обнадеживающие первые годы царствования Александра Павловича: 1804, 1805, 1806-й... Отцы и матери будущих мятежников ведут тихую семейственную жизнь — и Батюшков вполне «свой» в этих счастливых семействах.

Дальним свойственником Муравьевых был и молодой петербургский вельможа Алексей Николаевич Оленин. Родной брат его жены, Елизаветы Марковны (урожденной Полторацкой), был женат на двоюродной племяннице Муравьевых — вполне достаточное родство для поддержания прочных связей!

У Оленина была большая семья и, в отличие от Муравьевых, открытый дом: приемы, рауты, чтения, редко балы, домашние спектакли... «Это имя,— пишет об А. Н. Оленине С. Т. Аксаков,— не будет забыто в истории русской литературы. Все без исключения русские таланты того времени собирались около него, как около старшего друга...»[17]

А. Н. Оленин не был ни писателем, ни ученым в настоящем значении этого слова. Он принадлежал к тому разряду талантливых дилетантов, которые в начале прошлого столетия стали весьма распространенным явлением. Немножко историк и археолог. Немножко художник и искусствовед. Страстный коллекционер, ставший первым директором и фактическим устроителем Публичной библиотеки в Петербурге. И, конечно, сановник: незаменимый секретарь Государственного совета и многих комитетов и комиссий. Чуть-чуть либералист и реформатор, деятель особенной александровской формации, сторонник дозволенных нововведений.

Оленин был старше Батюшкова на двадцать четыре года.

Племянник екатерининского вельможи князя Григория Волконского, он в молодости обучался за границей (в Страсбурге и Дрездене), где пристрастился к пластическим искусствам (несмотря на то что учился на артиллерийского офицера). Он дослужился до обер-офицерского чина, участвовал в шведской кампании, строил фортификационные сооружения — но это не было его настоящим призванием. Он был неплохой рисовальщик и гравер, а заведуя с 1797 года Монетным двором, познакомился и с медальерным искусством. «Этот достойный сановник,— пишет о нем С. С. Уваров,— был от природы страстный любитель искусств и литературы. При долговременной службе он все свободное время посвящал своим любимым предметам. Может быть, ему недоставало вполне этой быстрой, наглядной сметливости, этого утонченного проницательного чувства, столь полезного в деле художеств, но пламенная его любовь ко всему, что клонилось к развитию отечественных талантов, много содействовала успехам русских художников»[18]. Когда в 1817 году он стал президентом Академии художеств, известие это было воспринято с большой радостью.

Пользуясь расположением просвещенного вельможи екатерининских времен графа А. С. Строгонова и умея ладить с власть имущими, он быстро продвинулся на поприще служебном: причем продвинулся именно благодаря талантам своим, а не искательством у знатных персон. Знающий и деловитый, он умел всем сделаться нужным. Сам император покровительствовал Оленину и прозвал его «Tausendkünstler» — тысячеискусником. Знаток античной филологии и истории, он владел несколькими языками. Страстный археолог и нумизмат, он написал несколько ученых трудов, весьма добросовестных: «Письмо о камне Тмутороканском» (1806), «Рязанские русские древности» (1831) и т. д. Он состоял в переписке с европейскими знаменитостями — Гумбольдтом, Шамполионом, Шлецером. Он сумел организовать работу русских историков, археологов, языковедов: А. И. Ермолаева, Ф. Г. Солнцева, А. Х. Востокова. Знаменитый «Опыт российской библиографии» В. С. Сопикова (1813 — 1831) был создан во многом при его участии и под его руководством. Оленин был неплохим любителем-рисовальщиком: его иллюстрации к сочинениям Державина и Озерова пользовались известностью. И конечно же покровителем искусств: его попечениями пользовались Кипренский и Брюллов, рисовальщик Орловский и медальер Федор Толстой, Егоров, Шебуев, Мартос, Щедрин, Уткин...

В доме Олениных на Фонтанке и в пригородной усадьбе Приютино (которая находилась в семнадцати верстах от Петербурга, за Пороховыми заводами) бывали и те, кто покровительствовал хозяину, и, чаще, «несановные» знаменитости. У Олениных встречались дипломаты и ученые, писатели и художники,

актеры и светские прелестницы. Здесь узнавались свежие политические новости и последние известия о театральных премьерах и научных открытиях. Здесь создавались репутации и произносились приговоры новым книгам и новым спектаклям. Здесь в разные времена бывали Державин, Хемницер, Болтин, Разумовский, Капнист, Богданович, Озеров, Карамзин, Гнедич, Крылов, Кипренский, Брюллов, Венецианов, Глинка...— всех трудно перечислить. «О количестве гостей, посещающих семейство Оленина, можно судить по тому, что на даче А. Н., Приютино... находилось 17 коров,— а сливок никогда не доставало»[19].

Душою салона и хранительницей его была «гордая Элиза»— Елизавета Марковна, жена Оленина и мать многочисленного семейства. Ее отец был основателем придворной певческой капеллы — и тоже имел отношение к музам. Немножко грузная, со следами былой красоты, и всегда болезненная, «гордая Элиза» была умной, доброй и хлопотливой женщиной. «Ей хотелось, чтобы все у нее были веселы и довольны,— пишет Ф. Ф. Вигель,— и желание ее беспрестанно выполнялось. Нигде нельзя было встретить столько свободы, удовольствия и пристойности вместе, ни в одном семействе — такого доброго согласия, такой взаимной нежности, ни в каких хозяевах — столько образованной приветливости... Гувернантки и наставники, англичанки и французы, дальние родственницы, проживающие барышни и несколько подчиненных, обратившихся в домочадцев, наполняли дом сей, как Ноев ковчег, составляли в нем разнородное, не менее того весьма согласное общество и давали ему вид трогательной патриархальности»[20].

Батюшков как-то сразу стал у Олениных «своим». Может быть, потому, что подружился со старшим сыном А. Н. Оленина Николаем. Может быть, потому, что атмосфера в доме Олениных, особенно литературная, была близка к атмосфере дома Муравьевых.

Симпатии салона Олениных были связаны с тем направлением в искусстве, которое условно можно назвать «неоклассицизмом» или «романтическим классицизмом», и с новым художественным стилем «ампир». Вкус Оленина уже не удовлетворялся вычурными формами искусства XVIII века, и в кругу его не было ярых поклонников литературы прошедшей эпохи. Стремление к простоте и строгости искусства рождало поиски новых форм и нового поэтического слога. Образцы их искались и в классической римской и греческой литературе, в «подражаниях древним»,— и в русском искусстве и русской истории. Это было стремление сделать саму русскую жизнь предметом поэтического творчества. Не случайно литературными «знаменами» этого салона стали Батюшков, Гнедич — переводчик «Танкреда» и «Илиады», Крылов — комедиограф и баснописец.

Наиболее характерными произведениями, отразившими симпатии салона Олениных, были трагедии В. А. Озерова, который пытался примирить условности классицистической трагедии с живыми человеческими чувствами. Озеров попытался несколько реформировать старый классицистический жанр именно привнесением в него новых, сентиментально-романтических мотивов, оживить красивым и звучным стихом ходульный и напыщенный язык классицистических произведений. Первая оригинальная трагедия Озерова «Эдип в Афинах» (1804) была с восторгом принята в салоне Олениных, где автор ее читал, а успех премьеры был воспринят как торжество литературных устремлений этого салона. Вторая его трагедия — «Фингал» (1805) — была создана уже при непосредственном участии самого Оленина, который указал Озерову на сюжет одной из песен Оссиана.

Батюшков, кстати, принимал самое горячее участие в этих торжествах Озерова. В 1807 году, оставив Петербург, он живо интересуется судьбой третьей его трагедии — «Димитрий Донской», а узнав о том, что против Озерова ополчились его литературные недруги, прислал посвященную ему басню «Пастух и Соловей», в которой убеждал «любимца строгой Мельпомены» презреть «кваканье» противников и не расставаться с музами.

Оленин и Батюшков, несмотря на разницу в летах, были очень похожи. Оба — «маленькие живчики», «чрезмерно сокращенные особы», отличавшиеся миниатюрностью, почти «кукольностью» сложения. Оба — чрезвычайно острые и умные собеседники, люди веселого нрава и доброго сердца. В письме к Олениным от 11 мая 1807 года Батюшков с грустью заметил: «Часто вспоминаю я наши беседы, и как мы критиковали с вами проклятый музский народ! — !!!!!» (III, 11). А об отношении Оленина к Батюшкову можно судить хотя бы по обращению в первом из сохранившихся его писем к поэту (от 25 июня 1808 года): «Любезный мой Константин, хотя не порфирородный, но пиитоприродный...»[21]

Дружба с семейством Олениных, начавшаяся в самые первые, юношеские годы, стала для Батюшкова одной из немногих жизненных отрад. «Гостить у Олениных, особенно на даче, было очень привольно,— вспоминает современник,— для каждого отводилась особая комната, давалось все необходимое, и затем объявляли: в 9 часов утра пьют чай, в 12 часов завтрак, в 4 часа обед, в 6 часов полудничают, в 9 часов вечерний чай; для этого все гости сзывались ударом в колокол; в остальное время дня и ночи каждый мог заниматься чем угодно: гулять, ездить верхом, стрелять в лесу из ружей, пистолетов и из лука... Как на даче, так и в Петербурге игра в карты у Олениных никогда не устраивалась, разве в каком-нибудь исключительном случае; зато всег-

да, особенно при А. Н., велись очень оживленные разговоры... Несмотря на глубокую ученость А. Н., при нем все держали себя свободно...»[22]

Счастливые дни, веселые первые годы: 1804, 1805, 1806-й... Потом все переменилось.

Глава третья. ДВЕ ВОЙНЫ

Какую жизнь я вел для стихов! Три войны, все на коне и в мире на большой дороге.

К. Н. Батюшков. Из письма к В. А. Жуковскому от июня 1817 г. (III, 447)

В конце февраля 1807 года Батюшков внезапно и неожиданно для всех оставил Петербург и выехал в Прусский поход, в качестве сотенного начальника Петербургского милиционного баталиона.

МИЛИЦИЯ

Давнее значение слова «милиция» — «войско, формируемое из граждан только на время войны». «Ополчение, ратники, народная рать»,— прибавляет Владимир Даль.

Из секретного циркуляра министра внутренних дел В. П. Кочубея (17 декабря 1806 г.):

«Цель сего вооружения есть иметь в готовности сильный отпор против такого неприятеля, который приобык, пользуясь своим счастием, действовать не одною силою оружия, но и всеми способами обольщения черни, который, врываясь в пределы воюющих с ним держав, всегда старается ниспровергать всякое повиновение внутренней власти, возбуждать поселян против законных их владельцев, уничтожать всякое помещичье право, истреблять дворянство и, подрывая коренные основания государств, похищать законное достояние и собственность прежних владельцев, возводить на места из людей, ему преданных, и, таким образом подменяя весь вид правительства, на развалинах прежнего порядка утверждать свое жестокое самовластие. Из сего видно, что война с таковым неприятелем не есть война обыкновенная, где одна держава спорит с другою о праве или пространстве владения. В настоящей войне каждый владелец собственности, каждый помещик должен признавать себя лично и непосредственно участвующим...»[1]

В войнах с Наполеоном 1805 — 1807 годов России не везло. В самом начале кампаний союзники так ослаблялись французами, что не оказывали русским войскам сколько-нибудь существенной помощи, и вся тяжесть первых заграничных походов ложилась на выносливые плечи русского солдата. При походе 1805 года союзническая австрийская армия была сразу после открытия воен-

ных действий разгромлена (под Ульмом), что привело к «позору Аустерлица». Не лучше было и осенью 1806 года, когда, тоже в самом начале, Наполеон в один день наголову разбил (при Иене и Ауэрштедте) две прусские армии — и русские войска оказались вновь почти единственными деятелями в войне.

16 ноября 1806 года Александр I подписал манифест о войне с Францией. Русские войска под командованием фельдмаршала Бенигсена, вступив в Пруссию, нашли ее почти безоружною и чуть не всю, с Берлином и крепостями, завоеванною Наполеоном. Русская армия оказалась в изоляции, одна против вдвое сильнейших войск французов, предводительствуемых человеком, в самом имени которого для Европы было тогда нечто устрашающее. Положение создалось чрезвычайное: война приблизилась к западным границам России. А Россия еще не вполне выпуталась из Персидской кампании и была вплотную занята кровавой распрею с Турцией. Для войны на два фронта нужны были и деньги, и войска,— но и того и другого было недостаточно; к тому же русские армии были разделены огромными пространствами. Родине угрожала опасность нешуточная — приходилось прибегать к мерам исключительным.

30 ноября 1806 года вышел манифест императора о создании народного ополчения. Тридцать одна губерния России должна была выставить шестьсот двенадцать тысяч ратников. Рядовых ратников выставляли помещики (из числа крепостных), государственные крестьяне, удельное ведомство и мещанские общества. Начальствующие — пятидесятники, сотники, тысяцкие и командующие губернским ополчением — избирались из своей среды дворянством. Главнокомандующие семи областей, заключавших в себе каждая по нескольку губерний, были облечены полною властью командующих армиями и назначены правительством[2].

В эти тревожные дни, 13 января 1807 года, Батюшков уходит с прежней службы по министерству просвещения и определяется на хлопотливую должность письмоводителя в канцелярию генерала Н. А. Татищева, начальника милиционного войска Петербургской области (ей предстояло выставить девяносто тысяч ратников). Правителем канцелярии был А. Н. Оленин, также желавший послужить общему патриотическому делу.

Патриотический подъем в стране был действительно небывалым. Молодые дворяне охотно шли в ряды ополченцев. В адрес милиционных округов поступало большое количество жертвований: деньги, драгоценности, недвижимое имущество, оружие, провиант, фураж, скот... Это была своеобразная прелюдия к «грозе двенадцатого года», когда

...явилось все величие народа,
Спасающего трон, и святость алтарей,
И древний град отцов, и колыбель детей.
(В. А. Жуковский)

Между тем опасность все приближалась. 14 декабря 1806 года произошло сражение при Пултуске: наполеоновские войска были приостановлены, но русская армия вынуждена была отойти в Восточную Пруссию. Здесь, недалеко от Кенигсберга, у города Прейсиш-Эйлау, 26 — 27 января 1807 года разыгралось генеральное сражение. Русские солдаты проявили в нем необычайную храбрость и стойкость. Наступление французов было задержано,— но и русские войска понесли значительные потери.

Наспех собранная милиция направилась в Пруссию.

Из письма К. Н. Батюшкова отцу, 17 февраля 1807 года:

«...Падаю к ногам твоим, дражайший родитель, и прошу прощения за то, что учинил дело честное без твоего позволения и благословения, которое теперь от меня требует и Небо, и земля. Но что томить вас!.. Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтобы их проводить до армии. Надеюсь, что ваше снисхождение столь велико, любовь ваша столь горяча, что не найдете вы ничего предосудительного в сем предприятии. Я сам на сие вызвался и надеюсь, что государь вознаградит (если того сделаюсь достоин) печаль и горесть вашу излиянием к вам щедрот своих...

Надеюсь, что и без меня Михайло Никитич сделает все возможное, чтоб возвратить вам спокойствие и утешить последние дни жизни вашей. Он и сам чрезвычайно болен, к моему большому огорчению...» (III, 4 — 5).

Письмо написано отрывисто и беспорядочно. Батюшков идет против воли отца и всеми силами успокаивает его. И в конце пишет фразу, не оставляющую никаких сомнений: «...поездку мою кратковременную отменить уже не можно: имя мое конфирмовано государем» (III, 5).

Сборы в армию проходили в спешке и, вероятно, втайне от родных. За день до написания письма, 16 февраля, Батюшков занял тысячу рублей у некоего «крестьянина князя Урусова Егора Петрова сына Белянина»[3], 22 февраля — получил назначение и еще через несколько дней оказался в дороге.

Губернский секретарь Батюшков стал сотенным начальником милиционного баталиона. С этого времени — и до конца сознательной жизни — у него только и было что дороги, дороги, дороги... Скиталец вышел на предначертанный путь.

ПЕРВАЯ ВОЙНА — ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Ужели слышать все докучный барабан?
Пусть дружество еще, проникнув тихим гласом,
Хотя на час один соединит с Парнасом

Того, кто невзначай Ареев вздел кафтан
И с клячей величавой
Пустился кое-как за славой.

Первый батюшковский экспромт, написанный через несколько дней после отъезда: 2 марта 1807 года. Батюшков в Нарве: он рассматривает знаменитый водопад и места не менее знаменитого сражения столетней давности, где в 1700 году быстрый Карл XII наголову разбил армию Петра Великого... Поэт весел, он «пустился за славой»: ему кажется, что слава его не обманет.

Десять лет спустя в записной книжке Батюшков заметит о себе (в третьем лице): «Он служил в военной службе и в гражданской; в первой очень усердно и очень неудачно; во второй — удачно и очень неусердно».

Пока же, двадцатилетний, он окрылен надеждами и полон сил. Он пишет Гнедичу шутливо и чуть свысока: «Вообрази себе меня едущего на Рыжаке по чистым полям, и я счастливее всех королей, ибо дорогою читаю Тасса или что подобное. Случалось, что раскричишься и со словом:

О доблесть дивная, о подвиги геройски! —

прямо набок и с лошади долой. Но это не беда! Лучше упасть с Буцефала, нежели падать, подобно Боброву, с Пегаса» (III, 8)[4].

И ниже в том же письме (из Риги от 19 марта): «Мы идем, как говорят, прямо лбом на французов. Дай бог поскорее! Хотя поход и весел, но тяжел, особливо в моей должности. Как собака, на все стороны рвусь» (III, 10).

Поход движется. Митава, Шавли, Юрбург... Переход через границу. Современник Батюшкова, офицер, участвовавший в этом же походе, отмечает в своем дневнике: «Вступление в Прусские пределы чрез реку Неман. Переход через оную по причине недавнего замерзания оной был весьма опасен: люди переходили на некотором расстоянии один от другого, поодиночке, а все полковые тягости и обоз переправляли на постланных досках по замерзшему только за два дня Неману»[5].

Рядом с Батюшковым — Иван Петин, друг и ровесник. С ним поэт как-то сразу очень сблизился. «Души наши были сродны. Одни пристрастия, одни наклонности, та же пылкость и та же беспечность, которые составляли мой характер в первом периоде молодости, пленяли меня в моем товарище. Привычка быть вместе, переносить труды и беспокойства воинские, разделять опасности и удовольствия теснили наш союз. Часто и кошелек, и шалаш, и мысли, и надежды у нас были общие».

Петин был тоже поэт (как, впрочем, большинство воспитанников Московского благородного пансиона) — и почти так же известен, как Батюшков. Перед походом в сборнике «Утренняя заря»

была напечатана его басня «Солнечные часы», которая сразу же стала популярной:

На улице большой, широкой,
На башне, не весьма высокой,
Для пользы или для красы
Стояли солнечны часы.

Пока был день и свет блистал,
Пока он башню освещал:
Кто мимо тех часов ни шел,
Всяк, подходя, на них смотрел —

Сокрылся день, и солнца нет:
Никто к часам не подойдет.

Счастливцы мира! не гордитесь,
И на того вы не сердитесь,
Кто скажет вам,
Что вы — подобны сим часам.

Так, в мечтах о высокой поэзии и в жажде славы воинской прошли март, апрель и первая половина мая...

Русская армия сосредоточивалась на выгодной позиции под Гейльсбергом — маленьким немецким городком в двадцати милях к югу от Кенигсберга: именно на Гейльсбергские высоты Бенигсен стремился заманить неприятеля. Наполеон, однако, не спешил и сделал упреждающий марш: он занял Данциг и пленил шестнадцатитысячный гарнизон под командой Калькрейта и князя Щербатова. И только в мае развернулись военные действия. 22 — 27 мая — бой под Гутштадтом, где был разбит корпус маршала Нея. И сражение при селении Лиомитен — здесь особенно отличился гвардейский корпус полковника Э. Сен-При. И бой при Лаунау, в котором участвовала сотня Батюшкова, только что прибывшая с похода...

Наконец 28 — 29 мая произошло сражение под Гейльсбергом.

О Гейльсбергски поля! О холмы возвышенны!
Где столько раз в ночи, луною освещенный,
Я, в думу погружен, о родине мечтал;
О Гейльсбергски поля! В то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
Что я, мечтатель ваш счастливый,
На смерть летя против врагов,
Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну...—
И буря дней моих исчезла, как мечта!..
(«Воспоминания 1807 года»)

Эти строки — почти единственное свидетельство об участии Батюшкова в Гейльсбергском сражении. В официальных доку-

ментах указывается лишь «отменная храбрость» губернского секретаря Батюшкова. В воспоминаниях А. С. Стурдзы находим замечание, что поэта «вынесли полумертвого из груды убитых и раненых товарищей»...[6]

Пуля пробила Батюшкову ляжку и, вероятно, повредила спинной мозг. Во всяком случае, именно эта рана стала главной причиной многочисленных болезней и недугов Батюшкова, жалобы на которые (с непременным упоминанием этой старой раны) рассыпаны во многих его письмах. Потом в жизни Батюшкова будут еще и войны, и сражения — пострашнее Гейльсбергского,— но ни разу не будет он в них ни ранен, ни контужен, ниже царапины не получит...

> Да оживлю теперь я в памяти своей
>   Сию ужасную минуту,
>   Когда, болезнь вкушая люту
>   И видя сто смертей,
> Боялся умереть не в родине моей!
> Но небо, вняв моим молениям усердным,
>   Взглянуло оком милосердным...

При Гейльсберге русские солдаты дрались геройски — но Бенигсен не сумел воспользоваться победой: армия отступила к Фридлянду. Там, через три дня после Гейльсберга, 2 июня 1807 года, произошло сражение, решившее ход кампании. Русские войска были разгромлены, Александр I заключил перемирие — и 25 июня в Тильзите был заключен позорный для России мир.

Батюшкову не пришлось стать свидетелем этого поражения:

> «В тесной лачуге на берегах Немана, без денег, без помощи, без хлеба (это не вымысел), в жестоких мучениях, я лежал на соломе и глядел на Петина, которому перевязывали рану. Кругом хижины толпились раненые солдаты, пришедшие с полей несчастного Фридланда, и с ними множество пленных...»

Там, в юрбургском госпитале, Батюшков имел случай оценить яркую личность своего друга Петина и надолго запомнил один случай. Однажды к раненым офицерам зашли пленные офицеры французской армии. Их не преминули принять по всем законам гостеприимства и пригласили разделить скудную трапезу. Французы разговорились — и тут вошел Петин.

> «Посудите о нашем удивлении, когда наместо приветствия, опираясь на один костыль, другим указал он двери нашим гостям. «Извольте идти вон,— продолжал он,— здесь нет места и русским: вы это видите сами». Они вышли не прекословя, но я и товарищи мои приступили к Петину с упреками за нарушение гостеприимства. «Гостеприимства! — повторял он, краснея от досады,— гостеприимства!» —

«Как! — вскричал я, приподнимаясь с моего одра,— ты еще смеешь издеваться над нами?» — «Имею право смеяться над вашею безрассудною жестокостию».— «Жестокостию? Но не ты ли был жесток в эту минуту?» — «Увидим. Но сперва отвечайте на мои вопросы! Были ли вы на Немане у переправы?» — «Нет». — «Итак, вы не могли видеть того, что там происходит?» — «Нет! Но что имеет Неман общего с твоим поступком?» — «Много, очень много. Весь берег покрыт ранеными; множество русских валяется на сыром песку, на дожде, многие товарищи умирают без помощи, ибо все дома наполнены; итак, не лучше ли призвать сюда воинов, которые изувечены с нами в одних рядах? Не лучше ли накормить русского, который умирает с голоду, нежели угощать этих ненавистных самохвалов? — спрашиваю вас? Что же вы молчите?»

Этот урок патриотизма, преподанный Петиным, был нов для нравов тогдашней «джентльменской» войны. Но именно такого рода патриотизм явился основой будущей, Отечественной войны, фундаментом победы над Наполеоном. В 1815 году, к которому относятся «Воспоминания о Петине», Батюшков уже вполне прочувствовал это — и с благодарностью вспомнил этот случай, научивший поэта многому.

Из Юрбурга Батюшков был перевезен в Ригу. Он поправлялся: он был готов к новой счастливой жизни.

Из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу, июнь 1807 года. Рига:

«Любезный друг! Я жив. Каким образом — богу известно. Ранен тяжело в ногу навылет пулею в верхнюю часть ляжки и в зад. Рана глубиною в 2 четверти, но не опасна, ибо кость, как говорят, не тронута, а как? — опять не знаю. Я в Риге. Что мог вытерпеть дорогою, лежа на телеге, того и понять не могу. Наш баталион сильно потерпел. Все офицеры ранены, один убит. Стрелки были удивительно храбры, даже до остервенения. Кто бы это мог думать? Но бог с ними и с войной!..» (III, 12 — 13).

Из письма К. Н. Батюшкова сестрам, 17 июня 1807 г., Рига (подлинник по-французски):

«...Мне пришлось много страдать во время переезда из Пруссии, но сейчас, благодаря всемогущему, который соизволил меня спасти или сохранить жизнь, я нахожусь в самом гостеприимном доме из когда-либо существовавших. Доктор прекрасен. Меня окружили цветами и ухаживают, как за ребенком... Не тревожьтесь о моем теперешнем состоянии. Хозяин дома Мюгель — самый богатый торговец в Риге. Его дочь очаровательна, мать добра, как ангел: все они меня окружают и для меня музицируют...» (III, 14 — 15).

Под письмом Гнедичу, вместо подписи, Батюшков нарисовал самого себя: молодой курчавый офицер в военном сюртуке, по-домашнему незастегнутом, и — на костылях. Костыли придают ладной его фигурке особенную грацию и вовсе не вредят внешности...

Правда, в письме к сестрам — настораживающее замечание: «Не пишите мне ничего такого, что могло бы меня огорчить. Мои нервы стали слабыми, я раздражаюсь по всякому поводу» (III, 14). Правда, о войне, на которую когда-то так рвался, Батюшков вспоминает сейчас с неудовольствием и раздражением...

Купеческое семейство, однако, столь радушно приняло раненого и так усердно ему попечительствовало, что он, кажется, скоро вполне оправился и от раны, и от тягостной раздражительности,— и, как следовало ожидать, влюбился в очаровательную дочь.

Семейство мирное, ужель тебя забуду
И дружбе и любви неблагодарен буду?
Ах, мне ли позабыть гостеприимный кров,
  В сени домашних где богов
Усердный эскулап божественной наукой
Исторг из-под косы и дивно исцелил
Меня, борющегось уже с смертельной мукой!
Ужели я тебя, красавица, забыл,
Тебя, которую я зрел перед собою
Как утешителя, как ангела небес!..

В конце прошлого века Леонид Николаевич Майков, самый увлеченный и самый «капитальный» биограф Батюшкова, принялся за поиски адресата этого первого серьезного поэтического чувства. Первая любовь особенно привлекательна. Тем более что у Батюшкова немного было этих самых «любовей» (да и о тех мы знаем до обидного мало!). А без них биография поэта, воспевавшего житейские наслаждения, и романтика, искавшего «милый идеал», оказывается какой-то неполной, непроясненной... В книге Л. Н. Майкова, в примечании, читаем: «Все наши попытки собрать в Риге сведения о негоцианте Мюгеле и его семействе оказались безуспешными»[7]. За этими скупыми «комментаторскими» строками стоит множество прочитанных адрес-календарей, списков, бюллетеней, архивных документов. Если б они принесли результат, если бы нашлась таинственная «девица Мюгель», если бы разгадалась загадка, подобная лермонтовской «загадке Н. Ф. И.»... Ведь любовь-то все-таки была!

Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса...
Какое счастие с весной воскреснуть ясной!

(В глазах любви еще прелестнее весна).
Я, восхищен природой красной,
Сказал Эмилии: «Ты видишь, как она,
Расторгнув зимний мрак, с весною оживает,
С ручьем шумит в лугах и с розой расцветает;
Что б было без весны?.. Подобно так и я
На утре дней моих увял бы без тебя!»
Тут, грудь ее кропя горячими слезами,
Соединив уста с устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна!

Эмилия... Может быть, это имя Эмилии Мюгель, реально существовавшей рижской немочки. А может быть — некое условное поэтическое имя, вроде Хлои или Мальвины... Этого мы не знаем: в поэтической биографии она мелькает слабою тенью, каким-то намеком на неясные, но прекрасные черты, взволновавшие чуткое и разборчивое сердце.

Черты эти сохранились в стихотворении «Воспоминания 1807 года», напечатанном в 1809 году. Кажется, об этой же любви повествуется в стихотворениях «Радость», «Ложный страх», «Любовь в челноке»... Правда, поэтический текст очень своеобразно преломляет порой жизненные факты. Но картина первого порыва чувства во многих стихах Батюшкова, несомненно, биографична:

Помнишь ли, о друг мой нежный!
Как дрожащая рука
От победы неизбежной
Защищалась — но слегка?
Слышен шум! ты испугалась!
Свет блеснул, и вмиг погас;
Ты к груди моей прижалась,
Чуть дыша... блаженный час!
Ты пугалась; я смеялся.
«Нам ли ведать, Хлоя, страх!
Гименей за все ручался,
И Амуры на часах...»
(«Ложный страх»)

Как роза, кропимая
В час утра Авророю,
С главой, отягченною
Бесценными каплями,
Румяней становится,—
Так ты, о прекрасная!
С главою поникшею,
Сквозь слезы стыдливости,
Краснея, промолвила:
«Люблю!» — тихим шепотом...
(«Радость»)

Куда девалися восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,

Где, заключа ее в объятиях моих,
Я не завидовал судье богов самих!..
(«Воспоминания 1807 года»)

Кажется, что эта любовь поэта была встречена взаимностью. Между тем она не могла окончиться счастливой развязкой: слишком большие социальные различия были между русским дворянином-военным и дочерью немецкого купца. Можно было лишь грустить о неизбежной разлуке.

Из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу, 12 июля 1807 г., Рига:

«...Я в отечестве курительного табаку, бутерброду, кислого молока, газет, лакированных ботфорт и жеманных немок живу весело и мирно; меня любят. Хозяйка хороша, а дочь ее прекрасна: плачут, что со мной должно расставаться» (III, 16).

Батюшков все-таки медлит покидать Ригу. Он поправился уже до того, что начал выезжать в общество и познакомился, в частности, с проживавшим там графом Михаилом Юрьевичем Велеурским (Виельгорским), известным впоследствии музыкантом. В послании к нему, написанном через два года, он вспоминает эти — первые — встречи и «обетованный край», в котором его сердце «с любовью отдыхало»... Эти два месяца в Риге и эта любовь к таинственной «девице Мюгель» окажутся едва ли не самыми счастливыми в его жизни. Больше нигде не встретит он такой ласки «семейства мирного», больше никогда не будет он жить в такой цельности человеческого чувства, больше никто не будет любить его так открыто, преданно и просто. В «Послании к г. Велеурскому» воспоминание о счастливых днях в Риге заканчивается безотрадным поэтическим призывом:

О, мой любезный друг! отдай, отдай назад
Зарю прошедших дней и с прежними бедами,
С любовью и войной!..

Потом Батюшков еще не раз пожалеет об этом несвершившемся счастье, о том, что в одну и ту же воду нельзя ступить дважды...

Теперь я, с нею разлученный,
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу,
Воспоминания, лишь вами окриленный,
К ней мыслию лечу.
И в час полуночи туманной
Мечтой очарованной
Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
Цветов благоуханье,
Эмилии дыханье;
Я вижу в облаках
Ее, текущую воздушною стезею...

Раскинуты власы красавицы волною
В небесной синеве,
Венок из белых роз блистает на главе,
И перси дышат под покровом...
«Души моей супруг!» —
Мне шепчет горний дух.—
«Там, в тереме готовом
За светлою Двиной,
Увижуся с тобой!..
Теперь прости»... И я, обманутый мечтой,
В восторге сладостном к ней руки простираю,
Касаюсь риз ее... и тень лишь обнимаю!

СМУТНЫЙ ГОД

Из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу, 12 июля 1807 г., Рига:

«...Признаюсь, что ты меня мало любишь или ленив. В твоих письмах мало чистосердечия да и так коротки! Пиши ко мне поболее обо всем... Я по возвращении моем стану тебе рассказывать мои похождения, как Одиссей... Поедем ко мне в деревню и заживем там. Если бог исполнит живейшее желание моего сердца, то я с тобой проведу несколько месяцев в гостеприимной тени отеческого крова. Если же и нет, то буди его святая воля. Помнишь ли того, между прочим, гвардейского офицера, которого мы видели в ресторации, молодца? Он убит. Вот участь наша... Ничто так не заставляет размышлять, как частые посещения госпожи смерти. Ваши братья-стихотворцы пусть венчают ее розами; право, она для тех, которые переживают, не забавна. Напиши мне, кстати, говоря о смерти, что делается на бульварах, в саду и проч. Я получил от Катерины Федоровны письмо. Дядюшка очень, видно, болен, желает меня видеть. Дай бог, чтоб был жив...» (III, 15 — 16).

Из письма Н. И. Гнедича к К. Н. Батюшкову, 2 августа 1807 г., Петербург:

«...Ты не взыщешь, что ни книг тебе не посылаю, ни сам к тебе не буду; если б наши души были видимы, так ты бы увидал мою близ тебя. Мы бы поплакали вместе, ибо и тебе должно плакать: ты лишился многого, и совершенно неожиданно — душа человека, так дорого тобою ценимого, улетела: Михаил Никитич 30-го числа июля скончался»[8].

М. Н. Муравьев заболел еще до отъезда Батюшкова в армию; уже больным хоронил он умершего 28 февраля друга своей молодости И. П. Тургенева. Известие о Тильзитском мире сразило его окончательно...

О смерти Муравьева Батюшков узнал уже в Даниловском: это была одна из многих горестей, обрушившихся на него.

Уход Батюшкова в военную службу неожиданно и глубоко оскорбил Николая Львовича: единственный сын, успевающий на привычном поприще чиновника,— и вдруг такой шаг, и, что называется, без родительского благословения... Какие-то «доброжелатели» не преминули воспользоваться этой размолвкой и стали посылать клеветнические письма: отцу — на сына, сыну — на отца посыпались «наветы», и все родственники оказались впутанными в какую-то не вполне ясную, но неприятную интригу.

В этой семейной ссоре сестры неожиданно оказались на стороне «неразумного» Константина. Собственно, вместе с отцом жили две незамужние сестры: пятнадцатилетняя, младшая, Варенька и двадцатидвухлетняя Александра, некрасивая и уже подготовившая себя к тому, чтобы остаться старой девой.

Среди создавшейся накаленной обстановки Николай Львович объявил о своем решении жениться вторично. Избранницей его оказалась «мелкодушная» устюженская дворянка Авдотья Никитична Теглева. Сведений о ней почти не сохранилось: мы знаем лишь, что в одном из писем Александра Николаевна Батюшкова назвала ее «самой бесчувственной женщиной»...

Да и не в Авдотье Никитичне было дело, а в том, что после вторичной женитьбы отца брат и сестры оставались как бы «ни при чем» в смысле имущественном. Николай Львович особенным здоровьем не отличался; к тому же на старости лет он впал в невозможную сентиментальность (что очень видно из его писем) и у него обнаружились признаки склероза. Появилось реальное опасение, что «самая бесчувственная женщина» может его — не дай бог — сжить со свету и остаться наследницей довольно значительных имений покойной маменьки.

Дело осложнялось еще и тем, что единственному сыну Н. Л. Батюшкова Константину еще не исполнилось двадцати одного года, а до этого времени (до мая 1808 года) он не мог вступить во владение. Поэтому в 1807 году в Даниловском развернулись очень неприятные сцены: дети настаивали на разделе имения и, при живом отце, искали опекуна. Дело пошло в суд: в Вологду, Новгород, Петербург...

Начались хлопоты. В августе Константин вместе с сестрами оставил родительский дом и перевез сестер в старое, заброшенное имение покойной матери — сельцо Хантоново. Оно находилось в Новгородской волости, в тридцати верстах от новообразованного, «выморочного» городишка Череповца.

Деревянный господский дом стоял на высоком холме с видом на величавую Шексну-реку и на безбрежные северные леса и болота. Дом был построен еще в начале восемнадцатого столетия, обветшал и поминутно грозил разрушением. Зимой в нем было

очень холодно — не натопишь... При доме — небольшой птичий двор и сад. Рядом — большое село.

Впрочем, Батюшков даже и не успел как следует разглядеть своего наследственного имения, своих «отеческих Пенат». Дела требовали немедленного прибытия в Петербург, и он пустился в новую дорогу, и опять понеслись верстовые столбы и почтовые станции...

Вслед за тем в Петербурге начались хлопоты, бумажные и денежные. В них включились два зятя Батюшкова — муж старшей сестры Анны Абрам Ильич Гревенс, петербургский чиновник, и муж сестры Елизаветы Павел Алексеевич Шипилов, служивший в Вологде.

Расписка

«Милостивый государь мой Абрам Ильич!

Так как вы, попечитель моего имения и имения сестер моих, изволили занять для наших надобностей две тысячи рублей, которые я и получил, о чем даю вам сию расписку.

Покорнейший слуга *Константин Батюшков*

Сентября, 6 дня, 1807»[9].

Подобные документы также стали вехами всей жизни Батюшкова. Кому он только не писал расписок! И А. И. Гревенсу, и П. А. Шипилову, и в Опекунский совет, и в лондонский банк, и купцу Алексею Дмитриеву, и нижегородскому мещанину Ивану Серякову... В архивах сохранилось около сотни батюшковских расписок: и на две тысячи, и на шестьсот пятнадцать рублей, и даже на четыре рубля восемь копеек! Обратим внимание на этот трогательный факт. Многие стихи и прозаические произведения — чуть ли не половина творческого наследия Батюшкова — безвозвратно утрачены; а векселя и расписки — остались. К деньгам во все времена относились бережнее, чем к стихам. И денег Батюшкову всегда не хватало.

27 сентября 1807 года вышел манифест Александра I о роспуске милиции. Ополчение было распущено по домам, кроме его подвижной части, поступившей на укомплектование армии и зачтенной вместо рекрутов. Из нее вырос лейб-гвардии егерский полк — и Батюшков решил остаться в армии, переведясь в этот полк прапорщиком...

Военная служба, однако, началась не вполне удачно: осенью 1807 года Батюшков тяжело заболел и хворал всю зиму. Об этой его болезни сохранилось лишь глухое упоминание в позднейшем письме к А. Н. Оленину: «Довольно напомнить вашему превосходительству о том, что вы для меня собственно сделали, а мне помнить осталось, что вы просиживали у меня умирающего целые вечера, искали случая предупреждать мои желания, когда оные могли клониться к моему благу, и в то время, когда я был оставлен всеми, приняли me peregrino errante под свою защиту... и все из одной любви к человечеству» (III, 26). В эту

трудную зиму Батюшков особенно сблизился с Олениным и с его семейством. Между ними завязалась обширная переписка, из которой до нас, к сожалению, дошли лишь незначительные отрывки[10].

В 1807 — 1808 годах «пиитоприродный» (по выражению Оленина) Батюшков почти ничего не пишет. Он публикует в «Драматическом вестнике» лишь басню «Пастух и Соловей», посвященную драматургу В. А. Озерову, и басню «Сон Могольца» (своеобразный ответ на одноименную басню Жуковского). При всем том он скоро становится уже заметной фигурой российской словесности.

Из письма В. А. Озерова к А. Н. Оленину, 23 ноября 1808 г.:

«Прелестную его басню («Пастух и Соловей» Батюшкова.— *В. К.*) почитаю истинно драгоценным венком моих трудов. Его самого природа одарила всеми способностями быть великим стихотворцем, и он уже с молода поет соловьем, которого старые певчие птицы в дубраве над Ипокреною заслушиваются и которым могут восхищаться»[11].

Батюшков снова попробовал переводить Тассо,— а потом — потерял первый том и... как-то остыл к самому переводу. Позже на увещевания Гнедича он отвечал с раздражением: «...прошу тебя оставить моего Тасса в покое, которого я верно бы сжег, если б знал, что у меня одного он находится» (III, 64). Батюшков-поэт чувствует себя сейчас на каком-то переломном моменте: старое отошло и разонравилось, а нового еще нет... И вдохновение где-то близко... а не ухватишь!

Весной 1808 года Батюшков вновь отправился в дорогу и 14 апреля был уже в Вологде, заняв довольно крупную сумму денег[12]. Там его ожидали дела по вводу во владение имением матери и много еще хлопотливых и тягостных историй...

Из письма К. Н. Батюшкова к П. А. Шипилову, 12 июня 1808 г., из Вологды в Петербург:

«...В Питере, я вижу, и с тобой прокатят, а обо мне уже и говорить нечего. Будь осторожнее; удивимся письмам, что я получаю. Посоветуйся, что делать, и спроси у Александры, я из сил выбился. Ложь и клевета со всех сторон, болтают, как собаки... Мне так надоели сплетни и пиявицы, что боже от них сохрани»[13].

В довершение всего — еще одна смерть: в Петербурге умерла старшая сестра Анна. Умерла скоропостижно и неожиданно — Батюшков даже не попал на похороны: он в это время разъезжал по имениям и по родственникам, заглаживал какую-то «клевету» и производил расчеты крестьянских душ.

Раздел имения состоялся 12 июня 1808 года в Вологде (в губернском суде) и был утвержден в Череповце и Устюжне[14].

Батюшков — ездит по тряским дорогам и жалуется на судьбу. Его ждут к армии, но дела не дают и выехать...

Посреди черных дней попадаются и радостные.

Рескрипт

«Господин губернский секретарь Батюшков!

В воздаяние отличной храбрости, оказанной вами в сражении прошедшего мая 29-го при Гейльсберге и Лаунау противу французских войск, где вы, находясь впереди, поступали с особенным мужеством и неустрашимостью, жалую вас кавалером ордена святыя Анны третьего класса, коего знак у сего к вам доставляю; повелеваю возложить на себя и носить по установлению; уверен будучи, что сие послужит вам поощрением к вящему продолжению ревностной службы вашей.

Пребываю вам благосклонный
Александр.
Военный министр: *Аракчеев.*

С. Петербург, 20 мая 1808»[15].

Из письма А. Н. Оленина к К. Н. Батюшкову. 25 июня 1808. Из Петербурга в Вологду:

«...Твое первое письмо меня очень порадовало, в нем видно действие вольного воздуха и сельской жизни; второе письмо меня опечалило,— неужели это в порядке вещей, чтоб тем умирать, которые могут приносить нам утешение на земле, ⟨а тем⟩ жить, которые ее тело ⟨гнетут⟩ своим бытием? Но судьбы божии неисповедимы...

Вчера встретил я твоего Филиппа, только не Македонского, а приверженного своего клеврета — и обрадовался, что ⟨при⟩ верном случае могу к тебе ⟨высла⟩ть медаль, к которой я большую цену приписываю, особливо когда она висит на георгиевской ленте, как у тебя, с настоящим свидетельством почтенного Старика нашего.— Вот она, прошу любить да жаловать. Теперь дело-то раскусили; сперва рожу от нее отворачивали, а теперь всякой ее хочет иметь — не можем от просьб избавиться»[16].

Из письма Н. Л. Батюшкова к К. Н. Батюшкову. 24 июня 1808 г., из Даниловского в Вологду:

«По возвращении моем из Избоищ от тетушки моей Анны Андреевны, получил я твое письмо, распечатал и, прочитавши несколько раз с глубоким вниманием, обмочил его радостными слезами. Этому свидетель бог, а не кто другой.— Оставь, мой друг, вперед писать мне: госуд⟨арь⟩ Батюшка. Пусть будет по-прежнему, и тогда-то вознесенный на меня меч клеветниками многими обратится на главу их. В ту яму, которую искусственно они рыли для меня,

впадут они сами... А я тебе клянусь, что с моей стороны все забыто и предано в архив забвения. Ты был свидетелем, мой друг, какие горькие слезы пролил я при твоем из Даниловского отъезде. Они не могут падать на ланиты у того, кто не имеет души и чувствительного сердца...»[17]

В хлопотах время шло незаметно, а начавшаяся русско-шведская война требовала присутствия лейб-гвардии егерского полка прапорщика и кавалера Батюшкова на месте постоянной службы. В начале осени, он, кой-как распутавшись с делами, поспешил в Финляндию...

Из письма А. Г. Ухтомского к П. А. Шипилову, 5 октября 1808 года:

«...Короткое с ним (Батюшковым. — *В. К.*) мое свидание этим кончилось, чтоб я вас известил, что все приемлемые им меры для избавления от похода были тщетны; в три часа после моего свидания он оставил Петербург, отправясь к батальону своему в Копио...»[18]

ВТОРАЯ ВОЙНА

Тильзитский мир был поражением России. Казалось бы, она вышла из войны с Пруссией без территориальных потерь и даже приобрела Белостокский округ,— но Наполеон продиктовал крайне тяжелые экономические условия: Россия примкнула к континентальной блокаде Англии. Англия в ответ на это стала добиваться выступления Швеции против России, и поводом для войны послужило невыполнение Швецией условий блокады.

28 января 1808 года начались военные действия. Русские войска под командованием генерала Ф. Ф. Буксгевдена перешли границу — и к лету почти вся Финляндия была очищена от шведских войск. Затем война затянулась. Александр I сменил командование и выслал значительное подкрепление, в числе которого был отправлен тот баталион гвардейских егерей, где прапорщик Батюшков состоял в должности адъютанта. Рядом с ним служил И. А. Петин; там же состояли на службе два молодых французских эмигранта: граф Делагард и Шап де Растиньяк.

О, любимец бога брани,
Мой товарищ на войне!
Я платил с тобою дани
Богу славы не одне:
Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал:
Я в углу уединенном
Незабудки собирал...
(«К Петину»)

Командовал баталионом полковник Андрей Петрович Турчанинов, хороший знакомый Батюшковых: и он не принуждал молодого адъютанта к особенно усердной службе.

Однако уже через неделю после приезда Батюшкову довелось принять участие в горячем деле. 15 октября 1808 года перемирие со шведами было нарушено, и один из самых горячих боев развернулся у кирки Иденсальма (или Иденсальми) в северной части Финляндии, в окрестностях Копио. Сражение было жарким: в нем был убит командовавший отрядом егерей генерал-адъютант князь М. П. Долгоруков.

Из письма К. Н. Батюшкова сестрам, 1 ноября 1808 г., Иденсальми:

«...Приезжаю в баталион, лихорадка мучит 7 дней. Прикладываю мушку к затылку; кричат: «Тревога!» Срываю, бегу в дело — и подивитесь, друзья мои, теперь здоров... Я оставался с своей ротой в резерве, но был близ неприятеля. Что бог вперед даст, не знаю» (III, 19 — 20).

Через две недели стычка со шведами повторилась снова. К тому времени убитого Долгорукова заменил генерал-маиор Илья Иванович Алексеев. И. П. Липранди вспоминает: «Очень часто, или, лучше сказать, ежедневно к Алексееву... наезжали... гости, начиная с обеда до поздней ночи... Накануне предприятия шведов, 29-го октября, приехали к обеду из лейб-егерского полка капитаны граф Шап де Растиньяк, шевалье Делагард, подпоручик Нарышкин, баталионный адъютант К. Н. Батюшков, гвардейской артиллерии поручик Карабин и человека четыре из штаба Тучкова и армейских... они, исключая Карабина и Батюшкова, оставались далеко за полночь, были из одного лагеря и едва прибыли на место, как выступили на совершение блистательного подвига»[19].

С юга послышались ружейные выстрелы — шведы, ободренные недавним успехом, вновь напали на войска, стоявшие у Иденсальмы. Нападение было так неожиданно, что шведы, замечает Батюшков, «забрались даже в наш лагерь» (III, 21). Начальник авангарда генерал Тучков послал за подкреплениями: в их числе был и гвардейский егерский баталион. Егеря отрезали шведам путь к отступлению — и произошла ожесточенная схватка, окончившаяся полным поражением шведского отряда. Героем дня стал Петин. Он, пишет Батюшков, «с ротой егерей очистил лес, прогнал неприятеля и покрыл себя славою. Его вынесли на плаще, жестоко раненного в ногу. Генерал Тучков осыпал его похвалами, и молодой человек забыл и болезнь, и опасность. Радость блистала в глазах его, и надежда увидеться с матерью придавала силы».

А Батюшкову вновь не довелось отличиться: он не вовремя ушел от гостеприимного Алексеева и занимался совершенно другими делами:

Помнишь ли, любимец сла́вы,
Иденсальми? страшну ночь? —
Не люблю сии забавы,—
Молвил я,— и дале прочь!
Между тем как ты штыками
Шведов за лес провождал,
Я геройскими руками...
Фляжку с водкой осаждал.
(«К Петину», первоначальный вариант)

Потом Батюшков воевал уже без Петина. Гвардейские егеря двинулись к северо-западу, на Улеаборг. «Теперь,— писал Батюшков в «Отрывке из писем русского офицера...»,— всякий шаг в Финляндии ознаменован происшествиями, которых воспоминание и сладостно, и прискорбно. Здесь мы победили; но целые ряды храбрых легли, и вот их могилы! Там упорный неприятель выбит из укреплений, прогнан; но эти уединенные кресты, вдоль песчаного берега или вдоль дороги водруженные, этот ряд могил русских в странах чуждых, отдаленных от родины, кажется, говорят мимоидущему воину: и тебя ожидает победа — и смерть!» Батюшков уже не может воспринимать войну однозначно: любая победа заставляет задуматься о цене ее, о цели ее и о человеке, сложившем кости на холодной, чужой земле...

В затяжных походах и стычках прошла трескучая зима. С декабря до марта егеря стояли в городе Вазе. «Здесь царство зимы...— пишет Батюшков в «Отрывке...».— Едва соседняя скала выказывает бесплодную вершину; иней падает в виде густого облака; деревья при первом утреннем морозе блистают радугою, отражая солнечные лучи тысячью приятных цветов. Но солнце, кажется, с ужасом взирает на опустошения зимы; едва явится, и уже погружено в багровый туман, предвестник сильной стужи. Месяц в течение всей ночи изливает сребряные лучи свои и образует круги на чистой лазури небесной, по которой изредка пролетают блестящие метеоры. Ни малейшее дуновение ветра не колеблет дерев, обеленных инеем: они кажутся очарованными в своем новом виде. Печальное, но приятное зрелище — сия необыкновенная тишина и в воздухе, и на земле!»

В марте началось новое наступление. Корпус под командованием П. И. Багратиона, усиленный и гвардейскими егерями, совершил знаменитый марш по льду Ботнического залива и после тяжкого ледового перехода 5 марта 1809 года занял Аландские острова. Через два дня передовые части с боями заняли Грислехами. Почти в то же время корпус М. Б. Барклая-де-Толли занял Умео, а части, двинутые на север, теснили шведов к Торнео. 13 марта шведский отряд генерала Грипенберга был взят в плен.

Однако с наступлением весенней распутицы пришлось отвести войска обратно, и... шведская кампания вновь приняла затяжной характер. Егеря стали на зимние квартиры в местечке

Надендаль в окрестностях городка Або. Батюшков, страдающий от болезней, а еще более — от безделья и одиночества,— подал в отставку, и добрейший полковник Турчанинов отставку принял. Оставалось дождаться решения из Петербурга.

Из письма А. Н. Оленина к К. Н. Батюшкову, 14 ноября 1808 г., Петербург:

«...Третьего дня получил я от Владислава Александровича Озерова пятый акт «Поликсены», который, за домашними моими огорчениями, я еще не читал. Потом, что еще тебе сказать? — Фуриозо танцует на веревке, а Дюпор прыгает на полу. Французских актеров наехала целая орава, один другого хуже. У нас в доме те же лица и те же знакомые, давно только не видал я Гнедича, бог знает, что с ним сделалось»[20].

Из письма К. Н. Батюшкова к А. Н. Оленину, 24 марта 1809 г., Надендаль:

«Теперь скажу вам о себе, что я обитаю славный град Надендаль, принадлежавший доселе трекоронному гербу скандинавскому... О Петербурге мы забыли и думать. Здесь так холодно, что у времени крылья примерзли. Ужасное единообразие. Скука стелется по снегам, а без затей сказать, так грустно в сей дикой, бесплодной пустыне без книг, без общества и часто без вина, что мы середы с воскресеньем различить не умеем. И для того прошу вас покорнейше приказать купить мне Тасса (которого я имел несчастие потерять) и Петрарка, чем меня чувствительнейше одолжить изволите» (III, 26).

Эта — «органическая» — скука иногда перемежается скукой «деятельной». Батюшков посещает Абовский театр («сарай à jour, актеров таковых точно, как Лесаж описывает»), бывает на местных балах и даже встречает старых знакомых. В письме к сестрам от 12 апреля читаем: «Мадам Чеглокова здесь. Я ее вижу время от времени. Но я от нее смертельно скучаю, и без ресторанного пунша сошел бы с ума уже давно» (III, 31, подлинник по-французски). И в следующем письме (от 3 мая): «Мадам Чеглокова, которую я вижу часто, не смогла вскружить мне голову, и все прошло безболезненно» (III, 33, подлинник по-французски).

Несмотря на меняющиеся настроения, чувство скуки остается главенствующим, и о нем Батюшков постоянно повествует в обширных письмах к Гнедичу. А Гнедич — рассказывает о своих бедах и печалях. Их переписка — как своеобразный диалог, где не строчки, а фразы, не чернила, а голоса...

БАТЮШКОВ: В каком ужасном положении пишу к тебе письмо сие! Скучен, печален, уединен. И кому поверю горести раздранного сердца? Тебе, мой друг, ибо все, что ме-

ня окружает, столь же холодно, как и самая финская зима, столь же глухо, как камни (III, 29).

ГНЕДИЧ: ...Хотелось мне первому дать знать тебе о производстве тебя в подпоручтики и поздравить стихами... Это, однако же, не много разобьет грусть, на тебя напавшую. Не думаю, чтобы печальная Финляндия была совершенною ей причиною, сердце твое насильно хотело обнаружиться. Стало быть, тяжелее скрывать, нежели чувствовать. Или одни поэтические мечтания, превращающие рай в ад и ад в рай, возмущают твою душу?[21]

БАТЮШКОВ: Зачем нет тебя, друг мой! Ах, если в жизни я не жил бы других минут, как те, в которых пишу к тебе, то, право, давно перестал бы существовать. Пиши ко мне чаще, прошу тебя. Почта, говорят, установлена, и мы можем теперь поверять друг другу чувства сердец наших (III, 29).

ГНЕДИЧ: Минута возрождает их, минута и истребляет. Может быть, наступила уже для тебя минута истребительная.

БАТЮШКОВ: Мне так грустно, так я собой недоволен и окружающими меня, что не знаю, куда деваться. Поверишь ли? Дни так единообразны, так длинны, что самая вечность едва ли скучнее. А вы, баловни, жалуетесь на свое состояние! (III, 29).

ГНЕДИЧ: Нищета и гордость — вот две фурии, сокращающие жизнь мою и останок ее осеняющие мраком скорби. Ни один человек до сих пор не вошел в мое положение. Но может быть, одна суетность внушила мне мысль, что будто я стою того?.. В таком-то твой *баловень* Гнедич находится положении!

БАТЮШКОВ: Я подал просьбу в отставку... за ранами, чрез князя Багратиона, и надеюсь, что скоро выйдет решение. Так нездоров, что к службе вовсе не гожусь... (III, 34).

ГНЕДИЧ: Понесем одни бремя жизни сей, пусть стонет сердце, но заградим уста для стенаний — их никто не услышит, кроме подобных нам несчастливцев.

Батюшкову воистину тяжело: тоска, боли в груди, нестерпимо ноет нога, раненная в Прусском походе. Тильзитский мир позади — и совсем уже непонятно, отчего она болит и будет болеть до конца жизни... И нестерпимо хочется на родину.

Из письма К. Н. Батюшкова сестрам, 12 апреля 1809, Надендаль:

«Будучи за 2000 верст, я не могу давать советов, но если бы вы построили дом в Хантонове, это бы не помешало; стройте для себя, какой вы заблагорассудите. Но деньги небольшие на это нужны. Лучше рано, нежели поздно, иметь верный приют. Напиши об этом. Да не забудь при-

смотреть за садом и моими собаками. С каким удовольствием я бы возвратился под тень домашних богов!» (III, 31).

Луга веселые, зелены!
Ручьи прозрачны, милый сад!
Ветвисты ивы, дубы, клены,
Под тенью вашею прохлад
Ужель вкушать не буду боле?..
(«Совет друзьям»)

Наконец в конце мая — иачале июня вышла отставка, и бывший подпоручик лейб-гвардии егерского полка полетел в Петербург, оставляя печальную Финляндию. «Здесь на каждом шагу встречаем мы или оставленную батарею, или древний замок с готическими острыми башнями, которые возбуждают воспоминание о древних рыцарях; или передовой неприятельский лагерь, или мост, недавно выжженный, или опустелую деревню. Повсюду следы побед наших или следы веков, давно прошедших,— пагубные следы войны и разрушения!»

Воспоминания эти очень серьезно повлияли на творчество Батюшкова. Именно в Финляндии он бросил переводить Тасса: его внимание обратилось на иные предметы. Он увлекся Оссианом и мифологией древних скандинавов. Он как бы вновь ощутил прелесть родной северной природы, которую ярко изобразил в «Отрывке из писем русского офицера...». Кстати, это был его первый самостоятельный опыт в прозе... Батюшков на пороге нового, зрелого этапа своего творчества — и этап этот вот-вот наступит.

В Петербурге его встречают новые печали и огорчения.

Из письма Н. И. Гнедича к А. Н. Батюшковой, 1 июня 1809 г., Петербург:

«Константин скоро едет, несмотря на то что в Петербурге нашем, право, для него весело — можно гулять и в Летнем саду...»[22]

Из письма К. Н. Батюшкова сестрам, 1 июля 1809 г., Петербург:

«Я хочу выехать во вторник: теперь меня ничто не останавливает: все получил, и абшид из военной коллегии. Надеюсь, что вы покойнее, нежели когда вас оставил. Здесь по делам нашим худого, или, лучше сказать, худшего ничего не слышал...

Дом Абрама Ильича осиротел; покойного Михаила Никитича и тени не осталось; Ниловых, где время летело так быстро и весело, продан. Оленины на даче; все переменилось; одна Самарина осталась, как колонна между развалинами... Итак, ожидайте меня к воскресенью. Целую вас, друзья мои, приготовьте комнату, а я накупил книг» (III, 37).

1 июля 1809 года был четверг; 5 июля, во вторник, Батюшков выехал; около 10 июля он был уже в Хантонове.

В это время на театре войны со Швецией вновь начались активные действия. Отряд Барклая-де-Толли начал новое наступление по берегу Ботнического залива и вновь овладел Умео. После бурных стычек и длительных переговоров 5 сентября 1809 года был подписан мирный договор, по которому Швеция уступала России всю Финляндию.

Так закончилась его вторая война.

Глава четвертая. ХАНТОНОВО И МОСКВА

Вхожу в твою обитель:
Здесь весел ты с собой,
И, лени друг, покой
Дверей твоих хранитель...

В. А. Жуковский. К Батюшкову

В Хантонове, куда поэт приехал в середине июля 1809 года, он застал нищих мужиков, полуразрушенный барский дом и двух незамужних сестер — Александру и Вареньку.

ОБИТЕЛЬ

Имение, унаследованное от матери, находилось в глухой стороне: в самом краю Новгородской волости, в местах, особенно богатых болотами и лесами, шекснинской стерлядью, уломской медвежатиной, брусникою и клюквою...

Это был тихий и величавый уголок русского Севера. Огромный живописный холм «у волн Шексны». На холме вырыты декоративные уступы. На самом верху — дом и флигелек (который сестры так и не собрались починить). Рядом с ними — липовая аллея и два декоративных пруда прямоугольной формы. Возле дома — сирени, акации, заросшие аллеи... На втором уступе — цветник. Цветы на куртинах станут потом особой заботой поэта, привозившего и посылавшего отовсюду новые диковинные семена. Нижний уступ — парк в английском роде. Сегодняшние старожилы Хантонова особенно вспоминают его. «Клены диковинные, липы, рядочками посаженные, еще какие-то деревья, сирень и еще другие кусты, а поодаль — крупный ельник, голубые ели рядочками посажены...»

От этой усадьбы сейчас почти ничего не сохранилось: последние следы парка были уничтожены (не по злобе, а по неведению) в 1974 году... На месте усадьбы стоит высоковольтная вышка; бывшие уступы засеяны льном.

Добираться до Хантонова долго и тяжело. Дорога едва проезжая: леса и леса, болота и болота. До ближайшего губернского города — Вологды — сто с лишком верст. Почта, адресуемая на Череповец, приходит раз в неделю. Окружные помещики — все больше «деревенские старожилы», и сближаться с ними нет ни особенной нужды, ни охоты.

Запустение и тина тишины. Почти полное заточение в старом господском доме, вместе с сестрами и тремя любимыми соба-

ками («две белых и одна черная»). Почти полное безденежье: имение давно заброшено, хозяйство идет плохо и давно «отпало от прибылей», хронически обнаруживаются плутни приказчиков.

А оставленный в Петербурге Гнедич гуляет возле Исаакиевской площади со старой и верной сукой Мальвиной и думает о переводе «Илиады» Гомера не александрийскими стихами, а «экзаметрами»... Лишь через месяц после приезда собрался Батюшков написать ему письмо.

Диалог с Гнедичем. Август 1809 года.

БАТЮШКОВ: Где ты поживаешь, друг мой? Радищев пишет, что на дачу переезжаешь. Приезжай лучше сюда; решись, и дело в шляпе.

Тебя и Нимфы ждут, объятья простирая,
И Фавны дикие, кроталами играя.
Придешь — и все к тебе навстречу прибегут
Из древ Гамадриады,
Из рек обмытые Наяды,
И даже сельский поп, сатир и пьяный плут.

ГНЕДИЧ: Насилу дал тебе бог силу отозваться; а я уже начинал думать, что весь Череповской округ обрушен землетрясением; но слава богу, кончилось только тем, что ты было прихворнул, если не прибрехнул.

За то и Поп, и Пан, и Фавны, и Наяды
Пускай тебе кричат стихи из «Петриады».
(Романа Сладковского[1])

БАТЮШКОВ: А если не будешь, то все переменит вид, все заплачет, зарыдает:

Цветы завянут все, завоют рощи дики,
Слезами потекут кристальны ручейки,
И, резки испустив в болоте ближнем крики,
Прочь крылья навострят носасты кулики,
Печальны чибисы, умильны перепелки.
Не станут пастухи играть в свои свирелки,
Любовь и дружество погибнет все с тоски!

Вот тебе два мадригала, а приедешь — и целая поэма! (III, 38).

ГНЕДИЧ: Ты думаешь точно, как рыцарь Ламаханский: оседлал Рыжака, надел лоханку на голову и поехал; так бы и я сделал, если б не имел ни дел, ни отношений, ни связей, ни обязанностей; но и тогда бы не сделал так скоро, как ты рассказываешь.

БАТЮШКОВ: Из твоего письма вижу, что обитаешь на даче, в жилище Сирен. Мужайся, Улисс! Здесь же ни одной Сирены, а спутников итакского мужа, который десять лет плыл по Малой Азии на каменный и бедный остров, очень много... Я отворил окно и вижу: нимфа Ио ходит, голубушка, и

мычит бог весть о чем; две Леды кричат немилосердно. Да, посмотри... там в тени — право, стыдно!.. бараны, может быть, из стада царя Адмета...[2] «Накинем занавесь целомудрия на сии сладостные сцены»,— как говорит Николай Михайлович Карамзин в «Наталье» (III, 39 — 40).
ГНЕДИЧ: Я живу на даче у Анны Петровны[3]; часто бываю в городе, и эти дни почти все в городе, провожая в Тверь Гагарина, уехавшего туда с моею Аполлоншею[4], к которой я начинал, начинал, начинал, да и до сих пор не кончил стихи, которые бы мне очень хотелось написать ей; хотя я уже благодарил ее прозою, но стихами,— стихами поблагодари хоть ты за меня.
БАТЮШКОВ: Ты получил пенсион! Сердце у меня выскочить хотело от радости... Да здравствует князь Гагарин!.. Ну, слава богу, ты имеешь кусок верного хлеба; великое дело! (III, 40 — 41).
ГНЕДИЧ: Как бы то ни было, мой пенсион многим в нос кинулся — и эти многие на меня уже и злятся. Меня что-то и страх забирает, как воображу претензии и требования,— как воображу самое бремя, бремя! Куда я дену лень и безделье, с которыми я так свыкся и обжился. Увы!

На кожаном диване лежа,
Свои младые члены нежа,
Не буду больше я от лености потеть
Иль от безделия то охать, то кряхтеть.

БАТЮШКОВ: Ты нажил завистников? Но должен ли я повторить прежние слова? «Коррадо» их не родит, а переводы «Илиады» и «Танкреда» имеют сильные требования на зависть и злобу... Я желал бы, чтоб мне завидовали (III, 41).
ГНЕДИЧ: Я прощаюсь с миром — Гомер им для меня будет. Оградясь тройным щитом мужества, я по окончании 8-й песни печатаю обе, посвящая великой княгине. Вот тогда-то воскликни: мужайся, Улисс!
БАТЮШКОВ: Я любил всегда Гомера, а теперь обожаю: он кроме удовольствия неизъяснимого, делает добро человечеству. Да тень его потрясется на Олимпе от радости!

Играйте, о невские музы,
Играйте во свирели, флейдузы!—

скажу с Тредиаковским и обниму тебя от всего сердца, души и помышления (III, 41).
ГНЕДИЧ: Я вижу тебя со слезами на глазах. Признаюся, что, читавши письмо твое, я не мог от них удержаться. Твоей дружбе обязан я за сладкие слезы в жизни. Они текли от смеху, от радости. Я тебя так обнимал мысленно,

что грудионка твоя треснула бы, если б ты был в моих объятиях. *Музы и флейдузы* меня уморили.

БАТЮШКОВ: ...Табаку ожидаю, как цветок росы; если можешь прислать турецкого, хорошего, лучшего, такого, что не стыдно курить в Магометовом раю, на лоне гурий: с аравийским ароматом, с алоем, шафраном, с анемонами, с ананасовым соком... Ты понимаешь! (III, 40).

ГНЕДИЧ: На твои у меня деньги я следующими почтами все писаное вышлю; турецкого табаку пришлю такого, что ты до блевоты закуришься, зато 5 р. фунт — с ананасами, с анемонами — понимаешь?

Когда-то, еще до войны, около 1804 — 1805 годов, Батюшков написал подражание известному посланию Ж. Б. Грессе «Обитель». Он вообразил себя живущим «в тихой хижине», питающимся любовью и воображением. Поэтическая картина получилась, однако, не очень веселой:

Ветер воет всюду в комнате
И свистит в моих окончинах,
Стулья, книги — все разбросано:
Тут Вольтер лежит на библии,
Календарь на философии.
У дверей моих мяучит кот,
А у ног собака верная
На него глядит с досадою.
Посторонний кто взойдет ко мне,
Верно, скажет: «Фебом проклятый,
Здесь живет поэт в унынии».

И вот сейчас сам Батюшков очутился в положении затворника. Прошел июль и август — наступила слякотная осень. А с ней — осенняя скука, неотделимая от «обители». «Если бы ты знал, что здесь время за вещь? Что крылья его — свинцовые? Что убить нечем? Уж я принужден читать пряники Долгорукова, за неимением лучшего» (III, 42).

Однообразие одолевает тихим тиканьем часов да ленивым лаем бездельных собак. Иногда нестерпимо хочется уехать прочь, но — нет денег... Оброк не собран, хлеб не продан, глуповский староста ворует, и надо бы поехать да разобраться... И Батюшков не трогается с места.

Из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу, 1 ноября 1809 г., Хантоново:

«Г-жа Севинье, любезная, прекрасная Севинье, говорит, что если б она прожила только двести лет, то сделалась бы совершенною женщиною. Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума. Право, жить скучно; ничто не утешает. Время летит то скоро, то тихо; зла более, нежели добра; глупости более, нежели ума; да что и в уме?.. В доме у меня так тихо; собака дремлет у ног моих, глядя на огонь в печке; сестра в других комнатах перечитывает, я

думаю, старые письма... Я сто раз брал книгу, и книга падала из рук. Мне не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что делать?» (III, 51 — 52).

И рядом — полувопрос, полувосклицание: «Можно ли так состариться в 22 года?» И действительно: всего двадцать два года, и все несчастия, в сущности, исправимы, и в раздражении самом — не кроется ли каприз? или малодушие? или это действительно предчувствие чего-то трагического, что непременно случится через десять лет?..

«Я и сам не знаю,— продолжает Батюшков,— бесподобное слово! И впрямь, что мы знаем? Ничего. Вот как мысли мои улетают одна от другой. Говорил об одном, окончил другим. Не мудрено, мой друг. В этой безмолвной тишине голова не голова» (III, 52).

Как пылинка вихрем поднята,
Как пылинка вихрем брошена,
Так и счастье наше чудное
То поднимет, то опустит вдруг.
Часто бегал за Фортуною
И держал ее в руках моих:
Чародейка ускользнула тут
И оставила колючий терн.
(«К Филисе. Подражание Грессету»)

ВИДЕНИЕ

Из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу, 1 ноября 1809 г.:

«Здесь я, по крайней мере, наедине с сестрой Александрой (Варенька гостит у сестры), по крайней мере, с книгами, в тихой, приятной горнице, и я иногда весел, весел, как царь. Недавно читал Державина «Описание Потемкинского праздника». Тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение — все это произвело чудесное действие. Я вдруг увидел перед собою людей, толпу людей, свечки, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб,— и бог знает чего не увидел: так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре... «Что с тобой?» — «*Оно, они*!..» — «Перекрестись, голубчик!» ...Тут-то я насилу опомнился. Но это описание сильно врезалось в мою память. Какие стихи!..» (III, 52 — 53).

И чуть ниже в том же письме — о себе:

«Я еще могу писать стихи, пишу кое-как. Но к чести моей могу сказать, что пишу не иначе, как когда яд пса метро-

мании подействует, а не во всякое время. Я болен этой болезнью, как Филоктет раною, то есть временем...

А ныне мне Эрот сказал:
«Бедняга, много ты писал
Без устали пером гусиным.
Смотри, завяло как оно!
Не долго притупить одно!
Вот на, пиши теперь *куриным*».

Пишу, да не пишет, а все гнется.

Красавиц я певал довольно
И так, и сяк, на всякий лад,
Да ныне что-то невпопад.
Хочу запеть — ан петь уж больно.
«Что ты, голубчик, так охрип?» —
«К гортани мой язык прилип» (III, 55).

Видения сменяются мечтами, и «яд пса метромании» начинает действовать все сильнее. Батюшкова все чаще тянет к старому письменному столу. Неожиданно «затворничество» оборачивается иной стороною — наступает творчество, приходит вдохновение, и уютно устраивается в пустом доме, на островке, посреди мелкого дождя и осенней слякоти. И даже благоприобретенные болезни не очень мешают ему.

В эту осень Батюшков не очень много написал. «Стихи г. Семеновой» — об этом мадригале его очень просил Гнедич: именно с помощью Е. С. Семеновой, трагической актрисы, он сумел выхлопотать себе пенсион на перевод «Илиады». Батюшков исполнил пожелание друга — и в девятом номере «Цветника» стихи были напечатаны рядом с изящной виньеткой.

Я видел и хвалить не смел в восторге страстном;
Но ныне, истиной священной вдохновен,
Скажу: красот собор в ней явно съединен —
Душа небесная во образе прекрасном
И сердца доброго все редкие черты,
Без коих ничего и прелесть красоты.

Стихи подписаны инициалами *К. Б.*, рядом дата: «Сентября 6» (дата верная, ибо стихи были высланы из Хантонова с письмом к Гнедичу от 6 сентября). Но тут же — обозначение места написания: «Ярославль». Почему Ярославль? Точно известно, что в это время Батюшков жил в деревне и никуда не выезжал... Вероятно, это либо ошибка издателей журнала, либо шутка, либо какой-то намек на встречу в Ярославле...

К этой же осени относится и упоминавшийся нами цикл стихов о первой любви: «Воспоминания 1807 года», «Выздоровление», «К Маше». «Послание г. Велеурскому» — тоже воспоминание о рижских встречах. «Ответ Гнедичу» — отклик на послание Гнедича «Когда придешь в мою ты хату...». «Веселый час» — переделка раннего стихотворения «Совет друзьям». Маленькие

наброски: «Пафоса бог, Эрот прекрасный», «На крыльях улетают годы...»

Но значение этой осени не исчерпывается количеством написанных стихов. Здесь, в Хантонове, завершилось «воспитание таланта» Батюшкова. Здесь он наконец-таки нашел свои формы, свои темы, свое поэтическое видение мира. Начинающий стихотворец стал большим художником, который мог свободно распоряжаться своим дарованием.

В эту осень Батюшков много читает. Л. Н. Майков в своей биографии подробно анализирует круг его тогдашнего чтения. Французские просветители XVIII столетия: Вольтер и Руссо. Первого Батюшков воспринимает, согласно установившейся романтической традиции, как «фернейского мудреца», хотя относится к его «утомительному остроумию» скептически. Страстный идеализм Руссо поначалу более увлекает его,— но также ненадолго... Итальянские классики: Петрарка, Тассо и Ариосто. Английский моралист Джон Локк. Римские поэты: Гораций, Вергилий, Тибулл.

Именно античные поэты привлекли Батюшкова к «антологическому роду»: и сейчас в деревне он переводит «Тибуллову элегию из 1-й книги», как бы открывшую его цикл «подражаний древним»:

Пусть молния богов бесщадно поразит
Того, кто красоту обидел на сраженьи!
Но счастлив, если мог в минутном исступленьи
Венок на волосах каштановых измять
И пояс невзначай у девы развязать!..

Из «новейших французов» Батюшкова особенно привлекает «нежный» Эварист Парни: в деревне он начинает перевод его «Мадагаскарских песен» (из которых была опубликована одна, а другая сохранилась в черновом наброске). Парни оказался ему наиболее близок сейчас и по тематике, и по поэтике стихов: вслед за ним Батюшков воспевает «гармонию чувства» и «порыв страсти» — и в своих переводах оказывается иногда глубже самого подлинника...

И с этих поэтических высот Батюшков взглянул на современную русскую словесность.

Это тоже стало своего рода *видением.*

Новая русская литература рождалась в трудах и спорах. Уже в последнее десятилетие XVIII века теоретически и программно оформляются два направления. «Военные действия» между ними были открыты в 1803 году, когда глава литературных староверов адмирал Александр Семенович Шишков выпустил «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», направленное против новейших «светских» писаний Карамзина и иных модных словотворцев, которые-де проникнуты «наклонностью к безверию, к своевольству, к повсеместному гражданству, к новой

и пагубной философии». Карамзин и школа «новейших» литераторов противопоставлялись Шишковым «классикам» XVIII века, а новейшие «классики» и поклонники старины стали стекаться под знамена Шишкова, объединяясь на «вечерах» Г. Р. Державина или на «литературных субботах» 1807 — 1809 годов.

Ко времени выхода в свет «Рассуждения...» Шишкова Н. М. Карамзин уже «ушел» из литературы в историю. Возражения Шишкову высказали его молодые сторонники: М. Н. Макаров, Д. В. Дашков, Н. А. Никольский. Карамзин молчал. В 1806 году «шишковист» А. А. Шаховский осмеял Карамзина-писателя, выведя его в комедии «Новый Стерн» в облике сентиментального путешественника графа Пронского. Карамзин не отвечал... Однако в Москве все более укрепляется группа его сторонников: молодой поэт-карамзинист В. А. Жуковский, родственник и воспитанник Карамзина П. А. Вяземский, В. Л. Пушкин, Ф. Ф. Иванов, А. Ф. Воейков... Читательским кругам больше по душе «карамзинистское» направление, и московский журнал «Вестник Европы» в иные годы достигает до неслыханно большого тиража — тысячи двухсот экземпляров!

С началом наполеоновских войн у литературных староверов появляется неожиданная поддержка: группа писателей-«патриотов», судорожно ополчившаяся против французского влияния в обществе и литературе, провозгласившая «русское» начало и «русское» направление. С. Н. Глинка выпускает журнал «Русский вестник»; Ф. В. Ростопчин — брошюру «Мысли вслух на Красном крыльце Силы Андреевича Богатырева» и комедию «Вести, или Убитый-живой»...

Из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу от 1 ноября 1809 г. Из Хантонова в Петербург:

«Еще два слова: любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить невежество? Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отдалены веками и, что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели выхваляют все старое?.. Но поверь мне, что эти патриоты, жалкие декламаторы не любят или не умеют любить русской земли. Имею право сказать это, и всякий пусть скажет, кто добровольно хотел принести жизнь на жертву отечеству... Да дело не о том: Глинка называет «*Вестник*» свой «*Русским*», как будто пишет в Китае для миссионеров или пекинского архимандрита. Другие, а их тысячи, жужжат, нашептывают: русское, русское, русское... а я потерял вовсе терпение!» (III, 57 — 58).

Рядом с враждующими литературными направлениями плавала поэтическая «пена». Семен Бобров — поэт, писавший настолько «темно» и пространно, что мудрено было догадаться, о чем он пишет... Петр Шаликов — «карамзинист», который довел «чувст-

вительность» произведений своего учителя до крайних пределов манерности и приторности... Дмитрий Языков, бывший сослуживец поэта, прославившийся тем, что принципиально не употреблял твердого знака — «ера» — и был прозван «безъерным»... Взялись за поэзию и женщины — «Сафы русские»: Е. Титова, А. Бунина, М. Извекова... Затерянный посреди лесов новогородских, Батюшков едва не заблудился в русском поэтическом лесу.

К осени 1809 года относится большинство батюшковских эпиграмм, направленных против царящих литературных нравов. «Книги и журналист», «Эпиграмма на перевод Виргилия», «На перевод «Генриады», или Превращение Вольтера» и т. д. Это эпиграммы — как маленькие *видения.* Вот С. С. Бобров:

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

Вот новейшая поэтесса: в эпиграмме используется известный миф о поэтессе Сафо, которая безнадежно влюбилась в прекрасного юношу Фаона и, не встретив взаимности, бросилась в море с Левкадской скалы.

Ты — Сафо, я — Фаон,— об этом и не спорю,
Но, к моему ты горю,
Пути не знаешь к морю.

Вот идеал сентиментальных повестей: скромная девушка, похожая на нимфу:

Ты Нимфа, Ио,— нет сомненья!
Но только... после превращенья!

(Новая отсылка к мифологии: нимфа Ио — греческая царевна, возлюбленная Зевса, которая была превращена его женой Герой в корову... Не такое ли превращение испытывают все нынешние «бедные Лизы»?)

Батюшков не столько злится, сколько грустит. Ему не столько смешно, сколько досадно. Читать иные русские произведения — это все равно что «читать пряники Долгорукова» (III, 42).

От этого чтения и этой досады рождается еще одно *«Видение...».*

Диалог с Гнедичем. Ноябрь 1809 года.

БАТЮШКОВ: Как тебе понравилось «Видение»? Можешь сжечь, если не годится. Этакие стихи слишком легко писать, и чести большой не приносят. Иным больно досталось. Бобров, верно, тебя рассмешит. Он тут у места. Славенофила вычеркни, да и все, как говорю, можешь предать огню и мечу» (III, 55).

ГНЕДИЧ: Я получил экземпляр с поправками, они хороши; прибавления бесподобны; не знаю отчего, а мне безъерный более всех понравился: «Невинен я!» — это высокое!

Без сомнения, что приезд Славенофила есть оригинальнейшая из картин, я также вижу кувырканье Саф и смеюсь до поту. Но полно тебе кадить, чтоб не разбить носа.

БАТЮШКОВ: Голова ты, голова! Сказать Оленину, что я сочинил «Видение»! Какие имел ты на это права? Ниже отцу родному не долженствовало об этом говорить (III, 60).

ГНЕДИЧ: И ты голова! Присылай одни «Пальцы» и «Оды на старость»[5], так будь уверен, что не только никому не покажу, да и сам в другой раз читать не стану,— а можно ли утерпеть не показать хороших стихов надежным, как казалось, людям, и можно ли не сказать имени, когда, выпуча глаза, его спрашивают и когда сердце жаждет разделить с ними свое удовольствие!

БАТЮШКОВ: Произведение довольно оригинальное, ибо ни на что не похоже. Теперь, ибо имя мое известно, хоть в печать отдавай (III, 60 — 61).

ГНЕДИЧ: Каков был сюрприз Крылову; он на днях возвратился из карточного путешествия; в самый час приезда приходит к Оленину и слышит приговоры курносого судьи на все лица; он сидел истинно в образе мертвого; и вдруг потряслось все его здание; у него слезы были на глазах; признаться, что пиеса будто для него одного писана. Тургенев[6], на коленях стоя, просил у Оленина дать списать ему и сказать имя.

БАТЮШКОВ: Впрочем, я бы мог написать все гораздо *злее*, в роде Шаховского. Но убоялся, ибо тогда не было бы смешно... Что, бранят меня? Кто и как, отпиши чистосердечно. Заметь, кто всех глупее, тот более и прогневается (III, 61 — 62).

Этот литературный диалог требует пояснений. В октябре 1809 года очень быстро и «слишком легко» Батюшков написал большую сатиру на современную русскую литературу. Сатира эта не предназначалась для печати и была в незаконченном виде послана Гнедичу в Петербург. Тот прочитал сатиру в салоне Олениных, где она вызвала всеобщий восторг. Оленин сделал несколько списков с сатиры — и она в чрезвычайно быстрое время распространилась по всему Петербургу, а чуть позже — и по Москве. В конце 1809 года поэт Батюшков стал по-своему знаменит. Одни горой встали на защиту сатиры, другие рьяно ополчились на него. Пришла популярность: имя почти неизвестного стихотворца стало у всех на устах.

Сатира называлась «Видение на брегах Леты». Начинается она так:

Вчера, Бобровым усыпленный,
Я спал и видел чудный сон!..

Сон, действительно, чудесный: все современные поэты внезапно попадают в царство мертвых:

Иной из них окончил век,
Сидя на чердаке высоком,
В издранном шлафроке широком,
Наг, голоден и утомлен
На небо девственною рифмой.
Другой в Цитеру пренесен,
Потея над прекрасной нимфой,
Хотел ее насильно... петь! —
И пал без чувств в конце эклоги...
(Из ранних вариантов «Видения...»)

«Фебовы дети» собираются возле одной из девяти рек, окружающих (согласно мифологии) царство мертвых — возле Леты, реки забвения... «На брегах» Леты идет суд, который вершит вестник богов Гермес (Эрмий) и прославленные поэты прошлого. А «божественная» река решает: кто из современных писателей достоин бессмертия. Испытания в реке забвения не выдерживают такие разные по своим направлениям и литературным симпатиям писатели, как А. Ф. Мерзляков (поэт, критик, профессор Московского университета), Д. И. Языков («безъерный»), П. И. Шаликов («пастушок»), С. С. Бобров («виноносный гений»), и конечно же новоявленные женщины-поэты («Сафы русские»)...

Тут Сафы русские печальны,
Как бабки наши повивальны,
Несли расплаканных детей.
Одна — прости бог эту даму! —
Несла уродливую драму,
Позор для ада и мужей,
У коих сочиняют жены...

Забвения заслуживают, по Батюшкову, и «шишковисты» («с Невы поэты росски»), и подражатели Карамзина («лица новы из белокаменной Москвы»). Бессмертия удостаивается лишь Иван Андреевич Крылов и (с оговорками) адмирал Шишков («Славенофил»[7]):

Один, один *Славенофил,*
И то повыбившись из сил,
За всю трудов своих громаду,
За твердый ум и за дела
Вкусил бессмертия награду.

Об антагонисте Шишкова Карамзине Батюшков в «Видении...» не упомянул, но в письме к Гнедичу высказался двусмысленно: «Карамзина топить не смею, ибо его почитаю» (III, 61). А в других письмах того же периода имя Карамзина упоминается с оттенком иронии. Батюшков еще не определился как «карамзинист» и как будущий «арзамасец»...

Однако именно «Видение на брегах Леты» как бы открывало стихию будущих сатир Вяземского, Дашкова, Жуковского, Воей-

кова. Оно стало каноном «литературной» сатиры первой четверти XIX века. «Усыпление» от бездарных стихов, чудесное «сновиденье», явление Аполлона, мотив забвения «стихов и прозы безрассудной», провозглашение поэтической независимости («У всякого своя есть дума, Рассудок свой, и вкус, и глаз»), перенесение действия в ад, в загробное царство, которое изображается «сниженным», бытовым,— все эти мотивы стали популярны в литературной борьбе «предпушкинской» эпохи.

Сохранился обрывок письма А. Н. Оленина к Батюшкову от 3 декабря 1809 года. Оторвана половина листа с левой стороны, и восстановить текст не представляется возможным. Лишь несколько фраз, относящихся, несомненно, к «Видению...»: «⟨Буд⟩ет и на нашей улице празд⟨ник⟩... не было у нас Лафонтенов ...⟨вдр⟩уг явились Богданович... и Крылов...»[8] Сравнение автора «Видения...» с Лафонтеном не выглядит преувеличением. Сатира была впервые напечатана лишь в 1841 году, но в 1809 — 1810 годах разошлась по России в громадном количестве списков. Ее знала вся читающая Россия — и она продолжала сохранять свое значение для всей последующей литературной борьбы.

«Видению...» подражал молодой Рылеев в отрывке «Путешествие на Парнас» и лицеист Пушкин в поэме «Тень Фонвизина». Отдельные стихи «Видения...» разошлись по различным пушкинским произведениям (хотя бы в «Евгении Онегине»: «Из этих лиц уныло-бледных», «В пуху, с косматой головой...»). А в стихотворении «Городок» Пушкин назвал «Видение на брегах Леты» в числе «драгоценных» сочинений, «презревших печать»...

Еще продлилось сновиденье,
Но ваше длится ли терпенье
Дослушать до конца его?
Болтать, друзья, неосторожно —
Другого и обидеть можно.
А боже упаси того!

МОСКОВСКИЕ ПРОГУЛКИ

В начале декабря 1809 года, по первому зимнему пути, Батюшков выехал из Хантонова в Москву: туда непрестанно звала Катерина Федоровна Муравьева, уехавшая в первопрестольную после смерти мужа. В дороге, однако, Батюшков простудился — и слег в Вологде в постель: в родовом материнском доме, в котором теперь жили сестра Лизавета и муж ее Павел Алексеевич Шипилов, служивший по учебной части.

Н. Л. Батюшков — Константину, 18 декабря 1809 года, Даниловское:

«Письмо твое из Вологды получил. Сожалею душевно, что ты, мой друг, болен, а еще сожалею больше о том, что ты себя поручил Глазову. Помнится, в мою бытность он был лекарем в Грязовице, и если это тот, то, кажется, выбор твой весьма неудачен.— Эти господа от глистов дают меркуриальные пиявки, которые расстроивают всю нашу жизненную машину, и, выгоняя их, оставляют слабость и худые последствия на всю жизнь.— Дай бог, чтоб мои замечания были ложны и несправедливы!»[9]

Вологодский штаб-лекарь И. П. Глазов, однако, не вовсе уморил Батюшкова, ибо письмо это уже не застало поэта в Вологде: он выехал около 20 декабря по первому зимнему пути. Между прочим, в этом же письме находим единственное свидетельство того, что отец интересовался литературными успехами сына: «Читал, мой друг, твои «Воспоминания», читал и плакал то от радости и восхищения, что имею такого сына, то от печали и прискорбия, раздиравшего мою душу, что я погружен в бездну адскую ненавидящими мя... Все минется, мой друг, и минется скоро»[10]. Далее идет обширное рассуждение отца о «мрачности жизни», сопровождаемое цитатами из Гомера и Овидия и свидетельствующее о том, как сладостно переживал он сыновьи страсти, описанные в «Воспоминаниях 1807 года» (опубликованы в «Вестнике Европы», 1809, № 21).

К рождеству Батюшков был уже в Москве, и 25 декабря вбегал к Катерине Федоровне Муравьевой, на крыльцо небольшого дома, в Арбатской части, на Никитской улице, в приходе Егорья на Всполье.

Из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу, 3 января 1810, Москва:

«И я зрел град. И зрел людие и скоты, и скоты и людие. И шесть скотов великих везли скота единого. И зрел храмы и на храмах деревия. И зрел лицы южных стран и северных... И зрел...

Да что ты зрел? — *Москву*, ибо оттуда пишу, восторжен, удивлен всем и всяческая. Глазам своим не верил, видя, что одного человека тянут шесть лошадей, и в санях!

Видел, видел, видел у Глинки весь Парнас, весь сумасшедших дом: Мерз⟨ляков⟩, Жук⟨овский⟩, Иван⟨ов⟩ — всех... и признаюсь тебе, что много видел»[11].

Признание примечательное: Москва оглушила поэта уже через неделю после приезда в нее. Разъезды, балы, маскарады, рождественские развлечения, шумные угощения, новые знакомства, разговоры, и снова разъезды... Кареты, сани, хрипящие лошади, кучера у костров, освещенные дома, пышные убранства, бритые лакеи, вино рекой, музыка гремит, голова кругом идет...

Батюшков — сестре Александре, январь 1810, Москва:

«Ты спросишь меня: весело ли мне? Нет, уверяю тебя. В собраний я был раз, раз у Ижорина, у Полторацкого, да еще у каких-то Москвитян, которых и имени едва упомнить могу. Следственно, мне в Москве не очень весело. Да и где весело быть может?

Я познакомился здесь со всем Парнасом, кроме Карамзина, который болен отчаянно. Эдаких рож и не видывал» (III, 71).

Из очерка «Прогулка по Москве»:

«Итак, мимоходом, странствуя из дома в дом, с гулянья на гулянье, с ужина на ужин, я напишу несколько замечаний о городе и о нравах жителей, не соблюдая ни связи, ни порядку, и ты прочтешь оные с удовольствием: они напомнят тебе о добром приятеле,

Который посреди рассеяний столицы
Тихонько замечал характеры и лицы
Забавных москвичей;
Который с год зевал на балах богачей,
Зевал в концерте и в собранье,
Зевал на скачке, на гулянье,
Везде равно зевал,
Но дружбы и тебя нигде не забывал».

В конце 1860-х годов дочь А. Н. Оленина предоставила в пользование издателя журнала «Русский архив» П. И. Бартенева рукописную тетрадь, на которой рукою Алексея Николаевича было написано: «Сочинение Кон. Ник. Батюшкаго. А. О.». В 1869 году «вновь найденное сочинение» было опубликовано, причем издатель дал ему заглавие «Прогулка по Москве». Рукописи «Прогулки...» не сохранилось, ни в одном из писем Батюшкова она не упоминается, датировка ее не ясна (то ли 1810 год, то ли 1811-й, то ли даже начало 1812-го),— и вместе с тем ни один из исследователей, даже из самых скептиков, не усомнился, что этот очерк принадлежит перу Батюшкова.

Очень уж «Прогулка по Москве» созвучна батюшковским письмам и заметкам. Собственно, она и родилась из писем и является некоей развернутой заметкой. Она возникла в то время, когда «литературные письма» стали распространенным жанром,— но она настолько отличается от «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева или от «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина, настолько предвосхищает традиции последующего бытописания, что современные исследователи выделяют ее в качестве яркого образца раннего русского реалистического творчества.

Почему-то Батюшков даже не делал попыток опубликовать «Прогулку по Москве». Всего вероятнее, он попросту не считал ее «самоценным» и цельным литературным произведением (каковым не считал позже и великолепные этюды свои, сохранившиеся в за-

писных книжках). Она родилась в вихре житейских впечатлений и была предназначена для распространения в узком кружке друзей (в том же кружке А. Н. Оленина), желающих узнать нечто о московском житье-бытье. Уже 16 января 1810 года Батюшков сообщает в письме к Гнедичу: «Получишь длинное описание о Москве, о ее жителях-поэтах, о Парнассе и пр...» (III, 72). В письме от 1 февраля — новое указание: «Ни слова о Москве; я тебе готовлю описание на дести» (III, 72).

Жанр дружеского письма в начале XIX века был гораздо более свободен от традиций, условностей и литературных штампов, чем повесть, роман и вообще что-либо предназначенное для печати. Свобода мыслей, свобода слога, свобода изложения, возможность «писать как говоришь» — все это рождало для Батюшкова своеобразную атмосферу повествования, погружение в которую приводило в итоге к этакому «легкому» очерку нравов, к незамысловатой «картинке». В 1810 — 1812 годах автору и в голову не пришло, что этот очерк нравов, будучи опубликованным, может представить хоть какой-то интерес: все и так видно, все — ясно, все — на глазах...

> «Я думаю, что ни один город не имеет ниже малейшего сходства с Москвою. Она являет редкие противуположности в строениях и нравах жителей. Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие, постоянство дедовских времен и ветреность неимоверная, как враждебные стихии в вечном несогласии, и составляют сие чудное, безобразное, исполинское *целое*, которое мы знаем под общим именем: *Москва*. Но праздность есть нечто общее, исключительно принадлежащее сему городу; она более всего приметна в каком-то беспокойном любопытстве жителей, которые беспрестанно ищут нового рассеяния. В Москве *отдыхают*, в других городах трудятся менее или более, и потому-то в Москве знают скуку со всеми ее мучениями. ...Музыка прошлой зимы вскружила всем головы; вся Москва пела: я думаю, от скуки. Ныне вся Москва танцует — от скуки. Здесь все влюблены или стараются влюбляться: я бьюсь об заклад, что это делается от скуки. Молодые женщины играют на театре, а старухи ездят по монастырям — от скуки, и это всякому известно».

Очерк Батюшкова стал как бы итогом его многочисленных московских прогулок января — июня 1810 года и февраля — июля 1811-го.

Это была «допожарная» Москва, хранившая много памятников древности и исторических воспоминаний, которые неожиданно всколыхнули душу и запали в нее. В Кремле Батюшков едва ли не впервые почувствовал себя истинным патриотом России. «Тот, кто, стоя в Кремле и холодными глазами смотрев на исполинские башни, на древние монастыри, на величественное За-

москворечье, не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того (и я скажу это смело) чуждо все великое, ибо он был жалостно ограблен природою при самом его рождении...» Но «панорама Москвы» — это не только древние башни и монастыри, напоминающие «о важных происшествиях». Это и «Каменный мост, на котором беспрестанно волнуются толпы проходящих», и «книжные французские лавки, модные магазины, которых уродливые вывески заслоняют целые домы, часовые мастера, погреба и, словом, все наряды моды и роскоши».

Москва представляет описателю чрезвычайно пеструю картину. Рядом со средневековыми башнями — «прелестный дом самой новейшей итальянской архитектуры»; рядом с неким мужиком в длинном кафтане времен Алексея Михайловича и с окладистой бородою — щеголь в модном фраке и с модною лорнеткой; рядом со старинною каретой с чудотворным образом, «которую насилу тянет четверня»,— новейшее ландо «в последнем вкусе»... Старинная Москва и отголоски былых обрядов рядом с новейшим «галломанством»... Что — лучше? «...И я, видя отпечатки древних и новых времен, воспоминая прошедшее, сравнивая оное с настоящим, тихонько говорю про себя: Петр Великий много сделал и ничего не кончил».

К Москве Батюшков относится с истинной любовью. Он и восторжен, и наблюдателен, и насмешлив. Насмешливость эта чаще всего носит характер веселой шутки, иронического замечания — таковые мы частенько отпускаем по адресу тех, кого истинно любим... «Самый Лондон беднее Москвы по части нравственных каррикатур. Какое обширное поле для комических авторов, и как они мало чувствуют цену собственной неистощимой руды».

Батюшков не скупится на «каррикатуры», изображая уродливые явления быта довоенной Москвы. Не почитая себя «комическим автором», он не отваживается на подробные описания, представляя лишь легкие абрисы московских «чудачеств».

Вот он в «конфектном» магазине, «где жид или гасконец Гоа продает мороженое и всякие сласти. Здесь мы видим большое стечение московских франтов в лакированных сапогах, в широких английских фраках, и в очках, и без очков, и растрепанных, и причесанных. Этот, конечно, англичанин: он, разиня рот, смотрит на восковую куклу. Нет! он русак и родился в Суздале. Ну, так этот — француз: он картавит и говорит с хозяйкой о знакомом ей чревовещателе, который в прошлом годе забавлял весельчаков парижских. Нет, это старый франт, который не езжал далее Макарья и, промотав родовое имение, наживает новое картами. ...Отчего же они все хотят прослыть иностранцами, картавят и кривляются? — отчего?..»

Вот автор гуляет по Тверскому бульвару. «Здесь красавица ведет за собой толпу обожателей, там старая генеральша бол-

тает с своей соседкою, а возле их откупщик, тяжелый и задумчивый, который твердо уверен в том, что бог создал одну половину рода человеческого для винокурения, а другую для пьянства, идет медленными шагами с прекрасною женою и с карлом. Университетский профессор в епанче, которая бы могла сделать честь покойному Кратесу, пробирается домой или на пыльную кафедру. Шалун напевает водевили и травит прохожих своим пуделем, между тем как записной стихотворец читает эпиграмму и ожидает похвалы или приглашения на обед...»

Вот он попадает на улицу. «Взгляни сюда, счастливец! Возле огромных чертогов вот хижина, жалкая обитель нищеты и болезней. Здесь целое семейство, изнуренное нуждами, голодом и стужей — дети полунагие, мать за прялицей, отец, старый заслуженный офицер в изорванном маиорском камзоле, починивает старые башмаки и ветхий плащ, затем, чтоб поутру можно было выйти на улицу просить у прохожих кусок хлеба, а оттуда пробраться к человеколюбивому лекарю, который посещает его больную дочь...»

Москва становится в этом пестром описании обителью старого и нового, «жилищем роскоши и нищеты», пристанищем труда и безделья. «Здесь всякой может дурачиться как хочет, жить и умереть чудаком».

Дурачатся — на каждом шагу. Трудно даже перечислить все эти «дурачества». «...Вот идет красавица: ее все знают под сим названием, теперь она первая по городу. За ней толпа — а муж, спокойно зевая позади, говорит о Турецкой войне и о травле медведей. Супруга его уронила перчатку, и молодой человек ее поднял...» А вот еще «чудак, закутанный в шубу, в бархатных сапогах и в собольей шапке. За ним идет слуга с термометром. О, это человек, который более полувека, как все простужается!» Еще картинка: «Куда спешит этот пожилой холостяк? Он задыхается от жиру, и пот с него катится ручьями. Он спешит в Английский клуб пробовать нового повара и заморской портер...»

Ох уж эти «каррикатуры»! Вот дом старого москвича: «Комнаты без обоев, стулья без подушек, на одной стене большие портреты в рост царей русских, а напротив — Юдифь, держащая окровавленную голову Олоферна над большим серебряным блюдом, и обнаженная Клеопатра с большой змиею — чудесные произведения кисти домашнего маляра... Хозяин в тулупе, хозяйка в салопе; по правую сторону приходской поп, приходской учитель и шут, а по левую — толпа детей, старуха-колдунья, мадам и гувернер из немцев...» А вот москвич из «новых», в наполненном роскошью доме: «Пользуясь всеми выгодами знатного состояния, которым он обязан предкам своим, он даже не знает, в каких губерниях находятся его деревни, зато знает по пальцам все подробности двора Людовика XIV по запискам Сен-Симона, перечтет всех любовниц его и регента, одну после дру-

гой, и назовет все парижские улицы...» Странная смесь! «Вот два чудака: один из них бранит погоду — а время очень хорошо; другой бранит людей — а люди всё те же; и оба бранят правительство, которое в них нужды не имеет и, что всего досаднее, не заботится об их речах. Оба они *недовольные*...» О, эти «дурачества» не так уж безобидны: «Посторонитесь! Посторонитесь! Дайте дорогу куме-болтунье-спорщице, пожилой бригадирше, жарко нарумяненной, набеленной и закутанной в черную мантилью. Посторонитесь вы, господа, и вы, молодые девушки! Она ваш Аргус неусыпный, ваша совесть, все знает, все замечает и завтра же поедет рассказывать по монастырям, что такая-то наступила на ногу такому-то, что этот побледнел, говоря с той, а та накануне поссорилась с мужем, потому что сегодня, разговаривая с его братом, разгорелась как роза...»

Довольно «каррикатур»! Батюшков благословляет старомосковские «чудачества» цитатой из поэмы Ариосто «Неистовый Роланд»:

Дурачься, смертных род! В луне рассудок твой!

Тем более что и сам автор «дурачится»: «Вот гулянье, которое я посещал всякой день и почти всегда с новым удовольствием. Совершенная свобода ходить взад и вперед с кем случится, великое стечение людей знакомых и незнакомых имели всегда особенную прелесть для ленивцев, для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии. А я из числа первых и последних».

Батюшков сам избирает для себя позицию «чудака», «доброго приятеля», который «везде равно зевал»... И как напоминает он пушкинского Евгения Онегина: тоже «доброго приятеля», «москвича в Гарольдовом плаще», который «равно зевал средь модных и старинных зал» и жил посреди светских развлечений, «внимая в шуме и в тиши роптанье вечное души, зевоту подавляя смехом»... Недаром ведь исследователи пишут о Батюшкове как о первом онегинском типе русской жизни (Д. Д. Благой).

Уже после первых войн и первых жизненных разочарований, едва не с двадцатидвухлетнего возраста, характерной чертой личности Батюшкова стал именно психологический комплекс «лишнего человека», который действительно можно представить как своего рода комментарий к образу Онегина (такие попытки делались в известном комментарии Н. Л. Бродского). Ранняя пресыщенность жизнью и «изношенность души», преждевременная душевная старость и «охота к перемене мест», разочарование, одиночество на людях и стремление к одиночеству «посреди рассеяний столицы» — вот характерные черты внутреннего облика Батюшкова. 27 ноября 1811 года он замечал в письме к Гнедичу: «...И в тридцать лет я буду тот же, что теперь:

то есть лентяй, шалун, чудак, беспечный баловень, маратель стихов, но не читатель их; буду тот же Батюшков, который любит друзей своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится как повеса, задумывается как датский щенок, спорит со всяким, но ни с кем не дерется...» (III, 163).

Мудрено ли, что «беспечному баловню» стало очень неуютно в московской неразберихе! «...Я и в Москве едва ли более рассеян, чем в деревне,— пишет он Гнедичу 9 февраля 1810 года, через полтора месяца после первого приезда.— В Москве!.. Куда загляну? В большой свет, в свет *кинкетов*? Он так холоден и ничтожен, так скучен и глуп, так для меня, словом, противен, что я решился никуда ни на шаг!» (III, 76). И в следующем письме, через неделю: «Сегодня *ужасный* маскерад у г. Грибоедова, вся Москва будет, а у меня билет покойно пролежит на столике, ибо я не поеду. ...Москва есть море для меня; ни одного дома, кроме своего, ни одного угла, где бы я мог отвести душу душой» (III, 77 — 78).

Упоминаемый здесь Алексей Федорович Грибоедов — родной дядя автора «Горя от ума», характер которого был, по ряду свидетельств, положен будущим драматургом в основу образа Фамусова. А «кинкетами» назывались новомодные французские лампы, завезенные в богатые московские дома.

И еще раз приходится сожалеть о том, что очерк Батюшкова «Прогулка по Москве» не появился в печати тогда, когда был написан... Он мог быть не замечен, ибо далеко обогнал литературные нравы первых десятилетий XIX века: даже и по жанру он напоминает скорее физиологический очерк 1840-х годов. С другой стороны, опубликованный вовремя, этот очерк мог бы наделать много литературного «шуму»...

Советский исследователь Н. В. Фридман в своей книге «Проза Батюшкова» проделал ряд интересных сопоставлений, указав на сходство «Прогулки по Москве» и «Горя от ума» Грибоедова[12]. Объекты осмеяния Батюшкова и Грибоедова — схожи: общественное мнение, определяемое «княгиней Марьей Алексевной» (у Батюшкова — княгиня N, «которая по произволению раздает ум и любезность»), «Английский клоб», «пустое, рабское, слепое подражанье» Западу московского барства, ложь и пустота «французиков из Бордо»... И позиция «чудака» — схожа. Сравните — Чацкий у Грибоедова: «Мне весело, когда смешных встречаю, А чаще с ними я скучаю»... И само «горе от ума» намечено в одном из ранних писем Батюшкова: «Право, жить скучно, ничто не утешает. Время летит то скоро, то тихо; зла более, нежели добра; глупости более, нежели ума; да что и в *уме*?..» (III, 51).

Читая письма Батюшкова, часто натыкаешься на прямо-таки «грибоедовскую» поэтику. Сравните:

Грибоедов	Батюшков
«Все врут календари!»	«Трубецкой... начал лгать, как календарь» (III, 35).
«Служить бы рад, прислуживаться тошно».	«Служил и буду служить, как умею; выслуживаться не стану по примеру прочих...» (III, 362).
«За то, бывало, в вист кто чаще приглашен?»	«Не умею играть в бостон и в вист» (II, 326).
«Что говорит! и говорит как пишет!»	«...Говорит как пишет и пишет так же сладостно, остро и красноречиво, как говорит» (II, 362).

Дело здесь не в совпадении отдельных фраз, а в общем сходстве ассоциаций, в похожих приемах художественного мышления...

Батюшков и Грибоедов не были знакомы лично. Одно время они оказались в противоположных литературных станах. Батюшков не успел познакомиться с «Горем от ума». Грибоедов не мог читать «Прогулку по Москве», писем и записных книжек Батюшкова. И тем не менее почти во всех историко-литературных исследованиях, так или иначе касающихся «Прогулки по Москве», непременно указано на грибоедовские мотивы батюшковского очерка. И тем не менее «Прогулка по Москве» явилась произведением, в ряде отношений предвосхитившим «Горе от ума»...

Зимой 1810 года «беспечный баловень» Батюшков ежедневно гуляет по Москве. Иногда один, чаще — с Никитой Муравьевым: старшему сыну Михайлы Никитича уже четырнадцать лет, и у него начинает ломаться голос...

Из письма к Гнедичу, февраль 1810:

«Я гулял по бульвару и вижу карету; в карете барыня и барин; на барыне салоп, на барине шуба, и наместо галстуха желтая шаль. «Стой!» И карета — «стой». Лезет из колымаги барин. Заметь, я был с маленьким Муравьевым. Кто же лезет? *Карамзин!* Тут я был ясно убежден, что он не пастушок, а взрослый малый, худой, бледный как тень. Он меня очень зовет к себе; я буду еще на этой неделе и опишу тебе все, что увижу и услышу» (III, 78).

А увидел и услышал он в эту московскую зиму многое...

ПАРНАССКИЕ ЗНАКОМСТВА

В условиях русской культуры начала XIX века литература играла доминирующую роль. Поэтическое творчество становится весьма популярным, хотя и не прибыльным делом. Писатель оказывается в центре внимания возникающих кружков и салонов.

Московские сезоны 1810—1811 годов сохранились в памяти современников как самые шумные и веселые. Бал следовал за балом едва ли не ежедневно, а в промежутках — всевозможные катанья, гулянья, рауты (без танцев), детские праздники, званые завтраки и ужины... Так уж получилось, что с точки зрения культурного развития общества именно балы оказались особенно наполнены атмосферой литературы. Стихи на заданные рифмы (bouts-rimés), шарады, логогрифы, экспромты, эпиграммы, публичные чтения любимых стихов, многократно воспетые альбомы светских красавиц (которые Пушкин назвал «мученьем модных рифмачей») — все это упиралось в бытовую обстановку бала, салона, приема, дружеской пирушки. И все эти «незначащие» мелочи потихоньку оказывались фактами большой литературы...

На одном из раутов Батюшков имел случай повидать «весь Парнасс», который сразу же произвел на него впечатление двойственное.

Издатель «Русского Вестника» Сергей Глинка, «патриот», осмеянный Батюшковым в «Видении...» («Жан-Жак я *русский,* Расин и Юнг, и Локк я *русский,* Три драмы *русских* сочинил Для *русских...*»), оказался славным тридцатилетним малым, скромным добряком, честнейшей натурой, который ценил свои «русские» убеждения превыше всяких материальных выгод (о последних он как-то все забывал). В его характере, как и в его литературной деятельности, не было ни выпадов, ни позерства, а было лишь что-то до крайности беспорядочное, неустановленное — но доброе и кроткое. Глинка обласкал Батюшкова, «как брата, как родного», и тому сразу же стало стыдно за «Видение...», и он всё пытался разузнать, читал ли его Глинка или еще не успел? Оказалось: читал...

Профессор русской словесности и поэт Алексей Мерзляков («маленькая тень» в «Видении...») оказался тоже тридцатилетним коренастым малым с резким пермским выговором на «о», со свежим открытым лицом, гладкими волосами и приятной улыбкой. Он тоже читал «Видение...»— и тоже «принял» Батюшкова. «Он меня видит — и ни слова, видит — и приглашает на обед. Тон его нимало не переменился. ...Я молчал, молчал — и молчу до сих пор, но если прийдет случай, сам ему откроюсь в моей вине» (III, 86).

Еще один осмеянный в «Видении...» московский поэт и прозаик, издатель «Аглаи» Петр Шаликов («пастушок») Батюшкову очень не понравился. В «Прогулке по Москве» содержится его карикатурный набросок: молодой франт «в цветном платочке, с букетом цветов, с лорнетом, так нежно улыбается, и в улыбке его виден след труда...» Однако — неисповедимы страсти поэтические — именно Шаликову Батюшков восемь лет спустя

посвятит свое последнее перед отъездом в Италию дружеское послание...

Михаил Трофимович Каченовский, профессор русской истории и один из издателей «Вестника Европы». Ему едва за тридцать, но среди друзей он приобрел репутацию «старца», анахорета, брюзги и язвы. В письмах Батюшкова 1810 года находим довольно лестные его характеристики. Выделяя его из литературного окружения, поэт замечает: Каченовский «их умом всех обобрал, да и свой *на время* спрятал в карман» (III, 77). И в другом месте: «...Каченовский, бритва Парнасская, родной брат Фрерона, но нравственности прекрасной, человек истинно добрый...» (III, 86). Эта характеристика особенно примечательна на фоне тех язвительных эпиграмм, которые адресовали «бритве Парнасской» московские приятели. Чего стоит хотя бы фраза из эпиграммы И. Д. Дмитриева «Ответ» (1806), обращенная к Каченовскому: «Плюгавый выползок из гузна Дефонтена!»

Два Федора Федоровича: Иванов и Кокошкин. Оба имеют отношение к театру. Иванов — автор популярной драмы «Семейство Старичковых» и переводчик «Разбойников» Шиллера (с французской переделки). Кокошкин — искусный декламатор, переводчик Мольерова «Мизантропа», впоследствии директор московского театра. Иванов был хозяином на литературных вечерах 1810 года. Кокошкин в 1811 году стал одним из организаторов Общества любителей российской словесности при Московском университете, замечательного прежде всего своей долговечностью: общество существовало (с небольшими перерывами) около ста двадцати лет...

Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий, князь, сенатор, близкий к двору вдовствующей императрицы. Поэт и острослов, который, по выражению Державина, «весь составлен из любви». Автор популярных песенок «Выду ль я на реченьку...», «Ох! тошно мне...». Он жил в Москве открытым домом, устраивал блестящие балы и литературные вечера в духе Рекамье,— и на них заприметил Батюшкова (вероятнее всего, как воспитанника покойного Муравьева). Батюшков несколько польщен, но все-таки предпочитает оставаться в стороне, не принимая деятельного участия ни в шарадах, ни в маскарадах...

Трое Пушкиных.

Сергей Львович, отставной майор, сочинявший галантные стихи и комплименты и весьма элегантно расписывавшийся в дамских альбомах. Батюшков, кажется, бывал в ту пору в его московском доме — но вряд ли заприметил тогда его одиннадцатилетнего сына...

Василий Львович, старший брат Сергея, отставной поручик и поэт, пользовавшийся известностью и печатавшийся в московских и петербургских журналах. А кроме того — библиофил, путешественник, побывавший в Париже, театрал, бравший уроки

декламации у знаменитого Тальма, человек чрезвычайно общительный и знакомый едва ли не со всею Москвою. Над ним смеялись, его любили. Смеялись над непоэтическою внешностью: «рыхлое толстеющее туловище на жидких ногах, косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником...»[13] Любили же за то, что в этом стареющем подагрике умещалась необыкновенная доброжелательность и детская доверчивость. Над его стихами многие насмехались (в их числе и Батюшков), и когда в 1811 году появилась его «ирои-комическая» и малопристойная поэма «Опасный сосед», многие (в их числе и Батюшков) удивились: а ведь он настоящий поэт и истинный остроумец; похождения Буянова были так смешны и так живо описаны, что Батюшков с восхищением заметил, посылая список «Опасного соседа» Гнедичу: «Вот стихи! Какая быстрота! Какое движение! И это написала вялая муза Василия Львовича!.. Как бы то ни было, в этой сатире много поэзии» (III, 128).

Алексей Михайлович Пушкин — четвероюродный брат Львовичей (чаще: просто «кузен»). Литературный дилетант, вольтерьянец и атеист, он блистал в московских гостиных остроумием и сценическим талантом. Мнения его непременно расходились с общепринятыми. «Он вообще не любил авторитетов: гораздо прежде романтической школы ругал он Расина, которого, впрочем, переводил, и, скажем мимоходом,— довольно плохо. Доставалось и солнцу, как авторитету, и поэтам, которые воспевают восхождение его, а оно, «радуясь» этим похвалам, раздувшись и раскрасневшись, вылезает на небосклон. И все это было *иллюстрировано* живыми ухватками, игрою лица»[14]. Но подлинною жертвой остроумия Алексея Михайловича был Василий Львович, на которого «кузен» обрушивал неистощимый запас шуток и шуточек... Батюшкову оставалось слушать и поддакивать...

Между прочим, он вошел во вполне дружеские отношения с женою Алексея Михайловича, Еленой Григорьевной Пушкиной (урожденной Немцовой, в первом браке Воейковой). Дама уже не первой молодости, но весьма привлекательная, очень образованная и умная, она служила прелестным дополнением остроуму-мужу и снабжала молодого поэта новинками западных литератур. Она же оставила о Батюшкове яркие воспоминания... Сочинительством Елена Григорьевна, правда, не занималась.

Итак, Батюшков попал в шумную литературную компанию. Круг названных имен можно было бы значительно расширить, прибавив к нему петербуржцев: Л. Н. Львова, К. М. Бороздина, Н. А. Радищева, А. И. Ермолаева (старых знакомцев поэта, оказавшихся в 1810 году в Москве), присовокупив И. А. Петина (он читал Батюшкову плохие стихи), присоединив москвичей П. М. Дружинина, М. А. Фонвизина (будущего декабриста), А. П. Голицына, В. С. Филимонова...

Впрочем, вряд ли стоило бы упоминать об этих многочисленных «лицах новых из белокаменной Москвы», если бы на этом фоне не открылись для Батюшкова два существенно важных «парнасских» знакомства, знаменовавших перелом в его творческой судьбе. Посреди шума московских гостиных зимы 1810 года Батюшков сблизился с В. А. Жуковским и П. А. Вяземским.

Жуковский был четырьмя годами старше Батюшкова — и уже прославился в литературе. Батюшкову понравилась его баллада «Людмила» (III, 19), оказался близок и редактируемый Жуковским журнал «Вестник Европы». Осенью 1809 года Батюшков послал в «Вестник Европы» два новых стихотворения, напечатанные в ноябрьской и декабрьской книжках журнала: «Воспоминания 1807 года» и «Тибуллова элегия III (из III книги)». Уже при личном знакомстве он отдал Жуковскому для журнала послание Гнедича «К К. Н. Батюшкову» и свой «Ответ Гнедичу». «...Я отдал Жуковскому твое послание ко мне с моим ответом, кой-где оба поправив,— пишет он Гнедичу.— Он тебя любит... ибо он один с толком» (16 января 1810 года, III, 73). В письме Гнедичу от 9 февраля Батюшков замечает: «С Жуковским я на хорошей ноге, он меня любит и стоит того, чтобы я его любил...» (III, 76).

Однако Батюшков и Жуковский сходились очень непросто, что объяснялось особенностями литературных ориентаций того и другого. Не случайно в первоначальном восприятии Жуковский, человек и писатель, противопоставляется остальной «литературной» Москве: «...Москва жалка: ни вкуса, ни ума, ниже совести! Пишут да печатают» (III, 77). Батюшков появился в Москве как полномочный представитель оленинского кружка, во многом не сходного с кругом Карамзина. Для карамзинистов Батюшков — прежде всего автор «Видения на брегах Леты», наделавшего много шуму и явно не удовлетворившего самих карамзинистов, хотя и понравившегося им, ставшего эталоном истинно «смешного» произведения.

Поэтому уже при первых встречах Жуковский устраивает Батюшкову своеобразную тактическую проверку («наш» или «не наш»?) — и предлагает ему литературный замысел в духе «Леты», но с «карамзинским» оттенком. «Какую мысль мне подал Жуковский! — пишет Батюшков Гнедичу 9 февраля 1810 года.— Писать поэму «Распря нового языка со старым» на образец «Лютрена» Буало, но четырехстопными стихами» (III, 77). Гнедич в ответном письме отозвался об этом замысле весьма сухо: «Распря языка» — истинно богатая материя, но побереги себя на предь»[15]. Он уже несколько охладел к «Лете», которая произвела взрыв негодования в петербургских кругах, и постоянно напоминает об осторожности... Батюшкову эта «осторожность» не весьма нравится: что написано, то написано, и от своей позиции он отказываться не намерен, несмотря на известные «не-

ловкости» и «неудобства». Жуковский предлагает противоположный выход: еще четче определить свою позицию. Это Батюшкову нравится. Поэтому в письмах Гнедичу (литератору «оленинской» ориентации) он отзывается о Жуковском даже с преувеличенным восторгом. *17 марта*: «Поверь мне, мой друг, что Жуковский — истинно с дарованием, мил, любезен и добр. У него сердце на ладони. Ты говоришь об уме? И это есть, поверь мне» (III, 81). *1 апреля*: «Жуковского я более и более любить начинаю» (III, 87). *Май*: «Жуковский — сын лени, милый, любезный малый» (III, 94).

К весне между Жуковским и Батюшковым сложились доверительные отношения. Поэты вполне подружились, а 12 мая 1810 года Жуковский даже подарил Батюшкову начатую записную тетрадь «Разные замечания» (которую Батюшков продолжил летом и осенью). В письме к П. А. Вяземскому от 26 июля 1810 года (написанном из деревни в Москву) Батюшков отзывается о Жуковском так: «...что делает деятельный Жуковский? Стало ли у тебя чернил и бумаги на этого трудолюбивого Жука? Я к нему писал, адресуя письмо в Типографию. Если это не эпиграмма, то, видно, мне по смерть не писать!»[16] Заметим: «сын лени» (в письме Гнедичу) — это в устах Батюшкова похвала поэту, а «деятельный Жуковский» (в письме к Вяземскому) — ироническая усмешка: излишнее трудолюбие не пристало «любимцу муз», журналистика — не дело истинного поэта.

Вместе с тем как поэт Батюшков не хочет попадать под влияние Жуковского и подчеркивает свою творческую независимость от него даже и формально. В февральскую книжку «Вестника Европы» за 1810 год он передает для публикации, наряду с новыми стихами, басню «Сон Могольца», опубликованную двумя годами ранее. Эта басня явилась вольным переводом «аполога» Жана Лафонтена «Le songe d'un habitant du Mogol» (заимствованного, в свою очередь, из «Гюлистана» Саади). За год до Батюшкова (в 1807 году) перевод этого же «аполога» осуществил Жуковский, и обращение Батюшкова к только что переведенному произведению (случай крайне редкий в его творчестве) объясняется прежде всего несогласием с Жуковским, желанием полемизировать с ним. Этим же объясняется и публикация в журнале ранее напечатанного произведения (случай не менее редкий у Батюшкова).

В чем же выразилось это «несогласие»?

В басне Жуковского пятьдесят четыре стиха, Батюшкова — сорок четыре. Обе они являются, в сущности, вольными переводами (хотя перевод Жуковского по размеру несколько ближе к оригиналу Лафонтена). Жуковский и Батюшков по-своему трактуют представленный Лафонтеном сюжет. В структуре басни выделяются три части: картина сна, где «моголец» (житель

царства Великого Могола) видит богатого визиря, попавшего в рай, и нищего «дервиша» (у Жуковского), «пустынника» (у Батюшкова), оказавшегося в аду; толкование этого несообразия «колдуном» (у Жуковского), «гадателем» (у Батюшкова) и обширная мораль, в которой выражается кредо автора.

Характеристики визиря и дервиша у Жуковского и Батюшкова различны. У Жуковского визирь — один из земных владык, явно недостойный быть в «обители... всевышнего царя» (это подчеркивается обращением к читателю: «И там — подумайте — находит визиря»). Визирь у Батюшкова вполне достоин «жилищ Елисейских», ибо он «блаженный» и попадает «на лоно Гурий» «за добрые дела житейски» (это тоже сразу подчеркивается). У Жуковского «дервиш, служитель Орозмада», находится в аду, но поэт не акцентирует внимания на его адских мучениях, констатируя факт: «На ужин дьяволам варился...» У Батюшкова это противопоставление картиннее и страшнее: если визирю предоставлено «счастие», то,

Терзаемый бичами Фурий,
Пустынник испускал ужасный вопль и стон.

Дервиш у Жуковского наказан по заслугам:

Дервишу ж поделом: не будь он суесвят;
Не ползай перед тем, кто силен и богат;
Не суйся к визирям ходить на поклоненье.

Батюшков выдвигает Пустыннику, в сущности, одно обвинение:

Пустынник на поклон таскался к визирям...

Визирь у Жуковского «в раю за то, что в области сует, *Средь пышного двора*, любил уединенье». Визирь у Батюшкова — это «праведник-визирь»: он не просто «любил уединенье», но, *«оставя двор и град,* Жил честно...».

Для Батюшкова здесь важными являются не внутренние порывы человека, жившего «средь пышного двора», но обязательное внешнее проявление этих порывов: «оставя двор и град». Проблема ставится Батюшковым гораздо острее: визирь награжден, за то что предпочел земную суету и наслаждения свободе; пустынник наказан, за то что, владея неограниченной свободой жизни (не случайно он не «дервиш», а «пустынник»), «таскался» к этой земной суете «на поклон»,— и в этом отношении даже не важно, «ползал» он перед теми, «кто знатен и богат», или нет. Жуковский говорит о внутренней жизненной ориентации человека, Батюшков — о ее внешнем, действенном проявлении.

Поэтому мораль басни у Жуковского и Батюшкова — поэтические призывы и рассуждения о сущности жизни — различна:

Жуковский: Друзья, любите сень родительского крова;
Где ж счастье, как не здесь, на лоне тишины,
С забвением сует, с беспечностью свободы?..

Батюшков: Внушил бы я любовь к деревне и полям.
Обитель мирная! в тебе успокоенье,
И все дары небес даются щедро нам...

Характерное для раннего романтизма противопоставление «лона тишины» («обители мирной») и мирских «сует» трактуется Жуковским и Батюшковым различно. Поэтическое признание Батюшкова, выраженное в морали басни, гораздо трагичнее. Если Жуковский дает серию риторических вопросов типа: «Где вы, мои поля? Где вы, любовь весны?», «О рощи, о друзья, когда увижу вас?» и т. п.,— то Батюшков предпочитает отрицательные конструкции: «Места любимые! ужели никогда Не скроюсь в вашу сень...» Наконец, различен и сам смысл поэтического призыва:

Жуковский: О, кто *мне возвратит* родимые долины?..
Батюшков: Ах! кто *остановит меня* под мрачной сенью?..

Жуковский скорбит о «возвращении» в «лоно тишины»; Батюшков — об «остановке» вихря «сует», «бури и ненастья», в которые он погружен: вне этой «остановки» не может быть и речи о каком-то абстрактном «возвращении». Иными словами, Жуковский уповает на «бегство» от суетного мира, Батюшков — на переделку его, на «остановку».

Заключительная идея Жуковского выражена противопоставлением идеальной «бедности» и суетного «богатства»:

Нить жизни для меня совьется не из злата;
Мой низок будет кров, постеля не богата;
Но меньше ль бедных сон и сладок, и глубок?..

Батюшков, напротив, решает эту проблему чисто личностно, снимая для себя самого противопоставление «бедности» и «богатства» (не бывать ему богатым):

Пусть Парка не прядет из злата жизнь мою,
И я не буду спать под бархатным наметом:
Ужели через то я потеряю сон?
И меньше ль по трудах мне будет сладок он,
Зимой — близь огонька, в тени древесной — летом?..

Жуковский уповает на внеличностное «возвращение» (которое не мыслится как «деяние»): «Мой век был тихий день, а смерть успокоенье». Батюшков опять же рассматривает свою «остановку» предельно конкретно: «Беспечно век прожив, спокойно и умру». Абстрактно-романтический идеал Жуковского переносится Батюшковым в личностную, даже биографическую, об-

ласть. И это приводит к изменению самого идеала. Легко прокричать о «сладостной бедности» — попробуй-ка сам вкусить ее «сладость»...

Добрейший Жуковский с удовольствием напечатал батюшковского «Могольца», не подумав ни обижаться, ни спорить...

Рядом с Жуковским неизменно оказывался Петр Вяземский, поздний потомок удельных князей, восемнадцатилетний баловень судьбы и поэт. Наследник знатного имени и большого состояния, он принадлежал к той общественной прослойке, которая считала себя солью земли русской и уверенно смотрела в будущее. Он вел беззаботную и рассеянную жизнь (пока не промотал нажитого отцом состояния) и был любимцем московской молодежи. Со всем пылом безудержной юности князь Петр проводил время в холостяцких пирушках и забавах — и номинально служил титулярным советником в Московской межевой канцелярии. Он был очень развит и просвещен и носил в себе традиции русского вольтерьянства, религиозного вольнодумства, даже «афеизма», и просветительской философии. В литературе он выступает как принципиальный дилетант, относясь к писанию стихов как к занятию, украшающему досуг культурного человека,— и благоговеет перед таким же дилетантом Нелединским-Мелецким. В то же время он отличается от Нелединского, ибо литература уже осознается им в ее важной общественной функции — построения русской культуры, борьбы за нее против всякого рода староверов и рутинеров. Поэтому он прежде всего сатирик, острослов, эпиграмматист — и уже прославился по Москве своими колкими выпадами, не щадившими даже и правительственных установлений: в 1810 году он написал шутливое стихотворение «Сравнение Петербурга с Москвой», ставшее классическим образцом русской «потаенной» литературы.

Под светским лоском и наружной суровостью Вяземский скрывал участливое сердце — и как-то сразу понял Батюшкова и проникся к нему особенною нежностью, ставши путеводителем его в московском обществе. Первое документальное свидетельство их близости — письмо Батюшкова к Вяземскому от зимы — весны 1810 года. Оно представляет собой шутливый экспромт, написанный по поводу того, что Вяземский, очарованный «Видением на брегах Леты», представил Батюшкова как нового гения:

Льстец моей ленивой музы!
Ах, какие снова узы
На меня ты наложил?
Ты мою сонливу «Лету»
В Иордан преобратил
И, смеяся, мне, поэту,
Так кадилом накадил,
Что я в сладком упоеньи,
Позабыв стихотворенья,

Задремал и видел сон,
Будто светлый Аполлон
И меня, шалун мой милый,
На берег реки унылой
Со стишками потащил
И *в забвеньи* потопил!

Под стихами — приписка: «Завтре об эту пору постараюсь к вам быть непременно,— стихи мои еще не переписаны, вот почему я избавляю вас от сладкого усыпления, которого вам завтре никак не миновать»[17].

Батюшков и Вяземский — еще на «вы», но очень скоро их отношения перерастут в подлинную дружбу. К лету 1810 года составился маленький кружок: Жуковский, Вяземский, Батюшков. Жуковского друзья прозвали Жуком (или Жучком): за усердие и наклонность к полноте; Вяземского — Асмодеем: за «дьявольский» характер и злое остроумие; Батюшкова — за маленький рост и «легкость» поэтической руки — Пипинькой (персонаж одной из комедий Мольера) и Парни Николаевичем. Подобные шалости — нравились: это было нечто новое, невиданное в Петербурге... Даже в раскованном сообществе Олениных были некие условности. А тут — почти братство, которого душе Батюшкова так не хватало!

В конце концов Батюшков познакомился с Н. М. Карамзиным, вдохновителем и главой того литературного направления, к которому принадлежали Жуковский и Вяземский. Батюшков никогда не был поклонником «пасторалей» и «сладостной» прозы автора «Писем русского путешественника», не посещал, в отличие от многих современников, «Лизина пруда» и издевался над чрезмерной чувствительностью карамзинских исторических повестей. Но... Карамзин был старшим другом Жуковского и наставником Вяземского (именно ему, женатому на старшей сестре юного князя, поручил покойный Андрей Иванович Вяземский приглядывать за сыном). Но... даже уличное знакомство с Карамзиным (описанное выше) оказалось для Батюшкова лестно.

В дом Карамзина Батюшкова привел Вяземский, и он вспоминал впоследствии, что Батюшков «явился туда в военной форме и со смущением вертел своею огромною треугольною шляпой, составлявшею странную противоположность с его маленькою, субтильною фигуркой. Карамзин же принял его с некоторою важностью, его отличавшею»[18]. Постепенно, однако, Батюшков освоился в степенном доме Карамзиных и стал находить вечера, у них проведенные,— «наиприятнейшими» (III, 88). В «Прогулке по Москве» он очень живописно нарисовал этот дом Карамзиных, стоявший возле старого «колымажного двора»: «Вот маленький деревянный дом, с палисадником, с чистым двором, обсаженным сиренями, акациями и цветами. У дверей нас встре-

чает учтивый слуга не в богатой ливрее, но в простом опрятном фраке. Мы спрашиваем хозяина: войдите! Комнаты чисты, стены расписаны искусной кистию, а под ногами богатые ковры и пол лакированный. Зеркала, светильники, кресла, диваны — все прелестно и кажется отделано самим богом вкуса. ...Здесь обитает приветливость, пристойность и людскость. Хозяйка зовет нас к столу: мы сядем, где хотим, без принуждения, и, может быть, развеселенный старым вином, я скажу, только не вслух:

Налейте мне еще шампанского стакан,
Я сердцем Славянин — желудком галломан!»

Бывал Батюшков и у «сердечного друга» Карамзина И. И. Дмитриева, ярчайшего и уважаемого им поэта, который вот-вот должен был переехать в Петербург на должность министра юстиции, но в первой половине 1810 года жил в Москве, в небольшом домике на Огородной слободе:

Там дружба угощала
Друзей по вечерам!
Как весело бывало,
Когда своим друзьям
Под липкою ветвистой
С коньяком чай душистой
Хозяин разливал
И круг наш оживлял
Веселым острым словом...
(В. А. Жуковский)

Батюшков в ту пору не без гордости сообщал Гнедичу: «Дмитриев и Карамзин обо мне хорошо отзываются» (III, 77).

Батюшкову — лестно, Гнедичу — досадно. Гнедич звал друга в Петербург, призывал служить, даже выхлопотал выгодное место. Батюшков уехал в Москву, где живет нахлебником, завел сомнительные знакомства и сделался совершенным москвичом. Он не обращает внимания на предостережения, на то даже, что сам Державин обиделся за «Лету»,— и в то же время расточает похвалы новейшим московским литераторам, которых сам же высмеивал! И отговаривается, и слышать не хочет о Петербурге. Если гора не идет к Магомету...

По дороге на родину, в Полтавскую губернию, Гнедич завернул в Москву, где в начале июня встретился с «непутевым» приятелем. В Батюшкове он нашел какую-то разительную, но неуловимую перемену. В письме к А. Полозову он записал: «Батюшкова я нашел больного, кажется, от московского воздуха, зараженного чувствительностью, сырого от слез, проливаемых авторами, и густого от их воздыханий»[19]. Друзья Батюшкова также не произвели на Гнедича положительного впечатления. «Жуковский,— заметил он в записной книжке,— истинно умный и благородный человек, но москвич и немец»[20].

Нет, Москва для Батюшкова явно вредна! Гнедич сильно попенял другу и настаивал на том, чтобы тот уехал из Москвы, подальше от ветреных людей и вредных влияний. Батюшков, должно быть, согласился: он не умел спорить с Гнедичем.

Потом оба действительно уехали из Москвы. Гнедич — на родину. Батюшков — в Остафьево, подмосковное имение Вяземских.

А. И. Вяземский в конце XVIII века выстроил в Остафьеве дом в классическом стиле, который «как будто запечатлел цельность и трезвую простоту своего создателя. Строгое соответствие форм с содержанием, никакой погони за внешней красивостью, блеском, спокойная ясность линий и пропорций — в архитектуре дома, в размещении комнат, в развеске картин»[21]. В усадьбе был живописный пруд и липовый парк.

Гостиная, парадный кабинет, богатая библиотека. Середину дома занимал великолепный круглый зал с хорами для музыкантов, двери из которого открывались прямо в сад. На верхнем этаже жилые комнаты. Там же — скромный кабинет Карамзина, который подолгу жил в Остафьеве и уединенно писал «Историю государства Российского».

Батюшков вместе с Вяземским и Жуковским окунулся в идиллическую атмосферу поэтической лени, поэтических споров, поэтических состязаний и поэтических возлияний.

Друзья! Уж месяц над рекою,
Почили рощи сладким сном;
Но нам ли здесь искать покою
С любовью, с дружбой и вином?..
(«Веселый час»)

Через три недели роскошной жизни в Остафьеве Батюшков, никого не уведомив, сбежал...

ИСКУССТВО УБИВАТЬ ВРЕМЯ

Из письма К. Н. Батюшкова к В. А. Жуковскому, 26 июля 1810, Хантоново:

«Я вас оставил en impromptu, уехал, как Эней, как Тезей, как Улисс от б....к (потому что присутствие мое было необходимо здесь в деревне, потому что мне стало грустно, очень грустно в Москве, потому что я боялся заслушаться вас, чудаки мои)» (III, 98).

Батюшков — Вяземскому, того же числа:

«Как волка ни корми, а он все в лес глядит!

Виноват перед тобой, любезный мой князь, уехал от тебя, как набожный Эней от Элизы, скрылся, как красное солнце за тучами... Я приехал кое-как до жилища моего

больной — нет, мертвый! Насилу теперь отдохнул и, облокотясь на старинный стол, который одержим морскою болезнию, ибо весь расшатался, пишу к тебе, любезный князь, эти несвязные строки»[22].

Неожиданное, en impromptu, бегство Батюшкова из подмосковного и шумного Остафьева в глухую и далекую северную деревню было очень в духе «печального странствователя». Скука, преследовавшая поэта в течение всей жизни «своими бичами», стала для него обыденным явлением биографии. Он редко жил на одном месте более полугода. В Москве он «якубствовал» и «тибуллил на досуге» — пока не стало «грустно, очень грустно»... Он проводил время в компании талантливейших и интереснейших людей России — и побоялся «заслушаться» их. Он захотел «остановиться», как Пустынник из «Сна Могольца».

В двадцатых числах июля он снова в Хантонове. Наступает сложное и необычное чувство — веселая хандра и лень, обильно развивающаяся в одиночестве.

Сентябрь 1810 года. Гнедич, вернувшийся из своей полтавской поездки, приветствует хантоновского затворника.

ГНЕДИЧ: Я проснулся — и в Петербурге; только этот сон в своей кратковременности столько вместил разнообразных приключений, что я, сам им не веря, взял от некоторых людей свидетельства в истине случившегося со мною; кроме сих письменных свидетельств, есть и другие, доказывающие ясно правоту дела: синяя полоса по моему телу убедит всякого, что через меня переехала коляска с четырьмя конями; шишка на голове — что я летел в Днепр торчь головою; а распоротый чемодан мой всякому скажет, что в нем осталась половина только его внутренностей, а половину в Гатчине доброй человек вырезал — спасибо за честность! верно, этот благодетель читал Шиллеровых «Разбойников», трагедию, где говорится, что у человека не надобно всего отнимать, а только половину,— а ты бранишь Шиллера!..

БАТЮШКОВ: ...Ты лжешь, как француз, путешествующий по России. Как? По тебе проехала коляска, и ты жив (???), у тебя вырезали чемодан и оставили тебе половину (???), ты летел в Днепр вверх ногами и, вопреки силе тяготения, не разломал себе черепа (который, заметить надобно, преисполнен мозга) (???). Если это не чудеса, то я более чудес не знаю... я ныне читаю Д'Аламберта, который говорит именно, что чудеса делать трудно, бесполезно и вредно (III, 100 — 101).

ГНЕДИЧ: Читатели Дидерота, не понимая с ним вместе причин простых вещей, называют их чудесами и не верят чудесам; следовательно, и тебе покажется невероятно, что

глазная болезнь моя так была мучительна, что я несколько суток не мог говорить.

БАТЮШКОВ: Как бы то ни было, ты жив и здоров: вот чего мне было надобно... (III, 101).

ГНЕДИЧ: От Авраама Ильича услышал я, что ты был болен, и будешь, если не телом, то душою: праздность и бездействие есть мать всего и, между прочим, болезней.

БАТЮШКОВ: Смысл грешит против истины, первое, потому что я пребываю не празден. В сутках двадцать четыре часа.

Из оных 10 или 12 пребываю в постеле и занят сном и снами.

Ibid... 1 час курю табак.

1 — одеваюсь.

3 часа упражняюсь в искусстве убивать время, называемом il dolce far niente.

1 — обедаю.

1 — варит желудок.

1/4 часа смотрю на закат солнечный. Это время, скажешь ты, потерянное. Неправда! Озеров всегда провожал солнце за горизонт, а он лучше моего пишет стихи, а он деятельнее и меня, и тебя.

3/4 часа в сутках должно вычесть на некоторые естественные нужды, которые г-жа Природа, как будто в наказание за излишнюю деятельность героям, врагам человечества, бездельникам, судьям и дурным писателям, для блага человечества присудила провождать в прогулке взад и назад по лестнице, в гардеробе и проч. и проч. О, humanité!

1 час употребляю на воспоминание друзей, из которого 1/2 помышляю об тебе.

1 час занимаюсь собаками, а они суть живая практическая дружба, а их у меня, по милости небес, три: две белых, одна черная. P. S.: у одной болят уши и очень, бедняжка, трясет головой.

1/2 часа читаю Тасса.

1/2 — раскаиваюсь, что его переводил.

3 часа зеваю в ожидании ночи. Заметь, о мой друг, что все люди ожидают ночи, как блага, все вообще, а я — человек!

Итого 24 часа.

Из сего следует, что я не празден; что ты рассеянность почитаешь деятельностию, ибо ты во граде святого Петра не имеешь времени помыслить о том, что ты ежедневно делаешь... (III, 102 — 103).

ГНЕДИЧ: Я начинал думать, что ты посвятил себя вечному безмолвию, но из отзыва твоего, не весьма поспешного, ясно увидел, что ты посвятил себя совершенной празд-

ности, ибо имеешь время читать Дидерота и вычислять, сколько нужно тебе в сутки минут для исполнения нужд естественных... Час, в который у тебя варит желудок, и полчаса, посвященные тобою для воспоминания обо мне, и несколько минут, определенных тобою для нужд естественных, лучше определи для того, чтобы чаще писать ко мне...
БАТЮШКОВ: Впрочем, скажу тебе откровенно, что мне здесь очень скучно, что я желаю вступить в службу, что мне нужно переменить образ жизни, и что же? Я, подобно одному восточному мудрецу, ожидаю какой-то богини, от какой-то звезды, богини, летающей на розовом листке, то есть в ожидании будущих благ я вижу сны... (III, 103 — 104).

В Хантонове Батюшков вполне предался одиночеству. Сердце жаждет деятельности. Тело остается в лености. Болезнь, которую Батюшков именует по-латыни tic douloureux, по-русски значит — ревматизм.

Посмотрите! в двадцать лет
Бледность щеки покрывает;
С утром вянет жизни цвет:
Парка дни мои считает
И отсрочки не дает...
(*«Привидение»*)

Первые две строчки этого стихотворения, написанного в 1810 году, Батюшков позже записал под своим автопортретом. А другое стихотворение этого же года — «Счастливец» — кончается так:

Сердце наше — кладезь мрачный:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!

Батюшков даже чуть-чуть гордится этим «крокодилом» в сердце: «Что ни говори, любезный друг, а я имею маленькую философию, маленький ум, маленькое сердчишко и весьма маленький кошелек. Я покоряюсь обстоятельствам, плыву против воды, но до сих пор, с помощью моего доброго гения, ни весла, ни руля не покинул» (III, 134 — 135). И еще: «...Что значит моя лень? Лень человека, который целые ночи просиживает за книгами, пишет, читает или рассуждает! Нет... если б я строил мельницы, пивоварни, продавал, обманывал и исповедовал, то, верно б, прослыл честным и притом деятельным человеком» (III, 65).

Он страдает от безденежья, пытается заняться хозяйством, повысить доходы от имений. Но это оказывается трудным делом, это тоже надобно уметь. А Батюшков — ученик «просветителя» Муравьева, поклонник Дидерота и Д'Аламберта, восторженный читатель «энциклопедистов». Он привык смотреть на крепостных крестьян как на людей, ему жаль их — и его хозяйственные

попытки ограничиваются лишь выговорами глуповскому старосте...

Единственное развеяние от одиночества и утешение от болезней — творчество.

Батюшков — Жуковскому, 26 июля 1810, Хантоново:

«Я живу очень скучно, любезный товарищ, и часто думаю о тебе. Болезнь меня убивает, к этому же имею горести; и то, и другое меня очень расстроивает... Теперь я в те короткие минуты, в которые госпожа болезнь уходит из мозгу, читаю Монтаня и услаждаюсь. Я что-нибудь из него тебе пришлю. О стихах и думать нельзя с моей болезнью» (III, 99).

Батюшков — Вяземскому, того же числа:

«Опиши мне, любезный князь, что делается на Московском Парнасе и на булеваре. Что ты делаешь и что пишешь, а я —

А я из скупости, чернил моих в замену,
На привязи углем исписываю стену.

Мараю да мараю, а что выйдет, бог знает. Еще недавно на фабрику «Вестника Европы» отправил несколько тряпиц, превращенных в бумагу, которые я прикосновением волшебного пера превратил опять в тряпицы.— Но шутки в сторону, я ныне занят. Отгадай чем? — Перекладываю «Песни Песней» в стихи. Когда кончу, то пришлю тебе, моему Аристарху,— на растление мою Деву».

Хантоновская осень 1810 года также оказалась плодотворной, несмотря на болезни. Батюшков много читает, изучает и переводит. Петрарка, Боккаччо, Ариосто — с итальянского; Парни, Касти — с французского. Особенно увлекают его «Опыты» Мишеля Монтеня. «Вот книга, которую буду перечитывать во всю мою жизнь!» — восклицает он в записной книжке. И далее дает образное сравнение: «Путешественник, проходя по долине, орошенной ручьями, часто говорит: откуда эти воды? откуда столько ключей? — Идет далее и находит озеро; тогда его удивление исчезает. Это озеро, говорит он, есть источник маленьких речек, ручьев и протоков. Этот путешественник — я, эти ключи — авторы, которых я читал в молодости, это озеро — Монтань».

Кстати, записная книжка, которую заполняет Батюшков осенью 1810 года — та самая, которую ему подарил в Москве Жуковский,— «Разные замечания». Эта книжка хранится в архиве Пушкинского дома. Она никогда полностью не публиковалась, а впервые была открыта в 1955 году Н. В. Фридманом. Такова судьба черновых, интимных записей: об их существовании часто узнают через долгие годы после смерти автора...

Здесь есть записи и на русском языке, и на французском,

и на итальянском, и на латыни. Здесь — выписки и прозаические переводы. Здесь — маленькие заметки, которые Батюшков называл «мыслями». Написаны они в духе любезного Батюшкову Монтеня.

> «Я знаю одного человека, который ежедневно влюбляется, потому что он празден. Другой же никогда влюблен не был, потому что ему недосуг. Одного почитают степенным, а другого помешанным. Но поставьте первого на место последнего... Любовь может быть в голове, в сердце и в крови. Головная всех опаснее и всех холоднее. Это любовь мечтателей, стихотворцев и сумасшедших. Любовь сердечная менее других. Любовь в крови весьма обыкновенна: это любовь буффона. Но истинная любовь должна быть и в голове, и в сердце, и в крови... Вот блаженство! — Вот ад!»

Мысли талантливого человека всегда необычны, точны и современны — даже если это мысли двухсотлетней давности...

> «Gosner, известный схоластик, говаривал о своих творениях, что они ему не стоили ни малейших усилий. Другие играли в кости, бросая их по столу; он бросал чернила на бумагу — это была его игра. Сколько у нас стихотворцев — Gosner-ов!»

В этой же записной книжке сохранилось «расписание сочинениям» Батюшкова — оглавление тех, которые поэт предполагал включить в свой первый (неосуществленный) сборник. Среди них — около десяти до нас не дошедших. Батюшков, в отличие от многих как талантливых, так и бесталанных писателей, не хранил всякий листок, им написанный, и подчас уничтожал даже очень большие свои вещи.

Среди не дошедших до нас — три прозаические повести: «Корчма в Молдавии», «Венера» и «Стихотворец судья». Они были написаны, вероятно, в 1810 году, рядом с повестью «Предслава и Добрыня», «богатырским» сказанием, созданным в подражание историческим произведениям Муравьева и Карамзина. Батюшков остался недоволен этой повестью и, окончив ее, записал в рукописи с облегчением: «Насилу досказал!»

Батюшков — Гнедичу, ноябрь 1810, Хантоново:

> «Поверишь ли? Я здесь живу 4 месяца, и в эти четыре месяца почти никуда не выезжал. Отчего? Я вздумал, что мне надобно писать в прозе, если я хочу быть полезен по службе, и давай писать — и написал груды, и еще бы писал, несчастный!..» (III, 63).

«Предслава и Добрыня» была опубликована в 1832 году в альманахе «Северные цветы». В редакционном примечании указано: «Может быть, найдут в этой повести недостаток создания и народности; может быть, скажут, что в ней не видно Древней Руси и двора Владимирова. Как бы то ни было, но поэтическая душа Батюшкова отсвечивается в ней, как и в дру-

гих его произведениях, и нежные, благородные чувствования выражены прекрасным гармоническим слогом». По мнению ряда исследователей, автором этих слов был А. С. Пушкин, по мнению других — О. М. Сомов.

Из стихотворных произведений, указанных Батюшковым в «расписании», до нас не дошло несколько стихов и одно крупное произведение, которое Батюшков написал в 1810 году. Оно весьма занимало его с самого приезда из Москвы. «...Муза моя,— указывает он в письме Вяземскому от 26 июля,— изволит теперь странствовать по высотам Сиона на брегах Иордана, на прохладных холмах Энгадда,— то есть, как сказал тебе, я так занят моей «Песней Песней», что во сне и наяву вижу жидов и вчера еще в мыслях уестествил иудейскую Деву. Мечтаю, мечтаю — и время тихонько катится!»

Песнь Песней. Стихотворная вариация на известную библейскую Песнь Любви. Такие вариации были довольно распространены в русской поэзии начала XIX века: они встречаются и у Державина («Соломон и Суламита»), и у Крылова («Выбор из Песни Песней»), и у Пушкина (два отрывка: «Вертоград моей сестры...» и «В крови горит огонь желанья...»).

От поэмы Батюшкова до нас не дошло ни строки. Мы знаем, что она была полностью написана, что автор посылал ее Гнедичу и Вяземскому на просмотр, что ни тому, ни другому поэма не понравилась... Вот отрывки из переписки 1810 — 1811 годов.

БАТЮШКОВ: Я почти ничего не пишу, а если и пишу, то безделки, кроме «Песни Песней», которую кончил и тебе предлагаю. ...Я избрал для «Песни Песней» драматическую форму; прав или нет — не знаю, рассуди сам. Одним словом, я сделал эклогу, затем что мог совладать с этим слогом, затем что слог лирический мне неприличен, затем что я прочитал (вчера во сне) Пифагорову надпись на храме: «Познай себя» — и применил ее к способности писать стихи (III, 104).

ГНЕДИЧ: Ты во сне прочел надпись «Познай себя» — и наяву применил ее к *своей лености*, и кинул Тасса для того, чтобы переводить «Песни Песней»? Бедность ума человеческого, потворствующего страстям своим!

ВЯЗЕМСКИЙ: «Песнь Песней» сделает из тебя, как я вижу, Шишкова. Сделай милость, не связывайся с Библиею. Она портит людей, я ее прочел нынешнее лето, и теперь уж ничему не верю[23].

БАТЮШКОВ: Ты бранишь Библию, Morton, и зачем? Неужели ты меня хочешь привести в свою веру: я не Жуковский и не люблю спорить... (III, 138 — 139).

ГНЕДИЧ: Ты обманываешь сам себя. Променяет ли хоть один толковый человек все твои «Песни Песней» и оды од на одну строфу Торквата? *Сзывает жителей подземныя*

страны трубы медяной рев гортанью сатаны.— Свод звукнул от него, и мгла поколебалась. Несчастный, познай себя! ...Твоя «Персидская идиллия» и другие напечатанные с нею пиэсы. «Песни Песней» также, ничего более не говорят, кроме того, что ты имеешь превосходное дарование для поэзии; но такие предметы ниже тебя. Замечания на «Песни Песней» прислать теперь не могу; но ты ни прав, ни виноват, что избрал драматическую форму, ибо она избрана уже Вольтером. Переведи «Волшебницу» Теокритову: это лучше. «Песни Песней» лицами, в них действующими, не могут сделать никакой иллюзии, кроме красотою стихов.
ВЯЗЕМСКИЙ: Твоя «Песнь Песней» меня измучит. Скажи мне ради бога, на что это похоже, что девка, желая заманить к себе своего любовника, говорит ему, что у ней есть для него готовый шафран. Признаться, я невежа, не знаю ни обычаев, ни нравов древних и, следственно, не могу судить об них; а мне кажется, что и тогда такое призывание было похоже на то, если б кто теперь, приглашая к себе девку на ночь, сказал бы ей: «Приди ко мне, у меня и «Вестник Европы» и «Немецкая грамматика». Впрочем, повторяю тебе признание о невежестве своем, только думается мне, что девка нынешнего века ни шафраном, ни ревенем, ни «Вестником Европы» не соблазнится.
БАТЮШКОВ: Я ничего не пишу, все бросил. Стихи к черту! Это не беда; но вот что беда, мой друг: вместе с способностью писать я потерял способность наслаждаться, становлюсь скучен и ленив, даже немного мизантроп. Часто, сложа руки, гляжу перед собою и не вижу ничего, а смотрю, а на что смотрю? На муху, которая летает туда и сюда... (III, 136).

Поэма не удалась. Настроение недоброе... И — «стихи к черту»! К черту службу, военную и статскую! В письме к Гнедичу от декабря 1810 года Батюшков восклицает: «Зачем же я поеду в Петербург, и на кого могу надеяться, и кого буду просить! Я! Просить!.. я не могу просить всякого без разбора, первое — потому что не всех уважаю, а второе — потому что ленив духом» (III, 67).

Не удается жизнь. Батюшков собирается то в Петербург, то в Москву, то на Кавказские воды, то, наконец, едет в Вологду. Он строит планы. Иногда, правда, ему кажется, что он будет равно несчастлив и невезуч везде: в деревне, в Вологде, в Москве...

В Вологду Батюшков приехал к рождеству — и все повторилось, как год назад: он заболел и больше двух месяцев провалялся в постели.

Батюшков — Гнедичу, начало января 1811, Вологда:

«Я насилу пишу тебе: лихорадка меня замучила. Кстати, я советовался здесь с искусным лекарем, который не-

давно приехал из Германии, с человеком весьма неглупым. Он пощупал пульс, расспросил о болезни и посмотрел мне в глаза: «Вы, конечно, огорчаетесь много; я вам советую жить весело: это лучшее лекарство». Я ему засмеялся в глаза. Это лекарство, конечно, не выписывается из аптеки, а если оное есть в Петербурге, то пришли мне его на рубль» (III, 107 — 108).

Выздоровев, Батюшков отправился «убивать время» в Москву — и снова все повторилось. Добросердечная и милейшая Катерина Федоровна Муравьева. Прогулки с Никитой и Александром. Шумные зимние развлечения, споры, шалости и проказы. Жуковский, Вяземский, Карамзин, Пушкины... Приятельские ужины «и рюмок звон и стук», «томны взгляды прелестниц записных»... Вяземский позже вспоминал о Батюшкове этого времени: «Он жил тогда на ветер...»

В приятельском кругу появляются новые лица. Братья Давыдовы. Старший, Денис, знаменитый гусар и поэт, был знаком Батюшкову еще со времен Шведского похода. Младший, Левушка — он слыл между приятелями под именем Анакреона и, вероятно, подражал старшему.

Дмитрий Северин, товарищ Вяземского по иезуитскому пансиону, в будущем блестящий дипломат, а пока — любимец министра И. И. Дмитриева и очень приятный, обходительный человек.

Сергей Марин, офицер, веселый товарищ, стихотворец и острослов. Он был отменным храбрецом, переводил трагедии Вольтера и Лонжепьера, но более любил легкие стихи и пародии на торжественные оды Ломоносова и Державина:

Спеши ж, о Дмитриев, от бед меня спасать
И научи стихи по-твоему писать;
Когда ж надежды нет, скажи мне без притворства,
Как мне избавиться от страсти стихотворства?

Александр Воейков, друг Жуковского, учившийся с ним вместе в пансионе при Московском университете, поэт, переводчик, критик, журналист, впоследствии — профессор Дерптского университета, автор знаменитых сатир «Дом сумасшедших» и «Парнасский адрес-календарь».

В московских литературных вечерах 1811 года уже намечается некоторая оригинальность. Они получают характер совершенной противоположности петербургской официальной литературе (и организованной тогда же «Беседе»). Происходит некое оживление и консолидация литературных сил. Жуковский издает пятитомное «Собрание образцовых русских стихотворений». Карамзин устраивает первые публичные чтения отрывков из «Истории государства Российского». Василий Пушкин пишет поэму «Опасный сосед». Вяземский соблазняет потоком эпиграмм. На

его холостяцких ужинах молодые литераторы поют куплеты, как бы предвосхищающие шутливую атмосферу литературного общества «Арзамас»:

Пускай Сперанский образует,
Пускай на вкус «Беседа» плюет
И хлещет ум в бока хлыстом:
Я не собьюся с панталыка!
Нет! мое дело только пить
И, на них глядя, говорить:
«Comme ça, брусника!»

(Рефрен: «Такова брусника!» — был подслушанной на дворе поговоркой господского кучера.)

В атмосфере московского балагурства у Батюшкова немного приподымалось настроение. Тем более что автора «Видения на брегах Леты» уже почитали за одного из первейших «ратоборцев» против литературного староверства и рутинерства...

«Батюшков — невысокого роста, строен и чрезвычайно приятной наружности,— читаем в неопубликованном дневнике современника,— глаза у него были чудного голубого цвета, волосы курчавы, губы довольно большие, сладострастные. Он всегда отлично одевался, любил даже рядиться и был педант в отношениях моды. Говорил он прекрасно, благозвучно и был чрезвычайно остроумен...»[24]

Среди многолюдных московских забав 1811 года особенно выделялся карусель, устроенный с 20 по 25 июня. Это была рискованная конская игра, устроенная в подражание средневековым турнирам и в память о «славнейшем каруселе», данном Екатериной II в 1766 году. Карусель долго готовился московским благородным обществом. «Член кавалерского карусельного собрания» В. Л. Пушкин выпустил по этому случаю специальную брошюру «О каруселях», где добросовестно описал все существовавшие ранее карусели, начиная от богини Цирцеи и богатырских поединков князя Владимира. «Вестник Европы», захлебываясь от восторга, описывал «великолепное зрелище каруселя»: «Благородные рыцари показывали искусство свое в верховой езде, меткость рук и уменье управлять оружием. Богатый убор церемониймейстеров и кавалеров, устройство кадрилей, порядок шествия, самые игры, восхитительные звуки четырех хоров военной музыки — все это выше всякого описания, все это достойно обширности, многолюдства и пышности древней столицы величайшей в мире империи».

Батюшков отнесся к этому зрелищу гораздо более прозаически. В «Прогулке по Москве» он заметил: «Карусель, который стоил столько издержек, родился от скуки». В письме к Гнедичу — заметил то, что не заметили восторженные журналисты: «У нас карусель, и всякий день кому нос на сторону, кому зуб вон!» (III, 123).

Батюшков «живет на ветер» — и одновременно скучен... Московские друзья пытаются расшевелить его, тем более что между ними и Батюшковым устанавливаются уже самые доверительные отношения. Вот характерная записка, относящаяся к лету 1811 года. Вяземский и Жуковский, живущие вместе с Карамзиными в Остафьеве, приглашают Батюшкова, неизвестно почему застрявшего в Москве.

«Не забудь, брат, что ты поклялся возвратиться к нам в пятницу, а теперь уже суббота на улице: это не годится. Скажи подателю письма, когда приехать к тебе дрожкам, карете, телеге, возку, лодке и проч. и проч. Жуковский со дня твоего отъезда ничего не написал, кроме того, что ты видишь на этом листе. Приезжай ради бога, ради арака, ради рака! всё без тебя плачет! Приди, уйми вопли жалостного Сословия!»

Далее Жуковский и Вяземский начинают ерничать и отпускают шуточки, возможные только при самом тесном дружестве. Начинает Вяземский: «Жуковский пердит без всякой милости, и он вчера за чаем не мог удержаться не пернуть при К⟨атерине⟩ А⟨ндреевне Карамзиной⟩. В извинение сказал он, что думал о тебе». Жуковский принимает эту версию и тут же набрасывает экспромт:

Так, мой друг, всегда пердится,
Лишь на память ты придешь!
Лишь в душе возобновится,
Как ты смотришь, ходишь, врешь;
Как пускаешь ртом и носом
Ты густой табашный дым;
Как тебя молокососом,
Скоморохом площадным
И Парнасскою козявкой
Величал Парнасский князь.
Приезжай, иль, рассердясь,
Заколю тебя булавкой![25]

Батюшков, Жуковский, Вяземский... Как они все-таки молоды, как веселы, как еще беззаботны! Через год начнется война, и будет разрушена Москва, и сгорит московский дом Вяземских, и будет уже не до «блестящих каруселей», и не будет уже места бесцеремонному острословию... Жаль, однако!

Кстати, Батюшков, кажется, так и не приехал тогда в Остафьево...

Батюшков — Гнедичу, 6 мая 1811, Москва:

«Я скоро еду... куда? — и сам не знаю. Но ты, мой друг, по обычаю древних, поклонись усердно своему пенату, вылей перед ним капли три помоев чайных, либо кофейных, увенчай его, за недостатком дубовых листьев, листами Анастасевичева журнала[26] — и может быть, я явлюсь к тебе, неожидан-

ный гость... А пока я очень скучен, друг мой. Ах, если б ты мог читать в моем сердце!» (III, 123 — 124).

В начале лета у Батюшкова кончились деньги: и снова ему не до Кавказских вод и не до Петербурга, снова не миновать родового имения! В конце июня он отправился в Хантоново. Все шло как будто по заведенному кругу...

ПЕНАТЫ

Из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу, июль 1811, Хантоново:

«Любезный Николай, я пишу к тебе из моей деревни, куда приехал третьего дни. Надолго ли — не знаю. Но теперь решительно сказать могу, что отсюда я более не поеду в Москву, которая мне очень наскучила. В последнее время я пустился в большой свет: видел все, что есть лучшего, избранного, блестящего; видел и ничего не увидел, ибо вертелся от утра до ночи, искал чего-то и ничего не находил. ...Одним словом, я решился ехать в Питер на службу царскую. Теперь вопрос: буду ли счастлив, получу ли место, кто мне будет покровительствовать? Признаюсь тебе, я желал бы иметь место при библиотеке, но не имею никакого права на оное» (III, 131 — 132).

Гнедич, так настойчиво приглашавший Батюшкова в Петербург, так долго искавший ему приличествующего места,— теперь уже решительно отказывался понимать его! Два с лишним года не может устроиться на службу,— а в каждом письме твердит о своем желании служить! Сколько было об том хлопот: и князь Гагарин, и Оленин, и все друзья. Да что говорить: когда в последний момент, когда все уже улажено было,— этот ветреник все бросал и убегал в Москву; не служить, нет! — а проматывать те жалкие крохи, что завалялись в карманах, что сумел с грехом пополам собрать со своего заложенного и перезаложенного имения! Он все жалуется: денег нет! Так ведь на то, сударь, и служба, чтоб деньги-то зарабатывать... На кой ляд просиживать в деревне, разъезжать семо и овамо, дожидаясь четырех тысяч оброку? За эти деревенские полгода можно бы в Петербурге заработать еще две тысячи — а уж эти-то четыре никуда не денутся!

Леность, сударь,— вот причина. В канцелярии ему не служится, «между челяди, ханжей и подьячих». Он не желает быть «расставщиком кавык и строчных препинаний»... Что же, вас сразу в тайные советники произвести? Подавай вам библиотеку — как будто это так просто! Положим, Алексей Николаич Оленин в вас души не чает и место устроит... Но можно ли поручиться, что через полгода вам снова не наскучит?..

Он сам не знает, что хочет! Тут же пишет: «Батюшков был в Пруссии, потом в Швеции... почему ж Батюшкову не быть в Италии?..» Возжелал, чудак, в края Тасса, которого, между прочим, сам стыдится переводить! «Дипломатика» его влечет, видите ли... Да эдакое местечко для неслужащего да для невыученного невозможно ни при каких связях! Желающих много... В Италию, хоть в Китай!.. Да что ты там делать-то будешь, в Китае-то? Опомнись, повеса!..

Так (или почти так) рассуждал Гнедич, но, принявши на себя роль батюшковского «няньки» и страстно любя непутевого своего друга,— нечего делать: начал хлопотать о месте в библиотеке...

А Батюшков, живя в деревне, находится в извечном противостоянии двух чувств, переходя от хандры к душевной бодрости, от лености к деятельности. Он то лежит на диване, то занимается хозяйством, читает философские сочинения, пробует опять переводить с итальянского. В его душевном состоянии апатия и неверие в жизнь вдруг сменяется уверенностью в своих силах — и тогда он вновь взывает к мечте, и тогда в нем кипят необъятные творческие замыслы.

Вот отрывки из двух писем Батюшкова к Гнедичу, написанных одно за другим в августе 1811 года. В одном — концентрированное выражение сердечной и душевной усталости: «Я — мечтатель? О, совсем нет! Я скучаю и, подобно тебе, часто, очень часто говорю: люди все большие скоты, и аз есмь человек... окончи сам фразу. Где счастье? Где наслаждение? Где покой? Где чистое сердечное сладострастие, в котором сердце мое любило погружаться? Все, все улетело, исчезло вместе с песнями Шолио, с сладостными мечтаниями Тибулла и милого Грессета, с воздушными гуриями Анакреона. Все исчезло! И вот передо мной лежит на столе третий том «Esprit de l'histoire» par Ferrand, который доказывает, что люди режут друг друга за тем, чтоб основывать государства, а государства сами собою разрушаются от времени, и люди опять должны себя резать, и будут резать, и из народного правления всегда родится монархическое, и монархий нет вечных, и республики несчастнее монархий, и везде зло... и еще бог знает что такое! Я закрываю книгу. Пусть читают сии кровавые экстракты те, у которых нет ни сердца, ни души» (III, 136).

В следующем письме — противоположное настроение. Гнедич жалуется на людей и на свои гонения, а Батюшков берется его утешать: «...поэзия, сие вдохновение, сие нечто *изнимающее* душу из ее обыкновенного состояния, делает любимцев своих несчастными счастливцами. И ты часто наслаждаешься, потому что ты пишешь, и ты смотришь на мир с отвращением, потому что пишешь» (III, 140 — 141).

Батюшков ощущает себя «несчастным счастливцем» и потому в

деревенском покое своем обращается к «маленькому» своему сердцу и взывает к «маленькому» счастью.

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Все утвари простые,
Все рухлая скудель...

Это поэтическое описание «смиренной хаты», обители поэта, как это ни странно, очень точно передает действительную обстановку хантоновской усадьбы. Старый, расшатанный («треногой») письменный стол, упоминаемый в письмах Батюшкова. «Выписные» (а не привезенные с собою) книги. Кухонная утварь, чрезвычайно простая, домашней работы, глиняная («скудельная»). Романтический «меч прадедов» — и тот «полузаржавый» и «тупой» — за ненадобностью... Эту смиренную обитель, затерянную в новгородских лесах, охраняют непременно «Лары и Пенаты», боги домашнего очага. Под их охраной все — и счастие, и наслаждение, и покой...

«Мои Пенаты. Послание к Жуковскому и Вяземскому». Это хрестоматийное стихотворение Батюшкова было написано в Хантонове осенью 1811 года. Оно находится в непосредственной связи с перепиской Батюшкова и Вяземского, ставшей особенно активной этой осенью.

В сентябре 1811 года повеса Вяземский решил жениться. Избранницей его стала красивая и состоятельная княжна Вера Федоровна Гагарина. Княжне Гагариной предстояло стать княгиней Вяземской, и в Москве готовилось шумное торжество по этому поводу.

БАТЮШКОВ: Ты женишься? Я этому верю и крепко не верю. Но так как в нашем мире ничего чудесного нет и не бывало, и то, что нам кажется странным, даже необыкновенным, через год — что я говорю? — через месяц покажется простым, даже необходимым, то я и заключаю, что ты, мой чудак, можешь жениться, народить детей и с ними в хорошую погоду прогуливаться по булевару... (III, 143).

ВЯЗЕМСКИЙ: Я получил, любезнейший друг, твое письмо, где ты веришь и не веришь, что я женюсь. Перестань колебаться и брось якорь уверения. ...Вот каково, Константин Николаевич, мы переходим на степень людей солидных; дескать, простите, развратные ужины, уж теперь твой друг

не будет «*в забавах Геркулеса, в объятии Венер, за полночь время тратить до самого утра*», нет, полно! Теперь приезжай ко мне учиться нравственности и семейственным добродетелям.

БАТЮШКОВ: Впрочем, если б ты женился, даже вздумал сделаться монахом или издателем «Русского Вестника», и тогда бы я не перестал тебя любить, ибо мне любить тебя столько же легко, сколько тебе удивлять род человеческий, живущий в белокаменной Москве... (III, 143).

ВЯЗЕМСКИЙ: Свадьба моя совершится в октябре месяце, и я до приезда твоего не буду венчаться. Если не хочешь с невестой нас уморить, то советую тебе не медлить!

БАТЮШКОВ: Но увы! Я поневоле должен читать моего Горация и питаться надеждою, ибо настоящее и скучно, и глупо. Я живу в лесах, засыпан снегом, окружен попами и раскольниками, завален делами... (III, 146).

ВЯЗЕМСКИЙ: Будь здоров, люби меня и в доказательство того и другого приезжай скорей в Москву. Здесь чрезвычайно весело, красавиц много, дураков еще более.

БАТЮШКОВ: Я часто мыслию переношусь в Москву, ищу тебя глазами, нахожу и в радости взываю: «Се ты, се ты, супруг, семьянин, в шлафроке и в колпаке, поутру за чайным столиком, ввечеру за бостоном! ...Я начинаю верить влиянию кометы, и ты тому причиною (III, 147).

ВЯЗЕМСКИЙ: Жуковский будет на сих днях в Москву, неужто ты захочешь перещеголять его и прожить еще долее в деревне? Перещеголяй его в стихах, в трудолюбии, позволяю, но в этом сохрани тебя боже!.. Приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай,— ейбогу, не умею ничего сказать лучшего.

БАТЮШКОВ: Будучи болен и в совершенном одиночестве, я наслаждаюсь одними воспоминаниями, а твое письмо привело мне на память и тебя, и Жуковского, и наши вечера, и наши споры, и наши ужины, и все, что нас веселило и занимало... Так, любезный мой шалун, не увижу тебя в халате, нет, судьбы иначе гласят: будь болен, сиди сиднем, а что еще хуже, поезжай в Питер, гляди на Славян и Варягов, на Беседу, на Академию и черт знает на что! (III, 152 — 153).

ВЯЗЕМСКИЙ: Без шуток, пора, пора в Москву:

Мой друг! с полей Амурам вслед
Погнались ласточки толпами;
Эол, предвестник сельских бед,
Шумя, парит под облаками,
Дриады скрылись по дуплам,
И разукрашенная Флора,
Воздушного не слыша хора,

В печали бродит по садам.
Спеши скорей в Москву, ленивец,
Счастливый баловень Харит,
Парнаса, Пафоса любимец,
Спеши, Философ-Сибарит!
Тебя веселье призывает
И дружба с нежностью зовет!
А тот... кто зва их не внимает,
Тот счастья вечно не найдет!
Пока еще лелеет младость,
Повеселимся, милый мой!
Пускай венки плетет нам радость,
Пока не прибрела с клюкой
Плешивая дочь ада, старость,
С подагрой, с святцами в руках
Или с твореньями Шишкова,
С сухой площадкой на грудях
И с жалкой рожею Хвостова[27].

Батюшков не может утвердительно ответить на бесчисленные приглашения Вяземского. У него действительно «хлопот выше ворот». Тут не до дружеских свадеб и не до поездок увеселительных. На пути опять встает сатана, имя которому — деньги. Платить, платить, платить... Платить долги, платить заклады по имению, платить ревизские, платить подушные, платить прогонные... Платить за обеды, за наряды, за увеселения, за отдохновения от трудов и за самые труды... Лишь воспоминания приходят безденежно.

Для Батюшкова поездка в Москву оказывается невозможной... С таким же успехом он может пригласить Жуковского и Вяземского в свою северную деревню — что он и делает в стихотворении «Мои Пенаты»:

Друзья мои сердечны,
Придите в час беспечный
Мой домик навестить,
Поспорить и попить!..

Это поэтически условное приглашение оказывается для Батюшкова существенно важным в контексте его стихотворения. «Мои Пенаты» — своеобразный гимн тем краям и тем «веселиям», которые всегда останутся Батюшкову, что называется, «на худой конец»,— куда бы ни отправился он в своих скитаниях. Боги — хранители домашнего очага — влекут к себе поэта и водят его пером. Старый материнский и дедовский дом с «треногим» столом и скрипучими половицами становится местом, где скуку сменяет наслаждение, а досуг — творчество... Именно в смысле представления конкретного «дома», а не условного «приюта» послание Батюшкова и отличается от его литературных источников — «Моим пенатам» Дюси и «Обитель» Грессе.

Представление о «родном доме» вообще и о «поэзии Дома»

в частности было у Батюшкова очень своеобразным. В одном из поздних писем его находим характерную фразу: «...Ничего не хочу, и мне все надоело. Жить дома и садить капусту я умею, но у меня нет ни дома, ни капусты: я живу у сестер в гостях, и домашние дела меня замучили...» (III, 438). Здесь что ни слово, то противоречие. Фраза «у сестер в гостях» не соответствует действительности: основным владельцем Хантонова был сам Батюшков (кроме того, сестер в то время, когда писались эти строки, вовсе не было в деревне). «Садить капусту» (в расширенном, горацианском смысле) Батюшков не умел: стихия «мирного труда» быстро ему докучала. Украшая свою усадьбу, он всегда осознавал, что это «*прелесть...* для проходящих» (III, 450).

Поэтический образ Дома, отмечает советский исследователь Ю. М. Лотман, был очень характерен для русской литературы XIX века. «В жизни дворянского ребенка Дом — это целый мир, полный интимной прелести, преданий, сокровенных воспоминаний, нити от которых тянулись на всю дальнейшую жизнь»[28].

В отношении к Дому очень характерно различие Батюшкова и адресатов его послания «Мои Пенаты». О Вяземском говорить трудно: он князь, владелец богатого московского дома и «сказочного» Остафьева. Но насколько отличается Батюшков от близкого ему по имущественному и социальному положению Жуковского!

В детстве Жуковский и Батюшков были в равной степени наделены «поэзией Дома». Оба они рано лишились родителей (Жуковский — отца, Батюшков — матери); оба приблизительно в одном возрасте были удалены от Дома на «пансионное» воспитание. Но если в двадцатилетнем возрасте Жуковский начинает строить свой «домик» в Белеве, то Батюшков в двадцатилетнем возрасте уходит, вопреки воле отца, в Прусский поход и с этого времени навсегда порывает связи с Домом. В жизни Жуковского важное место занимали родственные связи и обязанности: именно они во многом определяли его поступки. Батюшков никогда не ставил свою жизнь и личность в зависимость от родственных отношений, и многие его решения были приняты вопреки желанию и намерениям родных (отца, сестер, зятя), даже несмотря на их активное сопротивление.

Дом для Жуковского — крепость и опора: «Я переселился в Белев; в свой дом; вся наша фамилия теперь живет у меня, следовательно, я не могу пожаловаться, чтобы вокруг меня было пусто; скучать могу еще меньше...» (из письма к Ф. Г. Вендриху, 19 декабря 1805 года)[29]. Батюшков, живя вместе с сестрами в Хантонове, пишет как раз о скуке, о невозможности «совершенного уединения» (III, 177): «...здесь, в пустыне, и ковчег Ноев — новость...» (III, 39), «К кому здесь прибегнуть музе?.. С какими людьми живу???» (III, 55) и т. п. Характерно, что это восприятие Жуковским Дома как «покойного приюта» является

предметом зависти Батюшкова. В письме к Жуковскому от 12 апреля 1812 года он не без оттенка удивления замечает: «...ты и жив, и здоров, и потихонечку поживаешь в своем Белеве, как мышь, удалившаяся от света» (III, 177). Послание «К Жуковскому», явившееся своеобразным продолжением «Моих Пенатов», также начинается весьма характерно:

Прости, Балладник мой,
Белева мирный житель!

Здесь два парафраза понятия «Жуковский» для Батюшкова, причем второй («Белева мирный житель») развертывается в содержании самого послания. Все послание «К Жуковскому» построено на противопоставлении авторского «я» (которое всегда у Батюшкова очень личностно) и «ты» адресата послания: «Ты счастлив средь полей» — «А мне... покоя нет!». Батюшков не может назвать себя ни «жителем Хантонова», ни «жителем Петербурга», ни вообще «мирным жителем»: он вечный скиталец и боец, живущий «в подлунном мире», стремящийся стать жителем какой-то части этого мира и обреченный на «новые мученья»...

Очень интересны «бытовые» проявления этого стремления Батюшкова. М. Я. Бессараб в книге о Жуковском указывает, например, что из всех друзей Жуковского только Батюшков посетил его дом в Белеве[30]. В биографии Батюшкова мы не нашли подтверждения этому факту, и, вероятно, это ошибка исследовательницы, но ошибка характерная: из литературного окружения Жуковского приехать к нему «просто так», «в гости», без практической цели, мог только Батюшков (как в 1814 году он на несколько дней заехал «в гости» к Д. П. Северину... из Парижа в Лондон, претерпев большие расходы и таможенные осложнения).

Вместе с тем эта житейская дисгармония приводила к особого рода поэтической гармонии, выделившей «Мои Пенаты» из цикла произведений, прославляющих радости «домашнего очага», каковых было много в русской поэзии конца XVIII — начала XIX века.

Основную идею «Моих Пенатов» Д. Д. Благой усмотрел в одном из ранних писем Батюшкова к Гнедичу: «Женимся, мой друг, и скажем вместе: «Святая невинность, чистая непорочность и тихое сердечное удовольствие, живите вместе в бедном доме, где нет ни бронзы, ни драгоценных сосудов, где скатерть постлана гостеприимством, где сердце на языке, где Фортуны не чествуют в почетном углу, но где мирный Пенат улыбается друзьям и супругам, мы вас издали приветствуем!» Не правда ли?» (III, 36). Но это всего лишь основная идея, «костяк» замысла.

Послание «Мои Пенаты» как будто соткано из противоречий и недоговоренностей. Дом, освященный Пенатами, существует лишь в мечте, в воображении, и потому

...к хижине моей
Не сыщет век дороги
Богатство с суетой...

Смысл этого поэтического лозунга явно двойной. С одной стороны, восклицает поэт, ему не нужно в своем доме ни «развратных счастливцев», ни «надутых князей»; с другой стороны, и сам хозяин «отеческих Пенатов» никогда не будет богат, и приятелем ему всегда будет лишь «убогой калека и слепой», а поэтическим орудием — «двуструнная балалайка»...

С одной стороны, автор «Моих Пенатов» готов помириться со скромной долей под охраной домашних богов, лишь бы его не покидали воспоминания о друзьях, вдохновение, и...

И ты, моя Лилета,
В смиренный уголок
Приди под вечерок
Тайком переодета!
Под шляпою мужской
И кудри золотые,
И очи голубые,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащ широкой,
Мечом вооружись
И в полночи глубокой
Внезапно постучись...
Вошла — наряд военный
Упал к ее ногам,
И кудри распущенны
Взвевают по плечам,
И грудь ее открылась
С лилейной белизной:
Волшебница явилась
Пастушкой предо мной!
И вот с улыбкой нежной
Садится у огня,
Рукою белоснежной
Склонившись на меня,
И алыми устами,
Как ветер меж листами,
Мне шепчет: «Я твоя...»

С другой стороны... не было этого! Батюшков сам потом признавался: ничего этого не было. В основе этой картинки — изощренная выдумка фантазера: возлюбленная (условная Лилета и Лила) является в военном наряде, чтобы чудесным образом превратиться в «пастушку». Батюшков ищет «волшебства», которое совершенно отделено от современности. В письме к Гнедичу от 7 ноября 1811 года (именно того времени, когда создавалось послание «Мои Пенаты») Батюшков называл себя человеком, «который на женщин смотрит как на кукол, одаренных языком, и еще язычком, и более ничем». «Я их узнал, мой друг,— пишет Батюшков,— у них в сердце лед, а в головах дым. Мало, хотя и есть такие, мало путных. Я тибуллю, это правда, но так,

по воспоминаниям, не иначе. Вот и вся моя исповедь. Я не влюблен.

Я клялся боле не любить
И клятвы, верно, не нарушу:
Велишь мне правду говорить?
И я уже немного трушу.

Я влюблен сам в себя. Я сделался или хочу сделаться совершенным *янькою*, то есть эгоистом. Пожелай мне счастливого успеха» (III, 149).

Поэтому Лила с ее «пламенными устами» появляется — и исчезает, как появляются и исчезают тени «любимых мне певцов». Тут и живые, и знакомые: Карамзин, Крылов, Вяземский, Жуковский, Державин, Дмитриев... И умершие: «парнасский исполин» Ломоносов, «воспитанник Харит» Богданович, «баловень природы» Хемницер... Живые рядом с мертвыми, ибо сама смерть воспринимается как новое «волшебство» и продолжение «мечты»:

Когда же парки тощи
Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут,—
Товарищи любезны!
Не сетуйте о нас,
К чему рыданья слезны,
Наемных ликов глас?
К чему сии куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над хладною доской?

Здесь что ни строчка, то литературное заимствование: «парки тощи» взяты из «погребальных» стихов С. С. Боброва,«наемных ликов глас» — из Державина («На смерть князя Мещерского»), «колокола вой» — из «Двенадцати спящих дев» Жуковского... Но Батюшков намеренно «снижает» мрачность смерти: эти мотивы в его послании звучат скорее весело:

И путник угадает
Без надписей златых,
Что прах здесь почивает
Счастливцев молодых.

Смерть для Батюшкова здесь — лишь гармоничный переход «в тот Элизий, где все тает чувством неги и любви». И все. Никаких богов, никаких псалмов, никаких колоколов, никаких надписей. Если жизненная «вечность» ничем не заполнена, то к чему она? Если не удается красиво жить, так не лучше ли красиво умереть,— тем более что и красивая жизнь и красивая смерть остаются в мечте? Своеобразная жизненная гармония достигается сочетанием несочетаемого.

Это видимое противоречие между идеальным и действительным становится осознанным стержнем всей стихотворной структуры послания «Мои Пенаты». Его заметил (и его не понял) еще Пушкин, отметивший в стихотворении Батюшкова «слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни». И далее: «Музы существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но *норы* и *келии*, где Лары расставлены, слишком переносят нас в греческую хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином Суворовского солдата с двуструнной балалайкой»[31]. Эти противоречия отмечал и Вяземский, приславший в письме от 1 мая 1812 года подробный разбор «Моих Пенатов». Вот отрывки из этого разбора:

«О *пестуны* мои!

Слово слишком государственно-секретарское, чтобы находиться в такой пиесе и особливо после слова *Пенатов,* которое совершенно басурманское, и слишком похожее на другое, так что, читая однажды даме, у меня вырвалось: о пердуны мои! ...

В стихах о Ломоносове неприличен эпитет *исполина*, по двум причинам. Ломоносов, во-первых, такой же исполин, какой Шаликов умница; он написал несколько прекраснейших строф, и только, а во-вторых, потому, что после сравниваешь ты его с лебедем.〈...〉

Важных муз.

Еще хуже: *строгих муз.* Музы никогда не думали пугать и никогда не хотели быть ни Екатериной Владимировной Апраксиной, ни Настасьей Дмитриевной Афросимовой!»[32]

Но вслед за указанием этих «противоречий» Пушкин замечает: «Это стихотворение дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения — слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна». Ему вторит и Вяземский: «Браво! Браво! стихи твои прекрасны!..»

А Батюшков не учел ни одного из приведенных Вяземским замечаний. «Пенаты» рядом с «пестунами», «исполин» рядом с «лебедем», а мифологические образы льются с двуструнной балалайки суворовского солдата... Эти противоречия создают единство и гармонию. Поэтому не случайно это послание Батюшкова приобрело огромную популярность: в особенности у поэтов. Оно тут же вызвало ответные послания Жуковского («Сын неги и веселья...») и Вяземского («Мой милый, мой поэт...»), написанные размером «Моих Пенатов» и подхватывавшие их основные мотивы. Батюшкову подражал Денис Давыдов в послании «Другу-повесе» (1815). Грибоедов и Катенин ополчились против него в комедии «Студент». Лицеист Пушкин в подражание «Моим Пенатам» написал стихи «К сестре» и «Городок», а в стихотворении «Выздоровление» вывел образ девы «в одежде

ратной». Самый размер послания — трехстопный ямб — стал после Батюшкова чрезвычайно популярен в русской поэзии...

А «противоречие» заключалось в том, что Батюшков жил как писал и писал как жил: сразу на двух полюсах, переходя от радости к хандре, от скуки — к деятельности, от действительности — к мечте. И везде оставался самим собою.

Глава пятая. ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД

Россия, бранная царица,
Воспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!

А. С. Пушкин. Наполеон

В январе 1812 года Батюшков отправился из Хантонова в Петербург, дабы устроиться на службу при Императорской публичной библиотеке.

ЯНВАРЬ — ИЮНЬ

Батюшков уехал в Петербург. Вяземский, в течение полугода в каждом письме приглашавший его в Москву, обиделся и написал сердитое письмо, которое, верно, отправил с оказией, потому что адрес не совсем обычен:

«Повесе Батюшкову,
дурному баснописцу Батюшкову,
раненному в ж... герою Батюшкову,
по некоторым обстоятельствам Тибуллу Батюшкову,
не приехавшему в Москву, устрашенному угрозами Шаликова, Батюшкову, написавшему какое-то славное послание к Жуковскому и Вяземскому, о котором все известны, кроме Жуковского и Вяземского, Батюшкову,

Пипиньке Батюшкову,
Стереотипу Батюшкову,
Блёстке Батюшкову».

Это письмо — одна из последних довоенных шалостей «парнасского князя» — настолько ярко характеризует бытовую и литературную петербургскую атмосферу, что есть резон привести его целиком:

«Ага, вы в Петербурге, почтеннейший Певец чужих Элеонор, милостивый государь Парни Николаевич! в Петербурге! поздравляю вас! В столице роскоши, чухонцев, эстляндцев, изобретений вкуса, в той славной столице, в которой Великий Росс хотел сделать нас немцами, а Великая Немка хотела сделать нас русскими!

Вы можете раз в месяц сидеть с важностью в «Беседе» и слушать, не платя ни гроша за вход, как Захаров[1] доказывает превосходство женщин над мужчинами тем, что почтеннейшая наша прабабка Эва сотворена из ребра Адама Саваовича, а почтеннейший наш прадед Адам Саваович — только из персти; хотя, однако ж, где-то сказано, и, кажется, в Священном писании, что этот Саваович, каков ни был, а сделан, однако ж, на образ божий был,— но это безделица! А что всего приятнее, вы, как говорят, можете запивать подобные тому истины чаем с сухарями или клюквенным морсом, приготовленным кухаркою знаменитого творца «Песни на зиму»[2], известной многими подобными стихами: «А как матки, придут святки, тут-то грохот, смехи, хохот! О какие, тут дурные, есть личищи, на игрищи!»

Можете из первых рук узнавать посредством «Северной почты», сколько было градусов мороза в Тамбове и что скоро можно будет нам совершенно обойтись торговли с прочими европейскими народами, ибо мы у них, начиная с сургуча, все уже переняли. «Кроме ума и славы, однако ж!» — возразит мне кто-нибудь! Быть может, но, во-первых, эти безделицы не нужны для нас, православных русских, а далее, они на фабриках не выделываются, следственно, мы и не виноваты.

Имеете случай видеть толпу молодых и старых Анакреонов и даже Сократов (если верить Пирону в известной его оде к Приапу), и за рубль серебром, или много-много за синенькую бумажку, возможность быть сами Анакреоном, что, как ни говори, а весьма приятно![3]

Стоит вам только свистнуть, и Гении прожектов и трагедий осенят вашу голову бессмертными своими крылами, одни обвешанные Владимирскими крестами, другие — печатными похвалами Анастасевича. Стоит только приложиться к виску Висковатова[4], и на целый год достанет в вас духа и телесных сил для перетаскивания Кребильона, Вольтера и Расина! Стоит только приложиться к хвосту Хвостова, и вы в неделю напишете более од, чем находится ошибок против вкуса, языка и здравого смысла в шести стихах князя Шаликова. Стоит только очинить перо свое кортиком князя Шихматова, и подобные его шахматным стихам будут сами ложиться на бумагу вашу. Стоит только подавить немного шишку Шишкова, и священные ее отпрыски, окропивши чело ваше, переродят вас совершенно!

Можете и, как я слышал, в самом деле вступаете в святилище Императорской библиотеки (святилище тем священнее, что никто до него, ни даже сам обладатель, не

дотрогивается) и, без сомнения, займете место между отличнейшими Стереотипами.

Вы можете, по прекраснейшим вашим способностям к ремеслу Лафонтена, найти множество богатых предметов для сочинения басен: Станевич[5], почитающий себя за Юнга потому, что и он копается около гробов, может вам подать мысль написать басню об осле, равняющем себя с конем, потому что и он стоит в конюшне; или Шишков, ругающий всех и почитающий себя за то Лагарпом, не послужит ли вам основою для басни о корове, которая равняет себя также с конем, потому что она, как и он, брыкает![6]»

Батюшков отвечает всерьез:

«Признаюсь тебе, любезный друг, что наши питерские чудаки едва ли не смешнее московских. Ты себе вообразить не можешь того, что делается в Беседе! Какое невежество, какое бесстыдство! Всякое лицеприятие в сторону! Как? Коверкать, пародировать стихи Карамзина, единственного писателя, которым может похвалиться и гордиться наше отечество, читать эти глупые насмешки в полном собрании людей почтенных, архиереев, дам и нагло читать самому!.. Я же с моей стороны не прощу и при первом удобном случае выведу на живую воду Славян, которые бредят, Славян, которые из зависти к дарованию позволяют себе все, Славян, которые, оградясь щитом любви к отечеству (за которое я на деле всегда готов был пролить кровь свою, а они чернила), оградясь невежеством, бесстыдством, упрямством, гонят Озерова, Карамзина, гонят здравый смысл и — что всего непростительнее — заставляют нас зевать в своей Беседе от 8 до 11 часов вечера» (III, 217).

Московские споры и московские знакомства Батюшкова не прошли даром: в Петербург он возвращается писателем «карамзинской» ориентации и не очень спешит входить во вновь открывшуюся «Беседу любителей русского слова» (которой, в целом, сочувствовал оленинский кружок). Он остается несколько в стороне от старых литературных связей — но заводит новые: вокруг него оказываются даровитые молодые люди с литературными наклонностями.

Батюшков — Жуковскому, 12 апреля 1812, Петербург:

«И я умер бы от скуки, если б не нашел здесь Блудова, Тургенева и Дашкова. С первым я познакомился очень коротко, и не мудрено: он тебя любит, как брата, как любовницу... Тургенев тебя ожидает нетерпеливо и в ожидании твоего приезда завтракает преисправно... Дашков имеет большие сведения, и притом ленив, как и наш брат... Приезжай сюда, мой милый друг! Мы тебя угостим и бифстексом, и Беседой, которая ни в чем не уступит московской богадельне стихотворцев, учрежденной во славу бога Мор-

фея и богини Галиматьи, которым наши любезные товарищи приносят богатые и обильные жертвы» (III, 178).

Все они друзья Жуковского еще по Московскому университетскому пансиону. Все они — «дилетанты в литературе и в жизни» (П. А. Вяземский). Дмитрий Васильевич Блудов — «ослепительный фейерверк ума» (III, 468); Дмитрий Васильевич Дашков — знаток французской литературы и остроумный критик. Александр Иванович Тургенев — либерал и добрейшая душа, помогавший всем и вся и писавший несметное количество писем к братьям и друзьям, знакомым и незнакомым, к ученым и просителям, к государственным деятелям и к дамам всех возрастов...

Тургенев уезжал по делам в Москву, и Батюшков передал через него приветы возлюбленным им москвичам...

Из письма Е. Ф. Муравьевой к К. Н. Батюшкову, 6 марта 1812:

«...Я благодарила за тебя Александра Ивановича, который мне сказал, что он уверен, что ты пойдешь в службу; итак, я от всей души моей желаю и надеюсь, что оно будет к твоему благополучию. Ты так еще молод, что, конечно, очень много можешь найти службою, и сверх того можешь быть полезен»[7].

Со службой в библиотеке дело долго не улаживалось: не было места. А. Н. Оленин, однако, обещал — и Батюшкову оставалось ждать вакансии. Жил он у Гнедича, здоровье его было удовлетворительно — и он не утрачивал светлого и покойного расположения духа.

Обжившись в Петербурге, он вновь стал посещать заседания «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», где председательствовал баснописец и журналист Александр Измайлов. Туда вошли, оживив деятельность общества, и Блудов, и Дашков, и Северин. Однако уже при первых попытках оживления «Вольного общества...» возник скандал. Кто-то из членов предложил к избранию в общество графа Дмитрия Ивановича Хвостова, имевшего устойчивую репутацию бездарного графомана, ставшего мишенью издевательских шуток и эпиграмм. Член «Беседы», Хвостов выдвигался в почетные члены «Вольного общества...».

Д. В. Дашков попросил позволения сказать новому почетному члену приветственную речь, которую и произнес 14 марта 1812 года. В речи этой, сразу же получившей известность, Дашков с жестокой иронией осмеял несчастного графа,— а сама ирония была заключена в форму похвалы, что еще более увеличивало ее пародийную направленность[8]. Общество было оскорблено дашковскими двусмысленностями и потребовало исключения «насмеш-

ника» из своих членов. Вместе с Дашковым из «Вольного общества...» вышли Блудов, Северин и Батюшков...

Батюшков с достоинством сообщил об этом Вяземскому: «На развалинах словесности останется один столп — Хвостов, а Измайлов из утробы своей родит новых словесников, которые снова будут писать и печатать. Это мне напоминает о системе разрушения и возобновления природы» (III, 185). Вяземский неожиданно возмутился: «И ты вдался в петербургскую глупость? И ты на коленах перед Дашковым, речь его на Хвостова тебя восхищает. А эта речь дерзость и глупость. Остроты в ней нет, подлости много. *Лежачего не бьют*. Что за мудрость обругать старика, который, хотя и дурно пишет и нимало не заслуживает никакого внимания,— пусть его пишет!.. Но такая пиеса, как Дашкова, вами боготворимого, может подействовать на ваши умы, и не с хорошей стороны. После того вы уже пойдете по улицам показывать голые ж... прохожим. Что за пажеские шутки такие, Батюшков! Батюшков! Что с тобою стало? ...Ты вовсе избалуешься».

Зато Дашков — на коне:

«**Дашков Батюшкову здравия желает.**
Я нынче целый день микстуру принимаю,
Которой принимать тебе я не желаю.
Приди и посети меня, любезный друг!
Собой одушеви мой изнемогший дух.
Один я на софе — над мной призрак унылый:
И Жихарева бред Дашков внимает хилый.
Приди — и насладись; блистает в чашках ром,
Присутствием твоим украсится мой дом.
10 апреля, а не 1-го (1812)»[9]

Встречаются, острят, спорят, обижаются и обижают, пьют ром — немного им осталось. На дворе весна 1812 года. На небе распласталась знаменитая комета, которая, как заметил Батюшков, имеет некоторое действие на человеческие судьбы. «Влияние кометы» всех занимает — и все боятся думать о чем-то плохом... У русской границы сосредоточивается шестисоттысячное войско Наполеона Бонапарта.

В апреле открылась, наконец, вакансия в Императорской библиотеке. Оставил должность хранитель манускриптов старик Дубровский, его заместил помощник его А. И. Ермолаев, а Батюшков 22 апреля был принят на должность помощника хранителя манускриптов[10].

Рядом с Батюшковым — Гнедич, Крылов, молодой Сергей Уваров. Его начальник Ермолаев — страстный палеограф и трудолюбивый ученый: при нем новоявленному помощнику отнюдь не обременительно. Возле Гнедича собирается маленький кружок при-

ятелей-литераторов: Михаил Милонов, Павел Никольской, Михаил Лобанов, Николай Греч...

Н. Л. Батюшков — сыну, 31 мая 1812 г., Даниловское:

«Каждая почта приходит с пустыми руками, что меня убивает. Как можно, люб⟨езный⟩ сын, не уделить тебе в неделю 1/4 часа, чтоб уведомить меня, все ли ты здоров и благополучен. Но мне скучно уже говорить то же и то же. Сколько раз я тебя о сем просил. Но все понапрасну...»[11]

К. Н. Батюшков — сестре Александре, июнь 1812, Петербург:

«Я не писал к тебе, потому что переезжал на новую квартиру и живу теперь в доме Балабина, возле Императорской библиотеки, напротив Гостиного двора. Квартира моя очень хороша; я купил мебелей и цветов и теперь живу барином» (III, 191).

В новой квартире Батюшкову, однако, не удалось надолго устроиться. 12 июня Наполеон перешел границу России.

ВОЙНА

Снова в жизнь Батюшкова вторгалась война. Правда, теперь война становилась судьбой всей России.

П. А. Вяземский. Воспоминания о 1812 годе:

«Никто в московском обществе порядочно не изъяснял себе причины и необходимости этой войны; тем более никто не мог предвидеть ее исхода... В начале войны встречались в обществе ее сторонники, но встречались и противники. Можно сказать вообще, что мнение большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этою войною, которая таинственно скрывала в себе и те события, которыми после ознаменовала она себя. В обществах и в Английском клубе... были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило, о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск вовнутрь России. Но все это не выходило из круга обыкновенных разговоров, ввиду подобных же обстоятельств. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось почти в их глазах»[12].

Известие о вступлении Наполеона не было воспринято как что-то очень уж страшное. Армия уже отходила от Дрисского лагеря, уже был сдан Витебск и приближалась смоленская трагедия,— а «невоенное» петербургское общество еще разъезжа-

ло по подгородным дачам, и никто думать не хотел, чтобы неприятельское нашествие распространилось далее Западной Двины и Днепра. Общественные толки были весьма легкомысленны: одни требовали непременных наступательных действий, другие уповали на благоразумные уступки императора. Даже когда Александр I объявил в своем манифесте, что не сложит оружия, пока в России не останется ни одного неприятельского солдата,— общественное воодушевление на первых порах ограничилось лишь гонением на галломанию и рассуждениями о вредности иностранного влияния на русскую образованность. Тот же Вяземский хорошо объяснил это явление: «Мысль о сдаче Москвы не входила тогда никому в голову, никому в сердце. Ясное понятие о настоящем редко бывает уделом нашим: тут ясновиденью много препятствуют чувства, привычки: то излишние опасения, то непомерная самонадеянность. Не один русский, но вообще и каждый человек крепок задним умом. Пора действия и волнений не есть пора суда»[13].

Из письма К. Н. Батюшкова к П. А. Вяземскому, 1 июля 1812, Петербург:

«Я еще раз завидую московским жителям, которые столь покойны в наше печальное время, и я думаю, как басенная мышь, говорят, поджавши лапки:

Чем, грешная, могу помочь!

У нас все не то! Кто глаза не спускает с карты, кто кропает оду на будущие победы. Кто в лес, кто по дрова! Но бог с ними!» (III, 193).

Батюшков, кажется, лучше многих понимал и опасность начавшейся войны, и возможные ее последствия. Как на грех, в середине лета, похожего, впрочем, более на осень, он подхватил жестокую лихорадку, которая более чем на месяц приковала его к постели.

13 июля разыгрался бой под местечком Островна — и русские войска отошли к Смоленску. Перестали выходить правительственные «Известия» о ходе военных действий. В русском обществе наконец умолкли пустые споры о войне как некоем «отвлеченном» вопросе. Дело шло о национальной самостоятельности России, и обеды в клубах потихоньку смолкли. Русские поднялись на защиту родной страны.

А. Н. Оленин. Собрание разных происшествий, бывших в нынешней войне с французами...:

«Посрамление жен и девок воинами Наполеона в храме божием и убиение тут же младенцев, из коих вырванная внутренность послужила им к украшению, в поругательство иконостаса и престола... Разбежавшиеся того селения крестьяне побивают за то французских пленных...

Отличная охота у французов — ставить лошадей в жилые дома, а самим становиться в конюшни, готовить кушанье в церквах, а не на кухнях.

Наказание русских русскому за то, что пошел в солдаты к французам: четыре француза были просто штыками убиты, а русского закопали живого.

Знаменитое слово русского солдата, который слушал увещевание начальника быть храбрым: «Что нас уговаривать быть бесстрашными! Стоит на матушку-Москву оглянуться, так на черта полезешь!»[14]

Батюшкову не везет: он ослаб от болезни и едва доходит до письменного стола, чтобы писать к Вяземскому.

БАТЮШКОВ: Если бы не проклятая лихорадка, то я бы полетел в армию. Теперь стыдно сидеть сиднем над книгою; мне же не приучаться к войне. Да, кажется, и долг велит защищать отечество и государя нам, молодым людям. Подожди! Может быть, и я, и Северин препояшемся мечами, если мне позволит здоровье, а Северину обстоятельства. Проворному не долго снаряжаться (III, 194).

ВЯЗЕМСКИЙ: Как жалею я, любезный мой друг, о твоей болезни, и в какое время! ...Выздоравливай скорее и примись за меч полузаржавый, и приди под наши знамена!

БАТЮШКОВ: Вчера Северин показывал мне твое письмо. Ты поручик! Чем черт не шутит! А я тебе завидую, мой друг, и издали желаю лавров. Мне больно оставаться теперь в бездействии, но, видно, так угодно судьбе. Одна из главных причин моего *шаликовства*, как ты пишешь,— недостаток в военных запасах, то есть в деньгах, которых здесь не найдешь, а мне надобно было тысячи три или более. Иначе я бы не задумался (III, 195).

ВЯЗЕМСКИЙ: Ты сказываешь, что денежные обстоятельства тебя связывают: дай мне знать, что нужно тебе, чтоб вырваться из Питера, и я тотчас доставлю,— потом приезжай в Москву как можно скорее, а там бог нам поможет, и гроши, которые я теперь имею, к твоим услугам... Дело славное! Качай!

Батюшкову пишет Сергей Михайлович Лунин (отец декабриста): приглашает «для поправления» совершать верховые прогулки вместе с его Катинькой, которая, кажется, к нему неравнодушна (хотя и троюродная сестра)[15]. Пишет Дашков, уехавший в родовое имение в Рязанскую губернию: советует исправно переводить Ариоста[16]. Северин остается при коллегии и намерен ехать послом в Англию. Батюшков по-прежнему болен и не может ни на что решиться...

Из Хантонова сестра Александра пишет суматошное письмо о несостоявшейся поездке в Вологду к сестрам: «Собравшись оста-

вить мою пустыню, за долг себе поставила взять с собою благословение наших родителей и, милый друг, твой портрет. В 20 верстах от Вологды получаю письмо от Вареньки, в котором извещает о благополучном известии, что Павел Алексеевич остается дома. Я не помню, чтоб когда-нибудь была столь обрадована, с слезами принесла молитву к Небу. ⟨Ты⟩ засмеешься, мой друг, когда скажу, что бывши в 20 верстах от города, несмотря на все беспокойства путешествия в дороге, а еще более при получении всечасно самых неприятных известий, я не решилась ехать в Вологду... Не имея больших денег, чем содержать взятых со мною людей, принуждена была ехать в Хантоново. Увидевши наши леса, пролила самые чувствительные слезы к Небу. Никогда наш сад до последней травки меня столь много не прельщал»[17]. Сестра суетится. Движение неприятеля к Москве обращает войну в личную грозу для всех и каждого. Батюшков успокаивает, как может: «Я здесь спокоен, ни в чем нужды не имею, а ты, мой друг, и нуждаешься, и хлопочешь, и за нас всех в огорчении» (III, 197). Из имений берут много рекрутов — Батюшков оставляет этот вопрос решить самим крестьянам...

Из Москвы пишет Е. Ф. Муравьева: она находится в бедственном положении. Незадолго перед войной она продала дом, живет на подмосковной даче. Французы близко. Она больна. Все ее оставили... «Катерина Федоровна,— пишет он сестре 9 августа,— ожидает меня в Москве, больная, без защиты, без друзей: как ее оставить? Вот единственный случай ей быть полезным!» (III, 197). Батюшков наконец откидывает все болезни и все сомнения. 14 августа он получает у Оленина отпуск — и едет к Муравьевым.

Он приехал в Москву за несколько дней до Бородинского сражения.

ВОИН БЕЗ ВОЙНЫ

С юности для Батюшкова было характерно неприятие лжи и фальши окружающего общества во всех их проявлениях — в особенности же в отношении к войне. Подводя в 1817 году итоги своих военных впечатлений, он замечает в записной книжке «Чужое: мое сокровище!» (запись от 3 мая 1817 года): «Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812, 13, 14 ⟨годов⟩, видел и читал газеты и современные истории. *Сколько лжи!*» Чтение «современных историй» о прошедшей войне комментируется им иронической цитатой из Вольтера: «И вот как пишут историю!» «Ложь» в представлении Батюшкова ста-

новится емким понятием: это общая система воззрений на войну и на подвиги в войне.

В качестве примера этой «лжи» Батюшков приводит «анекдот о Раевском», прославивший отважного генерала, у которого Батюшков позже был адъютантом. 23 июля 1812 года Н. Н. Раевский у деревни Салтановки Могилевской губернии героически атаковал корпус Даву, рвавшийся следом за уходившей армией Багратиона. Вот что писал об этом сражении советский историк Е. В. Тарле: «Когда в этой тяжкой битве среди мушкетеров на один миг под градом пуль произошло смятение, Раевский, *как тогда говорили и писали*, схватил за руки своих двух сыновей, и они втроем бросились вперед. Николай Николаевич Раевский был, как и его прямой начальник Багратион, любимцем солдат. Поведение под Дашковкой было для него обычным в тяжелые минуты боя»[18]. О стычке на Салтановской плотине действительно много «говорили и писали» в первые месяцы Отечественной войны, напирая особенно на то, что Раевский, как в свое время древние римляне, не пожалел во имя спасения отечества своих собственных детей... Красивая «картинка», которая действительно скоро стала «картинкой» — гравюрой, изображавшей генерала вместе с малолетними детьми (она была помещена под портретом Раевского). Раевский-«римлянин» попал и в стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов»:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

Касаясь этого эпизода в своей записной книжке, Батюшков выступает как мемуарист, передавая свой собственный разговор с Раевским, происшедший в 1813 году в Эльзасе. Раевский (в передаче Батюшкова) рассуждает о «карлах», сочиняющих небылицы о войне: «Из меня сделали римлянина, милый Бат⟨юшков⟩,— сказал он мне,— из Мил⟨орадовича⟩ великого человека, из Вит⟨генштейна⟩ спасителя отечества... Я не римлянин — но зато и эти господа — не великие птицы».

И далее: «Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на жертву детей моих». — «Помню,— отвечал я,— в Петербурге вас до небес превозносили».— «За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили Милорадови⟨ча⟩ и Остермана. Вот слава! вот плоды трудов!» — «Но помилуйте, ваше высокопр⟨евосходительство⟩! не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: «Вперед, ребята. Я и дети мои откроем вам путь ко славе», или что-то тому подобное». Раев⟨ский⟩ засмеялся: «Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились. Я обод-

рял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля прострелила ему панталоны; вот и все тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковс⟨кий⟩) воспел в стихах. Гравверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином».

Многие исследователи до сих пор сомневаются в правдивости этой записи Батюшкова: высказывают соображения о том, что поэта подвела память или слишком разыгралось воображение; указывают на некоторую логическую несуразность объяснения Раевского: если пуля прострелила ребенку панталоны, значит, стрелок находился не слишком далеко (если учесть тогдашние гладкоствольные ружья), значит, что-то здесь не так... Всегда трудно расставаться с красивой «картинкой».

Но вопрос здесь заключается не только в том, был или нет подвиг «римлянина» Раевского, но и в том, почему «анекдот о Раевском» возникает у Батюшкова именно в таком виде, а не иначе.

Батюшков очень умело вводит этот диалог с Раевским в общий контекст своего отношения к войне. Его установка принципиально отличается от установки «гравверов, журналистов, нувеллистов»: он не ищет «героя», а оценивает обстановку глазами рядового участника событий, «простого ратника». Прежде чем передать этот диалог, Батюшков приводит теоретическое суждение, в котором дважды повторяется французская цитата: «И вот как пишут историю!», вспомнившаяся «машинально, почему — не знаю». Далее Батюшков ссылается на какую-то заметку в газете «Северная почта»: отсылка неверная, так как Л. Н. Майков, специально просматривавший эту газету, никакого «анекдота о Раевском» там не нашел. Личность Раевского подробно представляется именно в бытовом аспекте: Батюшков, например, вспоминает его «американскую собачку — животное самое гнусное, не тем бы вспомянуть его! — и которое мы, адъютанты, исподтишка били, и ласкали в присутствии генерала...». Сам разговор поначалу идет в таком же «сниженном» плане (он именуется даже «болтаньем»): «Садись», «Хочешь курить?» и т. п. Затем Батюшков специально подчеркивает, что Раевский его любил и часто был с ним откровенен, и дает краткую, но выразительную характеристику генерала: «Он вовсе не учен, но что знает, то знает. Ум его ленив, но в минуты деятельности ясен, остер. Он засыпает и просыпается».

Рассказ о случае под Дашковкой начинается с теоретической посылки («Из меня *сделали* римлянина...»), которая практически доказывается опровержением знаменитого «римского» пос-

тупка: современники увидели в подвиге Раевского не то, что было в действительности, а то, что им хотелось увидеть, и тем самым исказили истинную картину не только частного случая войны, но и войны в целом.

Наконец, Батюшков дает обширное «противоположение», рассказывая «другой, не менее любопытный... анекдот о Раевском», которому он сам был свидетелем: поведение генерала во время Лейпцигского сражения. Характерно, что этот случай раскрывает тот же характер «римлянина», но с противоположным акцентом: никакой «красивости», никакого бессмысленного геройства, никакого «повторения» того типа отношений, которые были во времена Горациев и Куриациев.

Отношение русского общества к подвигу Раевского стало как бы концентрированным выражением «романтического» отношения к войне. Одно из первых печатных упоминаний о детях Раевского появилось в десятом номере «Русского вестника» за 1812 год. Этот номер, спешно составленный С. Н. Глинкой, вышел в августе, за несколько дней до Бородина, в тот период, когда Батюшков приехал в Москву. Там, на страницах семьдесят девять — восемьдесят один помещено патриотическое стихотворение самого Глинки «Стихи генералу Раевскому». Сами стихи не представляют особенного интереса: они написаны в духе традиционного классицистического «поздравления»,— но показательны два примечания к ним.

Примечание первое: «Никогда, никогда Русское сердце не забудет слов Героя Раевского, который, с двумя юными своими сынами став впереди Русских воинов, вещал: *«Вперед, ребята, за Веру и за Отечество! я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь»*.

Примечание второе: «Рассказывают, что, когда полки генерала Докторова (!) пришли на смену утомленных воинов генерала Раевского, сии последние сказали: «*Мы не устали; дайте нам биться; рады все умереть*!»

О знакомстве Батюшкова с этими примечаниями говорит хотя бы тот факт, что слова Раевского, приводимые Батюшковым,— это сокращенная цитата из того, что приводит С. Глинка.

Характерной чертой «романтического» отношения к войне стала та идеологическая установка, которая отражена в примечаниях. В основе их — идея непременной «жертвы» и «жертвенности» за отечество, причем жертвенность эта принимается лишь в исторически отстоявшейся форме античной, вненациональной «жертвенности» (вроде подвига Муция Сцеволы, сжегшего на огне свою руку, или трехсот спартанцев в битве при Фермопилах). Сама постановка вопроса при этом заостряется: война и интересы родины изменяют для Глинки привычные этические представления: «дитя» становится «жертвой»; отец, принося-

щий в жертву дитя,— «Героем» (в отличие от библейского Авраама); «смерть» оказывается «радостью».

«Простой ратник» Батюшков протестует именно против этого представления о том, что война находится вне привычной этики. Чувство фронтовика, прошедшего уже через две войны и через тяжелое ранение, не позволяет ему принять ни самого этого «анекдота о Раевском», ни его толкований. Он ощущает в приводимых Глинкой «вещаниях» Раевского и его солдат нарушение жизненной правды.

Примечания С. Глинки — вовсе не единичный пример. Вот хотя бы «анекдот» Гавриила Геракова (напечатанный в «Сыне Отечества»), который также имеет отношение к событиям на Салтановской плотине:

«N. N. при Салтановке

> Кому не известен Кинигир, тот грек, который бросился с берега, чтоб остановить персидскую галеру, схватя оную рукою; руку отрубили, он схватил другою, отрубили и сию, он схватил зубами, и тут лишился и головы? — Читая о Кинигире, конечно, удивляешься подвигу его; но полтавского полку унтер-офицер N. N. более трогает мою душу. У него в жарком сражении при Салтановке оторвало ядром руку; он вышел из сражения, держа другою оторванную. Проходя мимо князя Багратиона и став во фрунт, сказал: «Здравия желаю, Ваше Сиятельство!» Когда же стали у него вынимать руку из плеча, он охнул — лекарь упрекнул ему за сие. Унтер-офицер отвечал: «Не думаете ли вы, что я охаю о руке или от нетерпимой боли? Отрежьте другую, я не поморщусь; но я охаю о России, о моей родимой стороне, и что не могу более, надолго, служить моему государю»[19].

В приведенном «анекдоте» эти ложные идеологические установки проступают еще явственнее. Для Геракова важен не подвиг, совершенный унтер-офицером (никакого особенного подвига тот, в сущности, не совершил), а его выспренние слова, которыми он выражает готовность отрезать другую руку. Тут же — непременная «театрализация» и аналогия с античностью, предписывающей сегодняшнее величие русского воинства. Конструкция анекдота-мифа представлена здесь в ее схематическом, ничем не осложненном виде. Подобные же примеры вторжения искусства и искусственности в реальное бытие людей начала XIX века,— и прежде всего примеры «античного» осмысления Отечественной войны ее участниками,— привел Ю. М. Лотман[20].

Этот же исследователь замечает, «что дезавуированная самим Раевским легенда отнюдь не была чужда его реальному поведению и, видимо, совсем не случайно возникла», хотя и была «закодирована» в соответствии с особенностями «самосознания

эпохи»[21]. Но к чему же тогда Раевскому было эту легенду «дезавуировать»? Тем более что сам он, как видно из рапорта его Багратиону об этом сражении, вовсе не был чужд исторических ощущений «римлянина»: «...я и сам свидетель, как многие штаб-, обер- и унтер-офицеры, получа по две раны, перевязав оные, возвращались в сражение, как на пир»[22]. Это самосознание «римлянина» видно и из письма генерала к сестре жены: «Вы, верно, слышали о страшном деле, бывшем у меня с маршалом Даву и Лефебром; с десятью тысячами против шестидесяти мы успели выйти из дела с честью, тогда как неприятель потерял втрое больше нашего... Сын мой Александр выказал себя молодцом, а Николай, даже во время самого сильного огня, беспрестанно шутил; этому пуля прорвала брюки; оба сына повышены чином»[23].

Ведь этот эпизод стал семейной гордостью Раевских и был закреплен авторитетом Пушкина и М. Н. Волконской[24]. Этот авторитет, по замечанию А. Кривицкого, не поколебало и приведенное выше свидетельство Батюшкова[25]: для массовой национальной памяти «анекдот о Раевском» оказался необходим не как миф, а как непреложная героическая реальность.

Так что дело здесь не в «кодированном» поведении Раевского, а в восприятии самого Батюшкова, талантливого поэта и бывалого воина, который именно благодаря счастливому сочетанию двух этих ипостасей сумел отнестись к войне по-иному, чем большинство современников, и понять ее без театральности и позы — во всей страшной ее правде.

И в этом отношении Батюшков оказался очень близок позднейшему восприятию Льва Толстого. Автор «Войны и мира» не знал свидетельства Батюшкова (записная книжка «Чужое: мое сокровище!» была впервые опубликована в 1885 году, через шестнадцать лет после «Войны и мира»), но его комментарий «анекдота о Раевском», вложенный в уста «простого ратника» Николая Ростова (т. III, ч. I, гл. XII), служит ярким дополнением к рассуждениям Батюшкова.

Некий офицер рассказывает при Николае Ростове о том, что на Салтановской плотине Раевский совершил «поступок, достойный древности». Ростов молча возражает ему: «Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять... Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что чтó им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре? Потом оттого, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это про Фермопилы. И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут, на войне, мешать своих

детей? Я бы не только Петю-брата не повел бы, даже и Ильина, даже этого чужого мне, но доброго мальчика постарался бы поставить куда-нибудь под защиту». В черновых набросках Толстой прямо называет «анекдот о Раевском» — «фарсом». И добавляет: «Лгание Муция Сцеволы до сих пор не обличено»[26].

Но характерно и то, что Николай Ростов «не сказал своих мыслей»: «Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем». Батюшков тоже фактически «смолчал»: приведенные выше строки остались лишь в составе интимной записной книжки. «Смолчал» об этом эпизоде и Д. В. Давыдов, который в «Замечаниях на некрологию Раевского» (1832) подробно описал бой под Дашковкой, но ни словом не упомянул о сыновьях Раевского.

Батюшков уже в самом начале войны иначе представлял ее, иначе, чем большинство современников, и по-новому относился к войне. Война для него — это не ряд красивых подвигов и благородных смертей. Это собрание жестокостей, представляющих в целом весьма уродливую картину. Поэтому ни в одном из последующих своих произведений он не восхваляет ни воинских доблестей, ни отдельных подвигов. Он либо скорбит и оплакивает, либо описывает — и даже поэтическое описание, несмотря на известную меру условности, приобретает черты некоей зарисовки:

Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных;
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаянье рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом...

(*«К Дашкову»*)

Все поэтически условные образы этого отрывка — отголоски реальных картин: и «рдяное небо», и «бледные матери», и даже богачи «в рубищах издранных». Здесь — отголосок от встречи с С. Н. Глинкой, который покинул Москву в день вступления туда французов, долго странствовал, не ведая, где находится его семья, явился, наконец, в Нижний Новгород, без денег, без вещей — «в рубище издранном». Батюшков, узнавши об этом, передал ему «от имени неизвестного» запас белья...[27]

А вот отрывок из прозаического описания Батюшкова: «Этот день почти до самой ночи я провел на поле сражения, объезжая его с одного конца до другого и рассматривая окровавлен-

ные трупы. Утро было пасмурное. Около полудня дождь полился реками; все усугубляло мрачность печальнейшего зрелища, которого одно воспоминание утомляет душу, зрелища свежего поля битвы, заваленного трупами людей, коней, разбитыми ящиками...» («Воспоминание о Петине»).

На фоне литературы периода Отечественной войны произведения Батюшкова демонстрируют иное понимание правдивости, иной уровень типизации. Толстой заметил устами того же Николая Ростова: «...все происходит на войне не так, как мы можем воображать и рассказывать». Батюшков, напротив, подчиняет свое бурное поэтическое воображение жизненной реальности:

Все пусто... Кое-где на снеге труп чернеет,
И брошенных костров огонь, дымяся, тлеет,
И хладный, как мертвец,
Один среди дороги,
Сидит задумчивый беглец
Недвижим, смутный взор вперив на мертвы ноги.
(«Переход русских войск через Неман»)

Это новое осознание войны пришло к Батюшкову в августе 1812 года, когда он приехал в Москву, уже фактически приговоренную к оставлению.

Письмо К. Н. Батюшкова к П. А. Вяземскому, около 20 августа 1812:

«Я приехал несколько часов после твоего отъезда в армию. Представь себе мое огорчение: и ты, мой друг, мне не оставил ниже записки! Сию минуту я поскакал бы в армию и умер с тобою под знаменами отечества, если б Муравьева не имела во мне нужды. В нынешних обстоятельствах я ее оставить не могу: поверь, мне легче спать на биваках, нежели тащиться во Владимир на протяжных. Из Володимира я прилечу в армию, если будет возможность. Дай бог, чтоб ты был жив, мой милый друг! Дай бог, чтоб мы еще увиделись! Теперь, когда ты под пулями, я чувствую вполне, сколько тебя люблю. Не забывай меня. Где Жуковский? *Батюшков»* (III, 202—203).

А в Москве у Катерины Федоровны Муравьевой случился переполох. Пятнадцатилетний Никита бежал из родительского дому.

Александр Муравьев. Из записок: «Мой журнал»:

«Успехи, одержанные над нами врагом, отступление нашей армии до сердца России раздирали душу моего брата. Он ежедневно досаждал матушке, чтобы добиться от нее дозволения поступить на военную службу. Он стал грустным, молчаливым, потерял сон. Матушка, хотя и встревоженная его состоянием, не могла дать ему столь желанное

разрешение по причине его здоровья, которое у него в детстве было слабое. Матушка не допускала, что он сможет перенести лишения утомительного похода. Однажды утром, когда мы собрались за чайным столом, моего брата не оказалось. Его ищут повсюду. День проходит в томительной тревоге. Брат скрылся рано утром, чтобы присоединиться к нашей армии, приближавшейся к стенам Москвы. Он прошел несколько десятков верст, когда его задержали крестьяне. Без паспорта, хорошо одетый — и у него находят карту театра войны и бумагу, на которой написано расположение армий противников! С ним обращаются худо, его связывают; возвращенный в Москву, он брошен в городскую тюрьму. Генерал-губернатор граф Ростопчин призывает его, подвергает его допросу...»[28]

Никиту Муравьева подвело совершенное незнание жизни: его задержали, когда за кринку крестьянского молока он расплатился золотым. Верный гувернер его, француз де Петрá, бросившись выручать беглеца и встретив его с толпой мужиков,— еще более навредил ему, крикнув что-то по-французски... Ф. В. Ростопчин, узнавший его, сам было принял Никиту за шпиона, о чем известил Катерину Федоровну. Большого труда стоило Батюшкову выручить незадачливого патриота...

Через девять месяцев, в мае 1813 года, Никита уйдет-таки в армию: прапорщиком свиты по квартирмейстерской части.

Для Батюшкова, поэта и воина, наиболее ярким событием в суетной Москве августа 1812 года оказалось письмо от Ивана Петина. Батюшков встречался с ним весной 1810 года, раскритиковал его слабые стихи — и с тех пор не поддерживал с ним тесной переписки. И вот письмо накануне решающего сражения. И как все просто в этом письме! И как не похоже на причуды окружающего общества.

Письмо Петина не сохранилось. Сохранилось впечатление от него, переданное в 1815 году в «Воспоминании о Петине»: «Мы находились в неизъяснимом страхе в Москве, и я удивился спокойствию душевному, которое являлось в каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую минуту. В нем описаны были все движения войска, позиция неприятеля и проч. со всею возможною точностию: о самых важнейших делах Петин, свидетель их, говорил хладнокровно, как о делах обыкновенных. Так должен писать истинно военный человек, созданный для сего звания природою и образованный размышлением; все внимание его должно устремляться на ратное дело, и все побочные горести и заботы должны быть подавлены силою души. На конце письма я заметил несколько строк, из которых видно было его нетерпение сразиться с врагом; впрочем, ни одного выражения ненависти. Счастливый друг, ты пролил кровь свою на

поле Бородинском, на поле славы и в виду Москвы, тебе любезной,— а я не разделил с тобой этой чести!»

Во время Бородинского сражения Батюшков был в Москве, в суете сборов и предотъездных хлопотах. Жизнь начала идти с бешеной скоростью, и Батюшков по дороге, мимоходом, узнавал страшные вести — и навсегда прощался со старой Москвой, полюбившейся его сердцу.

Ф. Н. Глинка. Очерки Бородинского сражения:

«Бледно и вяло горели огни на нашей линии, темна и сыра была с вечера ночь на 26 августа... Я слышал, как квартирьеры громко сзывали к порции: «Водку привезли; кто хочет, ребята! Ступай к чарке!» Никто не шелохнулся... слышались слова: «Спасибо за честь! Не к тому изготовились, не такой завтра день!..» К утру сон пролетел над полками.

Я уснул, как теперь помню, когда огни один за другим уже снимались, а заря начала заниматься. Скоро как будто кто толкнул меня в бок. Мнимый толчок, вероятно, был произведен сотрясением воздуха. Я вскочил на ноги и чуть было не упал опять с ног от внезапного шума и грохота. В рассветном воздухе шумела буря. Ядра, раскрывая и срывая наши шалаши, визжали пролетными вихрями над нашими головами. Гранаты лопались. В пять минут сражение было уже в полном разгаре»[29].

М. И. Муравьев-Апостол. Бородинское сражение:

«Гвардия стояла в резерве, но под сильными пушечными выстрелами. Правее 1-го баталиона Семеновского полка находился 2-й баталион. Петр Алексеевич Оленин, как адъютант 2-го баталиона, был перед ним верхом. В 8 час. утра ядро пролетело близ его головы: он упал с лошади, и его сочли убитым. Князь Сергей Петрович Трубецкой, ходивший к раненым на перевязку, успокоил старшего Оленина тем, что брат его только контужен и останется жив... Николай Алексеевич Оленин стал у своего взвода, а граф Татищев пред ним у своего, лицом к Оленину. Оба они радовались только что сообщенному счастливому известию; в эту минуту ядро пробило спину графа Татищева и грудь Оленина, а унтер-офицеру оторвало ногу»[30].

П. А. Вяземский. Воспоминания 1812 года:

«Милорадович ввел в дело дивизию Алексея Николаевича Бахметева, находившуюся под его командою. Под Бахметевым была убита лошадь. Он сел на другую. Спустя несколько времени ядро раздробило ногу ему. Мы остановились. Ядро, упав на землю, зашипело, завертелось, взвилось и разорвало мою лошадь. Я остался при Бахметеве. С трудом уложили мы его на мой плащ и с несколькими

рядовыми понесли его подалее от огня. Но и тут, путем, сопровождали нас ядра, которые падали направо и налево, перед нами и позади нас. Жестоко страдая от раны, генерал изъявил желание, чтобы меткое ядро окончательно добило его. Но мы благополучно донесли его до места перевязки. Это тот самый Бахметев, при котором позднее Батюшков находился адъютантом»[31].

Из письма К. Н. Батюшкова к родным, 7 сентября 1812, Владимир:

«Сколько слез! Два моих благотворителя, Оленин и Татищев, лишились вдруг детей своих. Оленина старший сын убит одним ядром вместе с Татищевым. Меньшой Оленин так ранен, что мы отчаиваемся до сих пор! ...Рука не поднимается описывать вам то, что я видел и слышал. Простите»[32].

Ведомость об уборке тел на Бородинском поле (после изгнания французов)

«Сожжено было 56 811 человеческих тел и 31 664 лошадиных. Операция эта стоила 2 101 рубль 50 копеек, 776 сажен дров и две бочки вина»[33].

«СРЕДИ РАЗВАЛИН И МОГИЛ...»

Обозы москвичей потянулись из Москвы в Нижний с конца августа. Батюшков, кажется, ждал до последнего: 2 сентября русские войска оставили город, а он вместе с Муравьевыми покинул подмосковную дачу 4 сентября: долее просто нельзя было оставаться. Катерина Федоровна была весьма не здорова, и потому, приехав во Владимир, Батюшков не смог, как рассчитывал, оставить ее на волю судеб... Да и куда было ехать? В Петербург, на службу,— краткий отпуск, данный ему Олениным, уже кончался? Но как миновать занятую французами Москву?.. Ехать в армию? Но теперь, после оставления Москвы, попасть в армию статскому человеку было не так-то просто. Да и где она теперь, армия?.. Москвичи пылают ненавистью к Кутузову, не решившемуся защищать российскую столицу, и сетуют на медленный и неопределенный ход дел, при котором еще бог знает как все обернется...

Около 10 сентября Батюшков приехал с Муравьевыми в Нижний Новгород. «Мы живем теперь в трех комнатах,— сообщает он Гнедичу,— мы, то есть Катерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич, П. М. Дружинин, англичанин Эванс, которого мы спасли от французов, две иностранки, я, грешный, да шесть собак» (III, 208).

К осени 1812 года в Нижнем собралась «вся Москва»—

и город превратился в тесный уголок древней столицы. Карамзины, Пушкины, Архаровы, Апраксины, Кокошкины, Малиновские... Великое стечение «благородных особ», при всеобщем возбуждении, оживлении и полной неизвестности грядущего, создало обстановку «пира во время чумы», когда скорбь о всеобщем разорении соседствует с широким разгулом...

Отставной генерал-от-инфантерии Иван Петрович Архаров, «последний бургграф московского барства и гостеприимства, сгоревших вместе с Москвою в 1812 году» (П. Вяземский), собирает всю Москву на пышных своих обедах, устраивая поминки по разграбленной и горящей столице. «...И я,— пишет Батюшков,— хожу к ним учиться физиономиям и терпению. Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: point de paix! (до победного конца! — *В. К.*)... Человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого зла: потерю Москвы немногие постигают. Она, как солнце, ослепляет. Мы все в чаду» (III, 206). Батюшков часто спрашивает себя: «где я?» (III, 208). И не находит вразумительного ответа.

Василий Львович Пушкин, оставивший в Москве знаменитую свою библиотеку и малолетнего сына (библиотека сгорела, а сына вынес на руках и выходил крепостной слуга),— плачет, но пишет очередную «басню о соловье» и приветствие жителям Нижнего Новгорода:

О, Волжских жители брегов,
Примите нас под свой покров!..

Алексей Михайлович Пушкин, который «все потерял, кроме жены и детей», и здесь не оставляет насмешек над Васильем Львовичем — и очень кокетливо пародирует это его послание. Страстный игрок в бостон и вист, он играет и в Нижнем — и в короткое время приобрел картами тысяч до восьми (что его несколько утешило).

Карамзины осуждают Кутузова, предрекают «великий позор»,— и ждут у моря погоды...

Чуть не ежедневно происходят «балы, шарады и маскерады», «где наши красавицы, осыпав себя бриллиантами и жемчугами, прыгали до первого обморока в кадрилях французских, во французских платьях, болтая по-французски бог знает как,— и проклинали врагов наших» (III, 268).

Батюшкову не по себе в этом пестром московском таборе на волжских берегах... Полтора года спустя, вспоминая этот «пир во время чумы», он воскликнет: «Таких чудесных обстоятельств два раза в жизни не бывает!» (III, 269).

В Нижнем Новгороде лечится после контузии Петр Оленин, и

Алексей Николаевич из Петербурга каким-то чудом приезжает навестить младшего сына и удостовериться в его здоровье. На возвратном пути Батюшков проводил Оленина до Твери — и в первый раз видел пепелище оставленной французами Москвы.

Батюшков — Гнедичу, октябрь 1812, Нижний Новгород:

> «От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении; я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны, и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя» (III, 208 — 209).

Строки этого письма и по тональности, и по лексике совпадают с посланием «К Дашкову»:

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары;
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
. . . .
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..

Послание «К Дашкову» будет написано через несколько месяцев. Оно еще не созрело, не получило необходимой емкости мысли. Покамест Батюшков продолжает: «Нет, я слишком живо чувствую раны, нанесенные любезному нашему отечеству, чтоб минуту быть покойным. Ужасные поступки Вандалов, или французов, в Москве и в ее окрестностях, поступки беспримерные и в самой истории. вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством. Ах, мой милый, любезный друг, зачем мы не живем в счастливейшие времена! Зачем мы не отжили прежде общей погибели!» (III, 209).

А в нижегородских салонах В. Л. Пушкин до хрипоты спорит с И. М. Муравьевым-Апостолом «о преимуществе французской словесности» и отпускает «каламбуры, достойные лучших времен французской монархии» (III, 268). Василий Львович бедствует: живет в какой-то крестьянской избе в три окошечка и бегает по морозу без шубы, которая сгорела в московском пожаре вместе с домом и библиотекой...

У бежавших из Москвы дам в ходу шуточка относительно французских маршалов: пишут их фамилии на бумажке, бумажку складывают так, что выделенные буквы выходят на складках, прочие же — прячутся:

Суль**Т**, Мюр**А**т, **Д**аву, **О**жеро, **С**юшэ, **ВИ**ктор, **НЕЙ**[34].

В Нижнем лечится генерал Александр Николаевич Бахметев, которому после Бородина ампутировали правую ногу. Батюшков знакомится и сближается с ним...

Ярчайшим документом этого периода жизни поэта стала его переписка с Вяземским, который осенью 1812 года был в Вологде. В Бородинском сражении под Вяземским убило двух лошадей, но сам он ранен не был. При известии об оставлении Москвы он вышел из военной службы: жена его Вера Федоровна ждала первого ребенка. По этой же причине он уехал в Вологду, а не в Нижний, поспешив туда вслед за известным московским врачом-акушером В. Рихтером.

Я в Вологду попал бог весть
Какой печальною судьбою.
Московский житель с ранних пор,
Как солнце мой увидел взор,
О Вологде, перед тобою
Я признаюсь,— не помышлял...
(П. А. Вяземский. «К Остолопову»)

Военная судьба круто распорядилась мирными жителями. Вяземский в Вологде — рядом с сестрами Батюшкова; Батюшков — в Нижнем, рядом с сестрой Вяземского Е. А. Карамзиной. В сентябре—декабре они обмениваются грустными письмами.

ВЯЗЕМСКИЙ: Я в Вологде, любезнейший друг, и Судьба не дает мне и удовольствия найти тебя здесь. Мы свиделись с тобою в горестное время, но в сравнении с настоящим оно было еще сносно. Теперешнее ужасно, и надежда, столь много раз нас обманувшая, не имеет уже права на сердца наши. Я привез сюда жену, и каждый день ожидаю ее разрешения. Да благословит ее бог.

БАТЮШКОВ: Нет ни одного города, ни одного угла, где бы можно было найти спокойствие. Так, мой милый, любезный друг, я жалею о тебе от всей души; жалею о княгине, принужденной тащиться от Москвы до Ярославля, до Вологды, чтобы родить в какой-нибудь лачуге; радуюсь тому, что добрый гений тебя возвратил ей, конечно, на радость (III, 205).

ВЯЗЕМСКИЙ: Все чувства, кроме чувства дружбы и привязанности к ближним и к вам, любезные друзья мои! — умерли в душе моей. О происшествиях, о ужасных происшествиях, поразивших нас столь быстро, столь неожиданно, не имею силы думать. Все способности разума теряются, сердце замирает, воспоминая о Москве.

БАТЮШКОВ: Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыни, мирное убежище наук, все осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения, или, лучше ска-

зать, разврата, остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды? Чем наслаждаться? А жизнь без надежды, без наслаждений — не жизнь, а мучение. Вот что меня влечет в армию, где я буду жить физически и забуду на время собственные горести и горести моих друзей (III, 205 — 206).

ВЯЗЕМСКИЙ: Не знаешь ли чего о Жуковском. Он перед отъездом моим из Москвы был у меня и сказывал, что он из полка перешел в дежурство Кутузова. Признаюсь, не поздравляю его с этим. Имя его для меня ужаснее имени врага нашего[35].

БАТЮШКОВ: ...Жуковский, иные говорят — в армии, другие — в Туле. Дай бог, чтобы он был в Туле и поберег себя для счастливейших времен. Я еще надеюсь читать его стихи; надеюсь, что не все потеряно в нашем отечестве, и дай бог умереть с этой надеждою (III, 207).

ВЯЗЕМСКИЙ: Желание твое ехать в армию растревожило очень сестер твоих и меня; делай с собою как советуешь Жуковскому: побереги себя для счастливейших дней.

БАТЮШКОВ: ...Я решился, и твердо решился отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце, сердце, лишенное покоя ужасными происшествиями нашего времени. Военная жизнь и биваки меня вылечат от грусти (III, 205).

ВЯЗЕМСКИЙ: Теперь и умереть не славно, таково гнусно и бедственно наше положение. ...Как знать, с каким лицом можно нам будет смотреть на прежних свидетелей и завистников славы нашей, обмоет ли конец грязь, которою покрылись мы при начале?

БАТЮШКОВ: Если же ты меня переживешь, то возьми у Блудова мои сочинения, делай с ними что хочешь; вот все, что могу оставить тебе (III, 207).

Об армии, мечтая отдать жизнь за родину, думали тогда многие. Тот же Гнедич сообщал из Петербурга Батюшкову в тяжелые октябрьские дни: «Но видно, что мы оба родились для такого времени, в которое живые завидуют мертвым,— и как не завидовать смерти Николая Оленина: мертвые срама не имут...»[36]

Но Батюшков предельно конкретен в своем желании. Генерал А. Н. Бахметев, по-отечески отнесшийся к Батюшкову, выразил готовность взять его к себе в адъютанты и обещал при первой возможности отправить в действующую армию. Соответствующие бумаги были отправлены в Петербург — оставалось только ждать...

Батюшков вполне понимает, на что идет. В письмах к Вяземскому находим маленькое признание, тут же оборванное:

«Может быть, мы никогда не увидимся! Может быть, штык или пуля лишит тебя товарища веселых дней юности... Но я пишу письмо, а не элегию; надеюсь на бога и вручаю себя Провидению» (III, 207).

В декабре он, однако, едет в Вологду: свидеться (и проститься) с родными и Вяземским, взять деньги на воинское снаряжение. Туда и обратно ехал он через разоренную Москву, развалины которой уже были засыпаны снегом.

Приказ с назначением, однако, медлил: посланные бумаги затерялись где-то в петербургских канцеляриях. В письме к Вяземскому от начала января 1813 года Батюшков кратко замечает о своем состоянии: «Моя судьба еще не решена. Я расстроен всем: и телом, и душой, и карманом. Желаю ехать в армию поскорее»[37].

Из письма Батюшкова к Н. Ф. Грамматину, январь 1813:

«Я дотащился сюда здоров и цел, вопреки холоду, который и до сих пор продолжается. Я думаю, что такой зимы и в Лапландии не бывало; а вы хотите, чтоб я воспевал розы, благоуханные рощи, негу и любовь, тогда как все стынет и дрожит от стужи!» (III, 214).

А. Н. Оленин. Собрание разных происшествий, бывших в нынешней войне с французами...:

«Французы с отмороженными по локоть и колена руками и ногами, уподобляющиеся кости слоновой.

Наказание смертью 18-ти крестьян села Бунькова (г-на Рюмина) собственными их товарищами за то, что торговали с французами...»[38]

10 декабря 1812 года М. И. Кутузов, прибыв в Вильну, доложил царю: «Война окончилась за полным истреблением неприятеля»[39].

Окончилась одна война — началась другая. 1 января 1813 года русский авангард перешел через Неман и вступил в пределы Пруссии. 16 февраля прусское правительство заключило союз с Россией о войне за освобождение Германии от наполеоновского ига.

В феврале Батюшкову окончательно надоело ожидание в Нижнем, и он, несмотря на то что Бахметев еще не оправился от ран, поспешил в Петербург — торопить события.

И снова — в третий уже раз — проезжал он через развалины Москвы, замерзшие от лютой стужи, окоченевшие и страшные... «У меня перед глазами были развалины, а в сердце новое, неизъяснимое чувство. Я благословил минуту моего выезда из Москвы, которая во всю дорогу бродила в моей голове» (III, 219).

Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной
Среди развалин и могил;

Трикраты прах ее священной
Слезами скорби омочил.

Стендаль. Заметки о походе на Россию в 1812 году: «Особенную грусть навел на меня... во время возвращения нашего в Москву вид этого прелестного города, одного из прекраснейших храмов неги, превращенного в черные и смрадные развалины, посреди которых бродило несколько несчастных собак и несколько женщин, искавших остатков какой-нибудь пищи. Этот город был незнаком Европе; в нем было от шестисот до восьмисот дворцов, подобных которым не было ни одного в Париже»[40].

Сразу по приезде в Петербург, после встречи с друзьями и после разговоров о поэзии, Батюшков написал послание «К Дашкову» — одно из самых проникновенных лирических стихотворений периода Отечественной войны. В нем сконцентрировалось все: и многочисленные впечатления «воина без войны», и «неизъяснимые чувства», подобных которым не было ранее в его жизни, и твердое убеждение в своей личной причастности к происходящему, в невозможности оставаться в стороне. Тот неудовлетворенный восторженный патриотизм, который пронизывает все стихотворение, стал для поэта живым, искренним чувством. Он и здесь — «писал как жил»...

Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!

Батюшковское послание «К Дашкову» стало ярчайшим и сильнейшим из многочисленных лирических произведений Отечественной войны 1812 года. На чем основан эффект этого послания, необычайное воздействие его на современников (да и доселе оно воспринимается как патриотический призыв поэта-воина к защите Отечества)? Да на одном только — на правде и естественности этого призыва. Батюшков-воин ни на волос не отступает от жизненных реалий: он действительно «трикраты» был в опустошенной французами Москве, он действительно готовится вот-вот уйти в армию и воевать с врагом вместе «с израненным героем»—

генералом Бахметевым. Он действительно «сжигает» все, чему поклонялся до войны. Ему действительно оказываются чужды былые «венки» и анакреонтические «музы и хариты». Все — как есть, без ложного пафоса и без красивых слов. Простое и естественно-торжественное обещание.

Маленький Пипинька, с голубыми глазами, рвется на свою третью войну.

Глава шестая. ТРЕТЬЯ ВОЙНА

И се подвигнулись — валит за строем строй!
Как море шумное, волнуется все войско;
И эхо вторит клик геройской,
Досель неслышанный, о Реин, над тобой!
Твой стонет брег гостеприимной,
И мост под воями дрожит!
И враг, завидя их, бежит,
От глаз в дали теряясь дымной!..

К. Н. Батюшков. Переход через Реин

29 марта 1813 года высочайшим приказом Батюшков был принят в военную службу, с зачислением штабс-капитаном в Рыльский пехотный полк и с назначением в адъютанты к генералу А. Н. Бахметеву.

ОЖИДАНИЕ

Из письма К. Н. Батюшкова к Е. Г. Пушкиной, 4 марта 1813, Петербург:

«Наконец, я отдохнул в Петербурге и пишу к вам с холодною головою. Часто собираю всю мою память и повторяю чудесные приключения нашего времени и все, что я видел, и все, что я слышал и чувствовал в течение нашего изгнания. ...Здесь я нашел все старое, кроме скуки, с которой я давно знаком. Всякую минуту ожидаю решения на мою просьбу, и все напрасно. Всякий день сожалею о Нижнем, а более всего о Москве, о прелестной Москве: да прилипнет язык мой к гортани моей и да отсохнет десная моя, если я тебя, о Иерусалиме, забуду! Но в Москве ничего не осталось, кроме развалин...» (III, 219 — 220).

Батюшков душою и телом рвется в армию. Но — скоро сказка сказывается... Сначала приходится бегать по министерским канцеляриям, ожидать назначения. Назначение было подписано 29 марта, в тот самый день, когда русские войска, пройдя с боями Польшу и Пруссию, вступили в пределы Силезии. В этот же день вышел из типографии запоздавший на полгода прошлогодний октябрьский номер «Санкт-Петербургского вестника»: в нем было напечатано послание «К Дашкову». Под ним красовалась подпись: «*Б*»,— но тогдашним читателям уже

не надобно было объяснять, кто скрывается за этою подписью. Стихи Батюшкова узнаются с первого взгляда.

Вслед за долгожданным назначением Батюшкову предстояло... ехать к Бахметеву в Нижний Новгород,— но, по предварительной договоренности с генералом, он предпочитает ждать его в Петербурге. Ждет со дня на день, но... На пути все время встают препятствия. То не хватает денег для покупки офицерского снаряжения (за одну подкладку из красного стамета для сюртука заплачено 50 рублей!). То его вдруг вызовет дежурный генерал при военном министре и станет выяснять, действительно ли он тот Батюшков, который служит помощником хранителя манускриптов при Императорской библиотеке, и действительно ли его превосходительство господин тайный советник Оленин отпустил его для армейской службы?.. Штабс-капитан Батюшков упорно преодолевает все эти каверзы — и ждет, ждет.

Петербургские друзья окружают его. Вместе со Степаном Жихаревым, которого уже в те времена зовут Громобоем (будущая «арзамасская» кличка), он воздыхает о разрушенной Москве, а особливо о том, что «проклятые французы сожгли и разрушили Вознесенскую, что на Ништатской, церковь, у которой росла калина, малина и черная смородина», ибо «кроме сего все дело поправить можно чрез несколько лет»[1]. Он жалеет о смерти офицера-поэта Сергея Марина. Вместе с Александром Тургеневым он рассуждает о том, как может настоящая война повлиять на положение крепостных крестьян: «Сильное сие потрясение России освежит и подкрепит силы наши и принесет нам такую пользу, которой мы при начале войны совсем не ожидали»[2].

Вместе с Александром Измайловым Батюшков ополчается против литературного староверства. «Шишковисты» оказались весьма в почете. Сам адмирал Шишков уехал к армии и пользуется благосклонностию императора. Князь Сергей Шихматов получил пенсион. Александр Грузинцев издал огромную, в шести песнях, «патриотическую» поэму «Петриада»: «лучший в ней стих, который всех восхищает, есть следующий...: «Оружья бранный звук спугнул тетеревей»[3].

От нечего делать Батюшков пускается в литературные шалости. Вместе с Измайловым он в несколько дней написал сатиры «Певец в Беседе любителей русского слова» и «Разговор в царстве мертвых». Особенный интерес представляет первая, являющаяся удачной пародией на «Певца во стане русских воинов» Жуковского и высмеивающая «кладбище мирное стихов» — заседания «Беседы...», на которых «взапуски хвалят» друг друга Шихматовы, Карабановы, Хвостовы, Гераковы, Львовы, Палицыны, Анастасевичи, Политковские и прочие творцы «бессмертных» сочинений:

Да здравствует Беседы царь!
Цвети твоя держава!
Бумажный трон твой — наш алтарь.
Пред ним обет наш — слава!
Не изменим: мы от отцов
Прияли глупость с кровью;
Сумбур! здесь сонм твоих сынов!
К тебе горим любовью!..

«Певец в Беседе...» имеет подзаголовок: «Балладо-эпико-лиро-комико-эпизодический гимн». Позже Батюшков назовет его «преглупой шуткой». Эта «шутка», однако, разошлась по России в большом количестве списков, многие ее слова и выражения стали основой будущих «арзамасских» речей и каламбуров. В 1814 году молодой Пушкин подражал «Певцу в Беседе...» в стихотворении «Пирующие студенты», в 1825 году — А. А. Писарев в «Певце на биваках у подошвы Парнаса». Эта «шутка», кстати, очень понравилась и ее главному герою — адмиралу Шишкову, который, услышав о ней от С. Т. Аксакова, нашел ее «забавной» и попросил список...

Батюшков, конечно, не мог предполагать такого успеха, да и не очень увлечен литературными делами. Его гнетет ожидание... От Гнедича он переехал на новую квартиру — в дом Сиверса на Почтамтской улице. Бахметев все не едет...

Из письма В. Л. Пушкина к К. Н. Батюшкову, 20 мая 1813, Нижний Новгород:

«Кончина славного нашего вождя кн⟨язя⟩ Смоленского (Кутузова. — *В. К.*) меня поразила. Но *бог за нас и никто же на ны!* Я вам скажу, что желание ваше исполнится скоро. Почтенный генерал ваш просил меня вас уведомить, что он на днях, а именно послезавтра, отправляется в Петербург и что немедленно по приезде своем туда пошлет вас в армию. Он, благодаря бога, бодр и здоров, и сам торопится присоединиться к храбрым нашим воинам. ...Обнимите за меня А. И. Тургенева и уверьте его в искренней моей дружбе. Гнедичу и Жихареву усердный поклон. Скажите И. А. Крылову, что я с удовольствием читал его басню под названием «Лисица и Сурок» и ожидаю из Москвы нового «Басен» его издания. Простите, милый, добрый Константин Николаевич. Да будут Феб, Марс и Амур покровителями вашими!»[4]

Батюшков действительно находится в отличной поэтической форме. Выполняя клятву, произнесенную в послании «К Дашкову», он не пишет ни на одну из излюбленных тем «анакреонтики», которые с таким удовольствием разрабатывал прежде. Несколько стихотворений, написанных им в первой половине 1813 года, поражают своим разнообразием. Здесь и шедевр русской патриотической лирики, и яркая сатира (о которых говорилось выше). Здесь и попытка создания описательного произведения

о войне — «Переход русских войск через Неман» (большое стихотворение, из которого до нас дошел лишь отрывок). Интересно, что сам Батюшков не участвовал в этом переходе: он попробовал воссоздать «по воображению» картину военных действий и передать ее с помощью условной поэтической лексики:

Несут полки Славян погибель за врагом,
Достигли Немана — и копья водрузили.
Из снега возрасли бесчисленны шатры,
И на брегу зажженные костры
Все небо заревом багровым обложили.
И в стане царь младой
Сидел между вождями,
И старец-вождь пред ним, блестящий сединами
И бранной в старости красой.

В последних строках отрывка возникают Александр I и Кутузов. Реалистические детали: «мертвы ноги» обмороженного француза, «зарево багровое» костров на берегу реки,— совмещаются с условными классицистическими образами: «Сгущенных копий лес возникнул из земли!», «Гремят щиты, мечи и брони» и т. д. Эту «несовместимость» реального и условного Батюшков, несомненно, ощущал,— поэтому и не напечатал стихотворения. Год спустя он напишет аналогичное произведение — «Переход через Реин», где это совмещение не будет так броско...

В это же время Батюшков написал стихотворение, ставшее популярным романсом:

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял;
Надолго с милой разлучаясь,
Вздыхая, он сказал...

В романсе «Разлука» война изображается с оттенком шутки и иронии. Гусар прощается с «красавицей» и клянется сохранить ей верность («Клянуся честью и усами Любви не изменить!»). Потом оказывается, что гусарские клятвы недорого стоят:

А он забыл любовь и слезы
Своей пастушки дорогой
И рвал в чужбине счастья розы
С красавицей другой.

Тут, казалось бы, впору пролить слезу об «оскорбленной добродетели». Но нет, рано: прощальные объятия красавицы тоже недорого стоят:

Но что же сделала пастушка? —
Другому сердце отдала.
Любовь красавицам игрушка,
А клятвы их — слова!

И надо всей этой безыскусственной историей нависает горькая и ироническая «мораль»:

Всё здесь, друзья! изменой дышит,
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, все клятвы пишет
Стрелою на воде.

В этом незатейливом романсе все просто и очень глубоко,— как в том мире, где неисполненные клятвы получают содержание житейской философии и устанавливают представление о всеобщей «измене» и полном отсутствии «верности»...

Это и война и не война одновременно... Стихи Батюшкова начала 1813 года как-то специально противопоставлены общему патриотическому духу тогдашней русской поэзии. Он не прославляет героев и не обличает врагов — он изучает все проявления «войны» во взаимоотношениях людей и борется с ними, как может.

В это время поэт Батюшков несколько изменяет свою литературную ориентацию, ибо былые увлечения его Буало, Вольтером, Дидро, Грессе, Мильвуа, Парни и прочими французами заметно ослабевают. В невольном досуге своем он обращается к чтению немецких книг: с целью освежить в памяти язык той страны, где он собирается воевать. В это время он, между прочим, переводит большой отрывок из трагедии Шиллера «Мессинская невеста»,— не для славы и похвал, а просто для тренировки.

И на войну он идет просто: как на службу, дожидаясь одного генерала, чтобы у того испросить разрешения служить при каком-то другом генерале. Идет как на работу, не заботясь, кстати, об наследниках своего невеликого имения и почти не думая о своих стихах, которые уже написал. Впрочем, стихи его несколько занимают: перед войной он отдал многие из них Д. Н. Блудову. Блудов уехал в Швецию, и в мае — июне Батюшков начинает подумывать о том, как бы вызволить из Швеции стихи свои и напечатать...[5] Впрочем, этого намерения он не исполнил.

Бахметев не приехал в Петербург и в июне. Ожидание становится особенно томительным.

Батюшков — Вяземскому, 10 июня 1813. Из Петербурга в Москву:

«В карты я не играю. В большом свете бываю по крайней необходимости и в ожидании моего генерала зеваю, сплю, читаю «Историю Семилетней войны», прекрасный перевод Гомера на италиянском языке, еще лучший перевод Лукреция славным Маркетти, Маттисоновы стихи и Виландова «Оберона»; денег имею на месяц и более, имею двух-трех приятелей, с которыми часто говорю о тебе, хожу по вечерам к одной любезной женщине, которая

меня прозвала сумасшедшим, чудаком, и зеваю; сидя возле нее, зеваю, так, мой друг; зеваю в ожидании моего генерала, который, надеюсь, пошлет меня зевать на биваки, если война еще продолжится; и глупею, как старая меделянская собака глупеет на привязи» (III, 226).

Батюшков — Е. Г. Пушкиной, 30 июня 1813, Петербург:

«По чести, я не очень счастлив. Все в жизни мне удавалось, как в военной службе. Что я здесь делаю? Зачем я потерял столько времени? Потерял целую кампанию в бездействии, в постоянном ожидании! Но должно повиноваться року и подчас кричать с Панглоссом: все к лучшему!» (III, 231).

На театре военных действий дела шли с переменным успехом. 20 апреля произошло сражение у Лютцена, 8 — 9 мая — у Бауцена. Они закончились отступлением союзников, но стоили французской армии огромных потерь. 23 мая было заключено Плесвицкое перемирие, продолжившееся до 31 июля... Москва была еще не отомщена.

И. М. Муравьев-Апостол. Письма из Москвы в Нижний Новгород в 1813 году:

«Нет, друг мой, я не в состоянии был ужиться в Москве. С утра до ночи иметь перед глазами развалины — не времени следы, но неистовства врагов наших; беспрерывно воображать себе, что здесь они томили тяжкою работою несчастных наших сограждан, здесь оскверняли храм божий; тут ужасными истязаниями вырывали последний кусок хлеба, последнюю надежду отчаянной матери с грудным младенцем ее; там изнуренного болезнию и горем старца мучили, допрашивая, где сокрыто мнимое сокровище; повсюду жгли, повсюду грабили... Нет, это такая пытка, которая ни с чем сравниться не может, и я, будучи не в силах долее сносить ее, решился выехать из города...»[6]

«Израненный герой» Бахметев приехал в Петербург около 10 июля, но еще две недели выяснялось, поедет ли Бахметев в армию. На театр военных действий безногого генерала не отпустили, и он дал Батюшкову официальное разрешение ехать без него, присовокупив к разрешению несколько рекомендательных писем.

24 июля Батюшков выехал из Петербурга[7], отправившись далее через Вильно, Варшаву, Силезию и Прагу. В Варшаве он познакомился с Федором Глинкой, который возвращался из действующей армии в Россию. В Праге — встретил князя И. А. Гагарина, у которого занял 30 червонцев «и кое-как доплыл до главной квартиры под Дрезден» (III, 235). Здесь он отдал привезенные из Петербурга депеши, представился главнокомандующему графу Витгенштейну и пошел по начальству с рекомендательными письмами Бахметева.

Батюшков начал с генерала М. И. Платова. Он нашел Платова

за пуншем вместе... с адмиралом Шишковым; смутился и предпочел ретироваться: литературная известность приносит иногда явные жизненные неудобства. Зато Батюшкова «ласково принял» генерал Н. Н. Раевский — и оставил при себе адъютантом. Вторым адъютантом генерала оказался Лев Васильевич Давыдов, знакомый Батюшкову еще по Москве.

Так он снова начал воевать. Тем более что Плесвицкое перемирие было уже прервано и вновь загрохотали пушки.

«НА ПОЛЕ ЧЕСТИ»

Батюшков — Гнедичу, сентябрь 1813, лагерь близ Теплица:

«Успел быть в двух делах: в авангардном сражении под Доной, в виду Дрездена, где чуть не попал в плен, наскакав нечаянно на французскую кавалерию, но бог помиловал; потом близ Теплица, в сильной перепалке. Говорят, что я представлен к Владимиру, но об этом еще ни слова не говори, пока не получу. Не знаю, заслужил ли я этот крест, но знаю то, что заслужить награждение при храбром Раевском лестно и приятно» (III, 234).

Третий гренадерский корпус под командованием генерала Н. Н. Раевского оказался на главном направлении союзных армий. «...Мы в беспрестанном движении»,— сообщает Батюшков в том же письме. Лоон, Шрамы, Рейхштадт... Наконец месячная остановка под Теплицем: недалеко отсюда, в окрестностях Пирны, сосредоточилась французская армия.

17 августа корпус Раевского участвовал в знаменитом сражении под Кульмом. М. А. Фонвизин, участник этого сражения и будущий декабрист, вспоминал, что «гвардейские полки не только устояли, но двинулись вперед с наступлением ночи, разложили огни и торжествовали победу: полковые музыки их играли вечернюю зорю в нескольких сотнях шагов от неприятеля, приведенного в расстройство и уныние неудачными нападениями, так героически отбитыми; во всю ночь на французских бивуаках не было даже разложено огней»[8].

Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
(А. С. Пушкин. «На возвращение государя-императора из Парижа в 1815 году»)

Пуля щадила Батюшкова. Ни разу за всю кампанию 1813—1814 года не был он ни ранен, ни контужен, хотя и в Теплице, и под Кульмом, и позже под Лейпцигом было весьма жарко

и многих товарищей своих лишился он. Батюшков шел победителем и поэтом. Для победителя, отмщающего за сожженную Москву, не было препятствий к бесстрашию и не было пули, способной остудить жажду мести. Для поэта — было несметное множество новых впечатлений и замыслов, осуществленных, однако, значительно позже.

Рядом с Батюшковым оказались славные друзья. Борис Княжнин, сын драматурга и поэта XVIII века, впоследствии полный генерал, вежливый, умный и ревностно исполнявший службу. Александр Писарев, офицер и сочинитель, впоследствии сенатор и военный губернатор Варшавы. Барон Максан де Дамас, французский дворянин, перешедший на русскую службу, добрый, честный и храбрый малый. Это — знакомые еще со старых петербургских времен.

Новый знакомый, совсем еще молодой Сергей Муравьев-Апостол, сын Ивана Матвеевича. Он моложе Батюшкова на десять лет; сейчас ему нет еще и семнадцати; но за сражение под Лютценом он уже получил Владимира IV степени с бантом, за бой под Бауценом произведен в штабс-капитаны и служит в баталионе великой княгини Екатерины. После Лейпцига он будет произведен в капитаны, и генерал Раевский возьмет его из баталиона к себе: офицером для особых поручений. Батюшков надолго переживет Сергея: тот будет повешен 13 июля 1826 года как один из самых опасных заговорщиков. Впрочем, им предстоит встречаться еще не раз.

Батюшков — Гнедичу, сентябрь 1813, лагерь близ Теплица:

«Нельзя равнодушно смотреть на три сильные народа, которые соединились в первый раз для славного дела, в виду своих государей, и каких государей! Наш император и король Прусский нередко бывают под пулями и ядрами. ...Таковые примеры могут одушевить мертвое войско, а наша армия дышит славою. Пруссаки чудеса делают. Одним словом, ни труды, ни грязь, ни дороговизна, ни малое здоровье не заставляют меня жалеть о Петербурге, и я вечно буду благодарен Бахметеву за то, что он мне доставил случай быть здесь» (III, 234 — 235).

Кажется, здесь Батюшков впервые увидел государя-императора Александра I — и навсегда пришел от него в восторг. Александр I представлялся Батюшкову человеком необыкновенной смелости — этого было достаточно, чтобы «простой ратник» полюбил своего «вождя». Может быть, здесь сказалось влияние Раевского. В записной книжке 1817 года, передавая свой разговор с генералом, он отмечает, что Раевский невысоко отзывался о Милорадовиче, Витгенштейне и прочих «спасителях отечества»: «Я не римлянин, но зато и эти господа — не великие птицы. Обстоятельства ими управляли, теперь все движет государь.

Провидение спасло отечество. Европу спасает государь, или провидение его внушает. Приехал царь — все великие люди исчезли».

Для Батюшкова было довольно этой лестной характеристики почитаемого им «храброго Раевского». Поэтому Александр I в его поэтическом восприятии всегда идеализирован: он не хочет разбираться в истинном облике этого «властителя слабого и лукавого»...

П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта:

«Александр I был человеком весьма хитрым и лукавым, но ума самого недалекого; твердых мнений, коренных убеждений он никогда не имел, но, впечатлительный от природы, он весьма легко увлекался то в одно, то в другое направление, и увлечения его носили на себе отпечаток какого-то жара, какого-то мнимого энтузиазма. Вообще в характере его было много женского: и в его искусной вкрадчивости, и в его любезности, можно сказать, обаятельной, и в его удивительном непостоянстве»[9].

На высотах Кульма, в один из дней затишья, Батюшков вновь встретился с Иваном Петиным, уже полковником, командиром баталиона гвардейских егерей. «Сердце мое утопает в удовольствии: я сижу в шалаше моего Петина, у подошвы высокой горы, увенчанной развалинами рыцарского замка. Мы одни. Разговоры наши откровенны; сердца на устах; глаза не могут насмотреться друг на друга после долгой разлуки. Опасность, из которой мы исторглись невредимы, шум, движение и деятельность военной жизни, вид войска и снарядов военных, простое угощение и гостеприимство в ставке приятеля, товарища моей юности, бутылка богемского вина на барабане, несколько плодов и кусок черствого хлеба... умеренная трапеза, но приправленная ласкою,— все это вместе веселило нас, как детей. Мы говорили о Москве, о наших надеждах, о путешествии на Кавказ и мало ли о чем еще! Время пролетало в разговорах, и месяц, выходя из-за гор, отделяющих Богемию от долины дрезденской, заставал нас, беспечных и счастливых...»

Это отрывок из военных воспоминаний Батюшкова, которые он начал писать в Молдавии слякотной осенью 1815 года. Начал — и не окончил, и не опубликовал; хотя воспоминания эти относятся к лучшим образцам батюшковской прозы, которую он, по собственному признанию, «писал, не херя».

«Часто мы бродили по лагерю рука в руку посреди пушек, пирамид, ружей и биваков и веселились разнообразием войск, столь различных и одеждою, и языком, и рождением, но соединенных нуждою победить. Никогда лагерь не являл подобного зрелища, и никогда сии краткие минуты наслаждения чистейшего посреди забот и опасностей, как

будто вырванные из рук скупой судьбины, не выйдут из моей памяти».

21 сентября союзные войска вышли из Теплицкого лагеря. Через неделю, при Альтенбурге, Батюшков вновь встретился с Петиным — но не радостной была эта встреча. «Слабость раненой ноги его была так сильна, что он с трудом мог опираться на стремя и, садясь на лошадь, упал. «Дурной знак для офицера»,— сказал он, смеясь от доброго сердца. Он удалился, и с тех пор я его не видал».

4 — 7 октября 1813 года произошло генеральное Лейпцигское сражение, вошедшее в историю под названием Битвы народов и положившее конец господству Наполеона в Европе. Первый удар приняла на себя Богемская армия, в составе которой находился корпус Раевского. К северу от Лейпцига против Наполеона сражалась Силезская армия (в ее составе были русские корпуса Сакена и Ланжерона). 6 октября к Лейпцигу подошла Северная армия и армия Бенигсена. Все три соединившиеся армии начали сжимать огненное кольцо — и 7 октября Лейпциг был взят штурмом. Упорнейшие бои окончились полным поражением французов.

Эти четыре страшных дня многократно упоминались Батюшковым в воспоминаниях, записных книжках, письмах...

«Чужое: мое сокровище!» (1817):

«Под Лейпцигом мы бились (4-го числа) у Красного дома. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи, мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его, беспокойства ни малого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною. Писарев летал, как вихорь, на коне, по грудам тел — точно, по грудам — и Раевский мне говорил: «Он молодец».

Французы усиливались. Мы слабели: но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменение в лице генерала и подумал: «Видно, дело идет дурно». Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так, что я едва услышал: «Батюшков, посмотри, что у меня». Взял меня за руку (мы были верхами) и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. Второпях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку освободя от поводов, положил за пазуху, вынул ее и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я ахнул, побледнел. Он сказал мне довольно сухо: «Молчи!» Еще минута — еще другая — пули летали беспрестанно,— наконец, Раевский, наклонясь ко мне, прошептал: «Отъедем несколько шагов: я ранен жестоко!» Отъехали. «Скачи за лекарем!» Поскакал. Один решился ехать под пули, другой воротился. Но я не нашел генерала

там, где его оставил. Казак указал мне на деревню пикою, проговоря: «Он там ожидает вас». Мы прилетели. Раевский сходил с лошади, окруженный двумя или тремя офицерами. ...На лице его видна бледность и страдание, но беспокойство не о себе, о гренадерах. ...Мы суетились, как обыкновенно водится при таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно: я сказал это на ухо хирургу. «Ничего, ничего»,— отвечал Раевский... и потом, оборотясь ко мне: «Чего бояться, господин Поэт (он так называл меня в шутку, когда был весел):

〈У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь,
Она в сраженьях пролита за родину〉»[10].

Из письма к Н. И. Гнедичу от 30 октября 1813:

«Признаюсь тебе, что для меня были ужасные минуты, особливо те, когда генерал посылал меня с приказаниями то в ту, то в другую сторону, то к пруссакам, то к австрийцам, и я разъезжал один по грудам тел убитых и умирающих. Не подумай, чтоб это была риторическая фигура. Ужаснее сего поля сражения я в жизни моей не видал и долго не увижу» (III, 236).

«Воспоминание о Петине» (1815):

«На другой день, поутру, на рассвете, генерал поручил мне объехать поле сражения там, где была атака гвардейских гусаров, и отыскивать тело его брата, которого мы полагали убитым. ...Какое-то непонятное, мрачное предчувствие стесняло мое сердце; мы встречали множество раненых, и в числе их гвардейских егерей. Первый мой вопрос — о Петине; ответ меня ужаснул: полковник ранен под деревнею — это еще лучшее из худшего!.. Раненый офицер, который встретился мне немного далее, сказал мне, что храбрый Петин убит и похоронен в ближайшем селе, которого видна колокольня из-за лесу: нельзя было сомневаться более. ...Проезжая через деревню Госсу, я остановил лошадь и спросил у егеря, обезображенного страшными ранами: «Где был убит ваш полковник?» — «За этим рвом, там, где столько мертвых». Я с ужасом удалился от рокового места».

Из письма к Н. И. Гнедичу от 30 октября 1813:

«6-го числа французы отступили к Лейпцигу. Генерал с утра был на коне, но на сей раз он был счастливее. Ядра свистали над головой, и все мимо. Дело час от часу становилось жарчее. Колонны наши продвигались торжественно к городу. ...И все три армии, как одушевленные предчувствием победы, в чудесном устройстве, теснили неприятеля к Лейпцигу. Он был окружен, разбит, бежал...

7-го числа поутру рано генерал послал меня в Берна-

дотову армию наведаться о сыне. Я объехал весь Лейпциг кругом и видел все военные ужасы. Еще свежее поле сражения, и какое поле! С лишком на пятнадцати верст кругом, на каждом шагу грудами лежали трупы человеков, убитые лошади, разбитые ящики и лафеты. Кучи ядер и гренад, и вопль умирающих...» (III, 237).

Батюшков часто возвращался к этим дням, вспоминая о том, как 7 октября он едва не попал в плен, как 9 октября отыскивал могилу Петина с простым деревянным крестом над ней... В одном из писем его шурина П. А. Шипилова к Вяземскому находим иное свидетельство: «...верные люди уведомляют, что он после Лейпцигского дела был на бале и — танцовал: доказательство верное, что он не ранен, к большему же удовольствию утверждают, что он представлен к награждению орденом...»[11]

Танцы после сражения — безусловно, выдумка. Сразу же после взятия Лейпцига Раевскому стало хуже: «к ране присоединилась горячка» (III, 239). Батюшков неотлучно находится при генерале сначала в какой-то деревне, а потом в Веймаре, куда Раевский был направлен для излечения.

Из письма Александра I председателю Государственного совета князю Н. И. Салтыкову; 9 октября 1813, Лейпциг:

«Благодарение Всевышнему, с душевным удовольствием извещаю ваше сиятельство, что победа совершенная. Битва продолжалась 4-го, 5-го и 7-го числа. До 300-т пушек, 22 генерала и до 3700 пленных достались победителям. Всемогущий един всем руководствовал...»[12]

«Отношение № 389 штабс-капитану Батюшкову.

Господин штабс-капитан Батюшков!

Именем его императорского величества и властию, высочайше мне вверенной, в справедливом уважении к отличной храбрости вашей, в сражениях 4 сего октября под г. Лейпцигом оказанной, по засвидетельствованию генерала от кавалерии Раевского, препровождаю у сего для возложения на вас орден святыя Анны 2 класса.

Главнокомандующий действующими армиями генерал от инфантерии

М. Барклай-де-Толли.

Генваря 27 дня 1814 года»[13].

ПУТЕШЕСТВИЯ

С середины октября 1813 года Батюшков живет в Веймаре при генерале Раевском, к которому все более и более привязывается. Раевский, заметил поэт в 1817 году, «молчалив, скромен отчасти, скрыт, недоверчив, знает людей, не уважает ими. ...У него

есть большие слабости и великие военные качества. С лишком одиннадцать месяцев я был при нем неотлучен. Спал и ел при нем: я его знаю совершенно, более, нежели он меня. И здесь, про себя, с удовольствием отдаю ему справедливость, не угождением, не признательностию исторгнутую. Раевский славный воин и иногда хороший человек — иногда очень странный».

Характерно, что «простой ратник» в военном мундире, но со штатскими и литературными наклонностями, былой поклонник французской «легкой поэзии», переводчик Парни, Буало, Грессе, ныне разочаровавшийся во французском языке и литературе, попадает в Веймар, центр литературной Германии.

Батюшков — Гнедичу, 30 октября 1813, Веймар:

«Мы теперь в Веймаре, дней с десять; живем покойно, но скучно. Общества нет. Немцы любят русских, только не мой хозяин, который меня отравляет ежедневно дурным супом и французскими яблоками. Этому помочь невозможно; ни у меня, ни у товарищей нет ни копейки денег в ожидании жалованья. В отчизне Гете, Виланда и других ученых я скитаюсь, как скиф. Бываю в театре изредка. Зала недурна, но бедно освещена. В ней играют комедии, драмы, оперы и трагедии, последние — очень недурно, к моему удивлению. «Дон Карлос» мне очень понравился, и я примирился с Шиллером. Характер Дон Карлоса и королевы прекрасны. О комедии и опере ни слова. Драмы играются редко по причине дороговизны кофея и съестных припасов; ибо ты помнишь, что всякая драма начинается завтраком в первом действии и кончается ужином. Здесь лучше всего мне нравится дворец герцога и английский сад, в котором я часто гуляю, несмотря на дурную погоду. Здесь Гете мечтал о Вертере, о нежной Шарлотте; здесь Виланд обдумывал план «Оберона» и летал мыслью в области воображения; под сими вязами и кипарисами великие творцы Германии любили отдыхать от трудов своих; под сими вязами наши офицеры бегают теперь за девками. Всему есть время. Гете я видел мельком в театре. Ты знаешь мою новую страсть к немецкой литературе. Я схожу с ума на Фоссовой «Луизе»; надобно читать ее в оригинале и здесь, в Германии» (III, 239 — 240).

«Было бы трудно лучше Батюшкова,— писал советский исследователь С. Н. Дурылин,— передать, чем был для русского офицера Веймар в 1813 г.: все в одной куче — и русские офицеры в Театре Гете, и благоговейные припоминания русского читателя о Гете как об авторе «Вертера», и неизменный «Оберон», и мещанские драмы, которых нельзя давать на сцене по крайней бедности веймарского театра, и нестерпимый для русских помещичьих желудков бюргерский суп, и гоньба за девками по аллеям парка, и восторг от открытия давно открытой Аме-

рики немецкой литературы! Целая картина в нескольких строках»[14].

Отметим, что Батюшков знает Гете довольно поверхностно. Он не знает, что «Страдания юного Вертера» были написаны не в Веймаре. Он не читал «Фауста», который в 1813 году уже был в продаже. Он не знает, что «Дон Карлос» Шиллера поставил в веймарском театре Гете, бывший вдохновителем многих ярких постановок в своем любимом детище... Поэтому Батюшков даже не попробовал поискать «неслучайных» встреч с Гете (что было довольно легко), а увлекся довольно слабой идиллической поэмой Фосса «Луиза», где с античною простотой изображались филистерские нравы немецких бюргеров... Да и сам сельский немецкий быт показался Батюшкову весьма привлекательным. Простота мелкой провинциальной жизни явилась для него как остаток древних патриархальных отношений. Не случайно, как отметил он в «Путешествии в замок Сирей», «немцы издавна любят все сохранять, а французы разрушать», и уважение немцев к прошлому — «верный знак... доброго сердца, уважения к законам, к нравам и обычаям предков». Может быть, так и надобно жить?

Так, здесь, под тению смоковниц и дубов,
При шуме сладостном нагорных водопадов,
В тени цветущих сел и градов
Восторг живет еще средь избранных сынов.
Здесь все питает вдохновенье:
Простые нравы праотцов,
Святая к родине любовь
И праздной роскоши презренье.
(«Переход через Реин»)

В Веймаре Раевский лечился около месяца. Около середины ноября он выехал долечиваться во Франкфурт-на-Майне — и с ним Батюшков. Там он встречается и много беседует с Николаем Тургеневым (который состоял при управляющем германскими землями бароне Штейне), а по воспоминаниям А. И. Михайловского-Данилевского, даже и спорит с ним по вопросам текущей политики. Николай Тургенев уже в то время придерживался продекабристских воззрений — и разговоры с ним не остались для Батюшкова бесследны...

В середине декабря Раевский поспешил к действующей армии — и германские земли пронеслись, как в калейдоскопе: Мангейм, Карлсруэ, Фрейбург, Базель... В письме к Гнедичу Батюшков замечал: «Я видел Швабию, сад Германии, к несчастию — зимой; видел в Гейдельберге славные развалины имперского замка, в Швецингене — очаровательный сад; видел везде промышленность, землю изобильную, красивую, часто находил добрых людей, но не мог наслаждаться моим путешествием, ибо мы ехали по почте и весьма скоро. Одним словом, большую часть Германии я видел во сне» (III, 247).

Перед новым, 1814 годом русские войска перешли границу Франции.

Батюшков — Гнедичу, 31 декабря 1813, местечко у крепости Бельфор:

«Итак, мой милый друг, мы перешли за Рейн, мы во Франции. Вот как это случилось: в виду Базеля и гор, его окружающих, в виду крепости Гюнинга мы построили мост, отслужили молебен со всем корпусом гренадер, закричали «ура!»— и перешли за Рейн. ...Эти слова: мы во Франции — возбуждают в моей голове тысячу мыслей, которых результат есть тот, что я горжусь моей родиной в земле ее безрассудных врагов» (III, 246).

Следующие два с половиной месяца также прошли в беспрестанном движении. Корпус Раевского сражался в составе Главной (Богемской) армии и был в передовых рядах коалиционных сил. В середине января он блокировал крепость Бельфор в южном Эльзасе, затем перешел в Шампань, участвовал в сражении при Провене, в «жарком деле» под Арси-сюр-Об, в бою под Фер-Шампенаузом и, наконец, в марте подошел к окрестностям Парижа...

Но и при этом обилии боев Батюшков не забывал о делах литературных. 26 февраля 1814 года, когда корпус стоял близ города Шомона, он отпросился у генерала и вместе с Писаревым и Дамасом посетил замок Сирэ (Сирей), где когда-то его былой кумир Вольтер скрывался от недругов своих в объятиях прелестной маркизы дю Шатле. «Я был в Сире, в замке славной маркизы дю Шатле...— сообщил он Гнедичу.— В зале, где мы обедали, висели знамена наших гренадер, и мы по-русски приветствовали тени сирейской нимфы и ее любовника, то есть большим стаканом вина» (III, 250). Полтора года спустя, осенью 1815-го, Батюшков описал это путешествие в прекрасном историко-культурном очерке «Путешествие в замок Сирей».

Белинский отнес этот очерк к числу лучших прозаических произведений Батюшкова. «Путешествие...» действительно весьма богато по материалу. Мы находим здесь и любопытные сведения о заграничном походе русской армии (узнаем, например, что Наполеон внушал французским крестьянам, что перешедшие границу Франции русские войска находятся у него в плену: «Он нарочно завел вас сюда, чтобы истребить до последнего человека: это была военная хитрость, понимаете ли?..»). Весь очерк Батюшкова проникнут горячим патриотизмом, что не мешает, однако, автору оценить и французский народ, и его культуру. А рассказывая об отношениях Вольтера и «сирейской нимфы», Батюшков грезит о подобной женщине в его жизни: Эмилия дю Шатле, красавица и умница, приютила гонимого всеми французского гения и побудила его к созданию великих произведений... Батюшкову не мешает даже и то, что дю Шатле

изменила Вольтеру с Сен-Ламбером: «Она, вопреки г-же Жанлис, вопреки журналисту Жоффруа и всем врагам философии, была достойна и пламенной любви Сен-Ламбера, и дружбы Вольтера, и славы века своего».

Особенно замечателен финал очерка — маленькая пародия на модные сентиментально-романтические повествования. Батюшков описывает возвратный путь из замка Сирэ:

«Поднялась страшная буря: конь мой от страху останавливался, ибо вдали раздавался вой волков, на который собаки в ближних селениях отвечали протяжным лаем...

Вот, скажете вы, прекрасное предисловие к рыцарскому похождению! Бога ради, сбейся с пути своего, избавь какую-нибудь красавицу от разбойников или заезжай в древний замок. Хозяин его, старый дворянин, роялист, если тебе угодно, примет тебя как странника, угостит в зале трубадуров, украшенной фамильными гербами, ржавыми панцирями, мечами и шлемами; хозяйка осыплет тебя ласками, станет расспрашивать о родине твоей, будет выхвалять дочь свою, прелестную, томную Агнессу, которая, потупя глаза, покраснеет, как роза,— а за десертом, в угождение родителям, запоет древний романс о древнем рыцаре, который в бурную ночь нашел пристанище у неверных... и проч., и проч., и проч.— Напрасно, милый друг! Со мной ничего подобного не случилось. Не стану следовать похвальной привычке путешественников, не стану украшать истину вымыслами, а скажу просто, что, не желая ночевать на дороге с волками, я пришпорил моего коня и благополучно возвратился в деревню Болонь, откуда пишу эти строки в сладостной надежде, что они напомнят вам о странствующем приятеле. Сказан поход — вдали слышны выстрелы.— Простите!»

ПАРИЖ

— Уж Париж мой, Парижóк, Париж, славный городок!
— Не хвались-ка, вор-француз, своим славным Парижóм!
Как у нашего царя есть получше города:
Распрекрасна жизнь Москва, Москва чисто убрана́,
Дикаречком выстлана́, желтым песком сыпана́...

Солдатская песня периода Отечественной войны 1812 г.

16 марта войска Главной армии были уже в одном переходе от Парижа. 17 и 18 марта произошла битва за столицу Франции.

Н. И. Лорер. Из воспоминаний русского офицера:

«Гвардия стояла в резерве. Влево от нее стояла прусская гвардия, впереди корпус Раевского, вправо гора Мон-

мартр с ветряными мельницами, на этой горе множество орудий, которые обстреливали всю равнину. Войска густыми стройными колоннами шли прямо на приступ...»[15]

Из письма Батюшкова — Гнедичу, 27 марта 1814:

«С высоты Монтреля я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre-Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний!.. Мы подвигались вперед с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместию Парижа. Все высоты заняты артиллериею; еще минута — и Париж засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали» (III, 251).

Париж был взят быстро: последняя агония французской армии явилась в виде парламентера. Поручив своему флигель-адъютанту полковнику М. Ф. Орлову мирным путем добиться перемирия, Александр I сказал: «С бою или парадным маршем, на развалинах или во дворцах, но Европа должна нынче же ночевать в Париже».

Когда вопрос о сдаче Парижа был решен государь приказал Орлову: «Ступай, скажи от моего имени фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, чтобы огонь по всей линии был прекращен».

При этих словах фельдмаршал князь Шварценберг вздрогнул: «Разве Барклай фельдмаршал?»

Александр I томно посмотрел на Шварценберга и произнес: «Да, с этой минуты...»[16]

Н. И. Лорер. Из воспоминаний русского офицера:

«Колонны наши с барабанным боем, музыкою и распущенными знаменами вошли в ворота Сен-Мартен... Любопытное зрелище представилось глазам нашим, когда мы... очутились у Итальянского бульвара: за многочисленным народом не было видно ни улиц, ни домов, ни крыш; все это было усеяно головами, какой-то вместе с тем торжественный гул раздавался в воздухе. Это был народный ропот, который заглушал и звук музыки, и бой барабанов. По обеим сторонам стояла национальная гвардия... От десяти часов утра войска шли церемониальным маршем до трех часов»[17].

Вступление русских войск в Париж разительно отличалось от вступления французов в Москву. Там было оставление города, грабежи и пожары. Здесь все походило на освобождение, а не на захват... Может быть, именно поэтому, как подметил Энгельс, Наполеон «пошел на Москву и тем самым привел русских в Париж»[18].

В Париже Батюшков прожил два месяца, и все это время находился в самом счастливом расположении духа, почти не болел и жил весьма активно. Да и мудрено ли? Париж распахнул перед победителями все двери. Он как будто собрался уди-

вить их своею щедрой душой и гостеприимством. Он как будто решил победить своих завоевателей. Вот впечатления ничем не прославившегося офицера Николая Дивова (из его письма на другой день по взятии Парижа): «Мне трудно выразить тебе удовольствие, которое мы испытываем, видя себя в этой столице, и радость, написанную на лицах у парижан. ...Все лавки я нашел отпертыми и город очень блестящим. Обедал я у Вери в Пале-Рояле, и когда после кофе, который пил в Ротонде, я задал себе вопрос, в какой бы пойти театр, мой выбор пал на Большую оперу. Я... видел танцы г-жи Гардель и знаменитого Вестриса. Нет, во всей моей жизни не было такого дня, как вчерашний: казалось, это был сон. Жители стараются угадать, что может доставить нам удовольствие»[19].

Батюшков входил в Париж под гул толпы, восклицавшей: «Vive Alexandre, vivent les Russes!» Волны народа бесновались на улицах, и пред ними, в совершенном порядке и стройности, маршировали союзные войска. У Батюшкова голова закружилась от шуму, и он слез с лошади. Его тотчас обступили со всех сторон и принялись с живейшим интересом разглядывать, словно бы какого-то чудесного зверька. «В числе народа были и порядочные люди, и прекрасные женщины, которые взапуски делали мне странные вопросы: отчего у меня белокурые волосы, отчего они длинны? «В Париже их носят короче. Артист Dulong вас обстрижет по моде». «И так хорошо»,— говорили женщины. «Посмотри, у него кольцо на руке. Видно, и в России носят кольца. Мундир очень прост!.. Какая длинная лошадь!..» «Какие у него белые волосы!» «От снегу»,— сказал старик, пожимая плечами» (III, 253). Батюшков поспешил взобраться обратно на лошадь...

О, приветливый Париж! Батюшков посчитал свою миссию при генерале Раевском почти оконченной и вполне предался развлечениям. «Мимо французского театра пробрался я к Пале-Роялю, в средоточие шума, бегания, девок, новостей, роскоши, нищеты, разврата. Кто не видел Пале-Рояль, тот не может иметь о нем понятия. ...Отдохнув немного, мы обошли лавки и кофейные дома, подземелья, шинки, жаровни каштанов и проч. Ночь меня застала посреди Пале-Рояля. Теперь новые явления: нимфы радости, которых бесстыдство превышает все. Не офицеры за ними бегали, а они за офицерами. Это продолжалось до полуночи, при шуме народной толпы, при звуке рюмок в ближних кофейных домах и при звуке арф и скрыпок... Все кружилось, пока

Свет в черепке погас, и близок стал сундук.

О Пушкин, Пушкин!» (III, 254 — 255).

Характерна здесь цитата из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина. Посреди чудес парижских, посреди устриц, смоченных в

шампанском, посреди обворожительных дам, которые «выше похвал, даже самые прелестницы», Батюшков держит в памяти «матушку-Москву» и все былые московские приключения, не столь, может быть, искрометные и очаровательные, но все близкие сердцу, потому что — родные же!

Батюшков гуляет по Парижу. Тюльери, Триумфальные ворота, Аустерлицкий мост, Лувр, Нотр-Дам и улицы, улицы, улицы... Он живет на берегу Сены, в замке, принадлежавшем когда-то маркизе де Помпадур, и спит на кровати, помнящей Людовика XIV. «Здесь что ни день, то эпоха»,— замечает он в письме (III, 273). Париж очаровал и развеселил, удивил и поразил — чудный, ласковый и блаженный город!

Батюшков отнюдь не только развлекается и бродит по бульварам. Он любит «посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смеяться во все горло проказам Брюнета» (III, 258). Он заходит в «музеум», где подолгу стоит пред картинами Рафаэля и восхищается статуей Аполлона Бельведерского: «Она выше описания Винкельманова: это не мрамор, бог! Все копии этой бесценной статуи слабы, и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах: надобно чувствовать. Странное дело! Я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения! Я часто захожу в музеум единственно за тем, чтобы взглянуть на Аполлона, и как от беседы мудрого мужа и милой, умной женщины, по словам нашего поэта, *лучшим возвращаюсь*» (III, 262 — 263).

Батюшков много времени проводит «на Новом мосту, на поприще народных дурачеств... среди необозримой толпы парижских граждан, жриц Венериных, старых роялистов, республиканцев, бонапартистов и проч. и пр. и пр.» (III, 258). Он хочет понять, что же такое эта французская нация, которую он сначала боготворил, потом — ненавидел, а ныне — поневоле опять примирился...

Он много читает. То на Королевском мосту любуется прекрасными изданиями Дидота, то просиживает в библиотеке Французской академии наук (и даже выхлопатывает специальное разрешение[20]). Достойный библиотекарь Публичной библиотеки, ученик Оленина и Ермолаева, он и здесь не упускает случая посмотреть «редкости»...

Батюшков попадает, наконец, на заседание Французской академии, где изливают свое красноречие былые парнасские кумиры — Сегюр, Буфлер, Пикар, Лакретель, Фонтень,— где молодой Вильмень читает свое рассуждение «О пользе и невыгодах критики», а публика с интересом рассматривает присутствующего на заседании молодого русского царя.

Париж поразил Батюшкова — и смутил его; развеселил —

и посеял плоды неугомонной хандры; очаровал — и укрепил скуку... За всеми «величественными» картинами Батюшков привык разглядывать их оборотную сторону.

Музеум... Нет ли в этом всеобщем восхищении отчасти какой-то известной традиции и желания восхищаться, потому что восхищаться принято? «Мы пробежим музеум, мы не станем терять времени в рассматривании картин и статуй: мы знаем, что перед Аполлоном, Венерою и Лаокооном надобно сказать: ах! — повторить это восклицание перед картинами Рафаэля, с описанием их в руках, разумеется...» (III, 269 — 270).

Корифеи Французской академии... Посетив ее заседание, Батюшков вынес твердое убеждение, «что век славы для французской словесности прошел и вряд ли может когда-нибудь воротиться» (III, 262).

Да и сам Париж, конечно, красивый город, «но я смело уверяю вас, что Петербург гораздо красивее Парижа, что здесь хотя климат и теплее, но не лучше киевского, одним словом — что я не желал бы провести мой век в столице французской, а во Франции еще и менее того» (III, 265).

Наполеон свергнут: он подписал отречение в Фонтенебло и отправлен на остров Эльбу. «Место тирана заступили добрые и честные люди» (III, 265). Народ суетится вокруг Трояновой колонны, протягивает веревки и надевает их на шею медной Бонапартовой статуи, пытаясь стащить былого кумира и ввергнуть в прах. А наблюдателя этой сцены, Батюшкова, будто обжигает: «Суета сует!.. И та самая чернь, которая приветствовала победителя на сей площади, та же самая чернь, и ветреная, и неблагодарная, накинула веревку на голову... и тот самый неистовый, который кричал несколько лет назад тому: «Задавите короля кишками попов», тот самый неистовый кричит теперь: «Русские, спасители наши, дайте нам Бурбонов!..» О чудесный народ парижский, народ, достойный сожаления и смеха!» (III, 254).

И ниже: «Мудрено, мудрено жить на свете, милый друг!» (III, 255). И в другом месте — о французской нации: «Впрочем, этот народ не заслуживает уважения, особливо народ парижский» (III, 259).

Батюшков стал свидетелем чудесных побед, которые «превосходят всякое понятие». Но что-то в них не удовлетворяет, что-то кажется даже неприятным. Был Людовик на троне — его свергли и казнили. Это еще ладно. Ушли в историю Монтескье, Дидро, Руссо, Д'Аламбер — на место их встали «Робеспьер, Кутон, Дантон». Потом и этих не стало — пришел Корсиканец, который в несколько лет стал тираническим властителем целой империи, ополчившейся против всего европейского мира. Через десятилетие — Наполеон свергнут, восторженная толпа танцует на обломках его державы, а на троне — снова Людовик! Поистине, чудесные превращения! «И в какое короткое время, и с

какими странными подробностями, с каким кровопролитием, с какою легкостию и легкомыслием!» (III, 258).

Поэтому военные «превращения» и привели Батюшкова к тоске. В письме к Е. Г. Пушкиной от 3 мая 1814 года он заявляет, что ныне он совершенно тот же Батюшков, что и был, который «умирает со скуки на биваках, умирает со скуки на квартирах, вступает с армией в Париж, и в Париже, проведя два месяца в шуме и в кружении головы», оказывается вовсе «не избалован счастием» (III, 266 — 267).

Не избалован и наградами. Раевский представлял Батюшкова к Владимиру за битвы под Теплицем и Парижем, к Георгию,— но на каких-то штабных инстанциях эти представления отменили, и Батюшков получил лишь Анненский крест за Лейпциг. «Худой успех представлений Раевского» не то чтобы удручал, но вносил в душу некоторый неудовлетворенный разброд. Позднее Батюшков так писал об этом чувстве (о себе — в третьем лице): «...Поистине, он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста».

В этом разброде Батюшкова посещают и иные чувства.

В освобожденном Париже собрались (едва не половина!) будущие декабристы — и среди них много родственников и знакомых поэта: Никита Муравьев, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Михаил Лунин, Николай Тургенев, Сергей Волконский. С некоторыми из них (прежде всего с Николаем Тургеневым) он толкует о русских делах, о потребностях отечества, об устройстве российской общественной жизни. Не случайно именно в это время Батюшков оказывается не чужд некоторых революционных идей. П. А. Вяземский вспоминал: «...Батюшков, мало занимавшийся политическими вопросами, написал в 1814-м году прекрасное четверостишие, в котором, обращаясь к императору Александру, говорил, что после окончания славной войны, освободившей Европу, призван он провидением завершить славу свою и обессмертить царствование освобождением русского народа. К сожалению, утратились эти стихи и в бумагах моих, и из памяти моей»[21].

В начале мая Батюшков заболел и — нет худа без добра — «насилу отдохнул» от «беспрерывного шума и движения». И ему захотелось домой. В письме к Вяземскому из Парижа от 17 мая 1814 года он пишет: «...я с удовольствием воображаю себе минуту нашего соединения: мы выпишем Жуковского, Северина, возобновим старинный круг знакомых и на пепле Москвы, в объятиях дружбы, найдем еще сладостную минуту, будем рассказывать наши подвиги, наши горести, и, притаясь где-нибудь в углу, *мы будем чашу ликовую* передавать из рук в руки... Вот мои желания, мои надежды! ...Я в Париж въехал с восхищением и оставляю его с радостию» (III, 273 — 274).

Как раз во время батюшковской болезни появился в Париже

Дмитрий Северин. Сотрудник русской миссии в Лондоне, он прибыл сопровождать императора, пожелавшего посетить Англию,— и готовил эту поездку. «Добрый, любезный, молодой» Северин помог Батюшкову в болезни, а заодно и предложил ему возвращаться в Россию не через Германию, а морем, через Швецию, предварительно посетив Лондон. Батюшков согласился — и стал собираться в дорогу.

ПО ПУТИ ВИКИНГОВ

Северин отправился в Лондон 17 мая, вместе со свитой Александра I. Батюшков уехал несколько дней спустя. Он прожил в Англии около двух недель.

На «туманных берегах Альбиона» Батюшков несколько развеялся от надоевшего Парижа. Для этого он выбрал, кажется, очень подходящее время, приехав вслед за русским императором. Русская делегация был встречена в Англии с энтузиазмом. Особенной популярностью пользовался атаман казачества М. И. Платов, в службу к которому Батюшков едва не попал год назад. На улицах за Платовым ходили толпы. «Почтенные дамы и девицы посещали его и украшали свои медальоны его изображениями. ...Все усилия Платова пройти куда-нибудь инкогнито, остаться где-нибудь незамеченным оставались безуспешны: его всюду узнавали, и огромная толпа шла за ним, крича: «Ура! ура! Платов!..» Всякий стремился приблизиться к нему, коснуться его и, если можно, пожать ему руку. ...Весьма хорошо одетые дамы отрезывали по волоску из хвоста коня, на котором сидел Платов»[22]. Оксфордский университет поднес Платову докторский диплом, город Лондон — драгоценную саблю в золотой оправе, украшенную гербами Великобритании и Ирландии и вензелем самого атамана. (Заметим, кстати: эти похождения Платова в Лондоне обросли потом легендами и отразились, например, в «Левше» Н. С. Лескова.)

В этой атмосфере общего ликования и приподнятого настроения Батюшкову особенно хорошо, тем более что добрые знакомые из русского посольства в Англии — Северин, П. И. Полетика, Н. Ф. Кокошкин — встретили его весьма дружески и приветливо. Через полгода Николай Кокошкин, вспоминая эти встречи, писал Батюшкову из Лондона: «...Судьба свела нас хоть на короткое время, но столь необыкновенным образом, что обыкновенные дружеские церемонии следовало бы отложить. Минута нашего знакомства осталась для меня незабвенною, и я ласкаю себя надеждой, что по возвращении моем в Россию вы не откажетесь более и более оного стеснить»[23].

Каким-то образом, будучи в Лондоне, Батюшков ухитрился

занять изрядную сумму денег. Указание на это находим в письме Д. В. Дашкова к П. А. Вяземскому от 25 июня 1814 года: «Сей час Гнедич сказывал мне, что Батюшков в Лондоне: он получил от одного английского купца его руки расписку, по которой должен заплатить за него деньги. Но, впрочем, ни к кому ни полслова — это только на Батюшкова и похоже!»[24].

Для проезда в Россию морем был необходим паспорт, который проще было получить через «знакомое» посольство в Англии: этот заграничный паспорт для беспрепятственного следования через Швецию Батюшков получил 25 мая/6 июня[25].

Наконец, как это ни странно, недолгое путешествие в Альбион оказалось весьма значимым именно для Батюшкова-поэта. Во весь период заграничного похода он не написал ни строки (не считая нескольких экспромтов в письмах). В Лондоне, вероятно, было время и оглядеться, и обдумать то, что прожито за последние годы,— и там Батюшков задумал самое крупное свое произведение: сказку «Странствователь и Домосед». Посылая ее в феврале 1815 года Вяземскому, он заметил: «Стих, и прекрасный: «Ум любит странствовать, а сердце жить на месте»,— стих Дмитриева, подал мне мысль эту. И где? в Лондоне; когда, сидя с Севериным на берегах Темзы, мы рассуждали об этой молодости, которая исчезает так быстро и невозвратно!»[26] А на возвратном пути в Россию он начерно написал элегии «Тень друга», «На развалинах замка в Швеции» и, кажется, еще «Пленный» и «Мщение».

Писем Батюшкова из Лондона не сохранилось, и очень трудно установить с точностью, где он был, с кем встречался, что видел в Англии: «в прохладных рощах Альбиона» и «в цветущих пажитях Ричмона». Он находился в кругу образованных русских людей, хорошо знавших и ценивших Англию и ее культуру, не чуждых литературы и увлекавшихся литературными новостями (так, незадолго до приезда Батюшкова в Англию, зимой 1814 года, Северин и Полетика заезжали в Эдинбург для знакомства с Вальтером Скоттом[27]).

Батюшков, однако, рвался домой. Вечером 10 июня он покинул Лондон в компании с каким-то найденным Севериным попутчиком-итальянцем с громкой фамилией Рафаэль.

Дилижанс до Гарича: «Карета летит по гладкой дороге, между великолепных лип и дубов; Лондон исчезает в туманах» (III, 275).

Маленькие развлечения с попутчиками в ожидании погоды: «Портвейн и херес переходили из рук в руки, и под вечер я был красен, как майский день, но все в глубоком молчании. Товарищи мои пили с такою важностию, о которой мы, жители матерой земли, не имеем понятия» (III, 276).

Наконец недельное путешествие по Балтийскому морю на пакетботе «Альбион»:

Я берег покидал туманный Альбиона,
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблем вилася Гальциона,
И тихий глас ее пловцов увеселял.
Вечерний ветр, валов плесканье,
Однообразный шум, и трепет парусов,
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов,—
Все сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал.
(*«Тень друга»*)

Подробное описание морского путешествия Батюшков дал в письме к Д. П. Северину, отправленном из шведского городка Готенбурга 19 июня. Посещение англиканской церкви в Гариче, служба в которой произвела «приятное и сладостное впечатление» своей необычностью для русского, привыкшего к помпезным обрядам, тяжелым одеждам и словенскому языку православной церкви. Прогулки по морскому берегу с каким-то «добрым англичанином», влюбленным в свою страну. «Сребрчешуйчатое море», «которое едва колебалось и отражало то маяки, то лучи месяца, восходящего из-за берегов Британии». Морская болезнь во время качки на корабле. Попутчики: «несносный швед», утомляющий своею мнительностью, и «человеколюбивый еврей», рассказывающий занимательные истории. «Очаровательные» часы на палубе пакетбота во время хорошей погоды. «Как прелестны сии необозримые бесконечные волны! Какое неизъяснимое чувство родилось в глубине души моей! Как я дышал свободно! Как взоры и воображение мое летали с одного конца горизонта на другой! На земле повсюду преграды — здесь ничто не останавливает мечтателя, и все тайные надежды души расширяются посреди безбрежной влаги» (III, 278 — 280).

Очарованный воображением, Батюшков обратился к капитану корабля с итальянскими стихами из «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Капитан «отвечал мне на грубом английском языке, который в устах мореходцев еще грубее становится, и божественные стихи любовника Элеоноры без ответа исчезли в воздухе:

Быть может, их Фетида
Услышала на дне,
И, лотосом венчанны,
Станицы нереид
В серебряных пещерах
Склонили жадный слух
И сладостно вздохнули,
На урны преклонясь
Лилейною рукою;
Их перси взволновались
Под тонкой пеленой...

И море заструилось,
И волны поднялись!» (III, 281).

Море навевало чудесные видения. В одну из ночей к Батюшкову явился из волн морских живой Иван Петин. Он был весел в свои двадцать шесть лет. Он был ни убит, ни ранен. Он стоял пред своим другом как воплощение молодости, верящей в чудеса:

Тень незабвенного! ответствуй, милый брат!
Или протекшее все было сон, мечтанье;
Все, все — и бледный труп, могила и обряд,
Свершенный дружбою в твое воспоминанье?..

Но он молчит... Он исчез. Он растворился «в бездонной синеве безоблачных небес». Осталось лишь грустное раздумье о былой молодости, которой приходил конец... Чудес не бывает: зрелость уже не верует в чудеса.

А свежий ветер все надувал паруса, а корабль все шел по древнему пути викингов. Наконец, показались берега обетованной земли — Швеции. И Батюшкову вновь пригрезились древние северные витязи и скальды: его воображение вновь воскрешало призраки прошлого: людей и богов... Он вновь почувствовал себя скальдом: и это мечтание особенно усилилось, когда он увидел развалины старого шведского замка:

И там, где камней ряд, седым одетый мхом,
Помост обрушенный являет,
Повременно сова в безмолвии ночном
Пустыню криком оглашает,—

Там чаши радости стучали по столам,
Там храбрые кругом с друзьями ликовали,
Там скальды пели брань, и персты их летали
По пламенным струнам.

Там пели звук мечей, и свист пернатых стрел,
И треск щитов, и гром ударов,
Кипящу брань среди опустошенных сел,
И грады в зареве пожаров;

Там старцы жадный слух склоняли к песне сей,
Сосуды полные в десницах их дрожали,
И гордые сердца с восторгом вспоминали
О славе юных дней.

«На развалинах замка в Швеции». Этой исторической элегией восхищались Вяземский, Жуковский, Пушкин. Белинский, разбирая элегию, воскликнул: «Какой роскошный и вместе с тем упругий, крепкий стих!»

Картина былых шведских войн соотносится здесь с недавней войной, пережитой поэтом вместе со всем народом. Русские, по-

бедившие французов, уподобляются старинным северным воинам, воевавшим «в долинах Нейстрии». Героическая тема переплетается с темой любви: появляется красавица, встречающая вернувшегося с войны юношу. Она,

Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
Как месяц в небесах...

Но где та красавица? И где — те юноши? Где — их былые подвиги?

Где ж вы, о сильные, вы, галлов бич и страх,
Земель полнощных исполины?..

От былых исполинов остались лишь «руны тайные» да древние развалины. А нынешние «исполины» — повзрослели вместе с состарившимся человечеством — и вместе с самим поэтом... В том же письме к Северину Батюшков помещает стихотворный экспромт, описывающий его нынешние впечатления в Швеции:

В земле туманов и дождей,
Где древле скандинавы
Любили честь, простые нравы,
Вино, войну и звук мечей.
От сих пещер и скал высоких,
Смеясь волнам морей глубоких,
Они на бренных челноках
Несли врагам и казнь, и страх.
Здесь жертвы страшные свершалися Одену,
Здесь кровью пленников багрились алтари...
Но в нравах я нашел большую перемену:
Теперь полночные цари
Курят табак и гложут сухари,
Газету Готскую читают
И, сидя под окном с супругами, зевают (III, 283).

В этом экспромте сосуществуют два различных стилистических пласта: традиционно приподнятый, одический — и нарочито разговорный. Здесь сосуществуют и два ряда поэтических образов, которые и сопоставляются, и противопоставляются: «бренные челноки» и «газета Готская», «несли врагам и казнь, и страх» — и «сидя под окном с супругами, зевают». Прежнее противопоставляется теперешнему и иронически подчеркивается, что это лишь перемена «в нравах». Противопоставлению служит даже рифма: «полночные цари» — «гложут сухари». Первый ряд образов идет от традиционной романтической условности: он аналогичен подобным же образам в элегии «На развалинах замка в Швеции». Второй ряд образов между тем вовсе не отрицает первого: Батюшков отнюдь не утверждает поэтичность «прежнего» и непоэтичность «теперешнего»: своеобразная поэзия есть и в «современном» состоянии.

Прогуливаясь по Готенбургу, Батюшков поглядывает на сов-

ременных «викингов», «на купцов и конторщиков, которые со всею возможною важностию прогуливают себя, свои английские фраки, жен, дочерей и скуку» (III, 282). Кого ж винить в том, что былые «дикие сыны и брани, и свободы» стали цивилизованными «банкирами и маклерами», что их старинные замки «время в прах преобратило», что «праотцев останки драгоценны» их потомки не хотят «почитать»? Время прошло, с веками переменились «нравы»,— так стоит ли ворошить то, что никогда не воротится?

Батюшков ощущает себя как бы «на перепутье»: его прежние поэтические темы и настроения оказываются не соответственны переменившимся «нравам», а новые темы и настроения...— их надобно еще найти!

Из Готенбурга Батюшков добрался до Стокгольма, где сразу же попал в объятия Блудова, который с 1812 года состоял советником русского посольства при шведском дворе. За отсутствием посланника, Блудов управлял русской миссией — и очень скучал в Стокгольме.

Почти одновременно с Батюшковым из Петербурга прибыл вновь назначенный шведский посланник барон Г. А. Строганов, и Блудов смог покинуть «не пленительную» Швецию в приятном обществе своего друга. В конце июня Батюшков и Блудов двинулись в путь: через Финляндию — в Петербург.

Тем и закончилась третья война в жизни Батюшкова, самая тяжелая и самая благополучная, жестокая и радостная, полная опасностей, приключений и «страннической жизни». Впрочем, странствий могло бы быть и больше.

Из письма М. де-Дамаса к Батюшкову, 17/29 октября 1814, Париж:

«Во время вашего путешествия в Англии и в Швеции я объездил большую часть Франции. Жалею, что вам не удалось; вы, конечно, были бы довольны: западная часть Франции не похожа на восточную, а в Лангедоке все трубадуры; женщины там прекрасные. Бордо после Петербурга прекраснейший из городов; канал Лангедокский, конечно, одно из произведений, которыми люди гордиться могут,— но Невы я не забываю и не забуду никогда, как и обитателей берегов ее»[28].

Из письма Д. В. Дашкова к П. А. Вяземскому, 25 июня 1814, Петербург:

«От Батюшкова не было сюда ни одной грамотки со времени перехода за Реин — вот уже ровно полгода. Один из его приятелей писал к Гнедичу, вскоре по занятии Парижа, что Батюшков там, здоров, весел и что через три дня отправляется оттуда в Петербург. Но вот и ополчение наше возвратилось, все волонтеры и многие из армейских также; мы видели их вшествие:

Пылью панцири покрыты,
Шлемы лаврами обвиты...
Где ж, Людмила, твой герой?

А Людмила ждет-пождет... и милой наш Батюшков пропал без вести, как жених ее. Может быть, не залетел ли он опять по дороге в Ригу, к своей немке, на старое пепелище? Как Вы думаете?..»[29]

Весной 1815 года Александр I приказал Барклаю-де-Толли подсчитать, что стоила война с французами. Педантичный Барклай представил отчет, в котором значилось, что война 1812, 1813 и 1814 годов обошлась России в 157 450 710 рублей 59 копеек ассигнациями, в том числе на жалованье военным ушло семьдесят один миллион, на продовольствие — двенадцать миллионов, на провиант—пять миллионов, шесть миллионов ушло на награждения, шестнадцать — заплачено Австрии и Пруссии,— и прочая, и прочая, и прочая[30]. Скольких человеческих жизней стоила эта война — об этом в отчете Барклая не сказано. Об этом государь и не спрашивал.

Глава седьмая. НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

«И дарование имеет свои мучения», — сказал покойный Муравьев, весьма справедливо. А я, право, настрадался и без дарования.

К. Н. Батюшков. Из письма к Вяземскому от февраля 1815 г.

Батюшков искренне считал свою жизнь «непоэтическою»: «Три войны, все на коне, и в мире на большой дороге». Она и была такой — исполненной странствий, неудовлетворенности, литературных неудач, и шумных успехов, и последующего отказа от собственных удач, и постоянного гнетущего состояния, чувства, что не сделано что-то основное, что-то особенно важное и нужное, мимо чего проехал «на большой дороге», не заметил и не ухватил...

«Спрашиваю себя, — добавляет Батюшков, — в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет!» (III, 447 — 448). Он искренне завидует творчески живущему Жуковскому, целеустремленному Гнедичу, мудрецу Крылову: эти писатели нашли себя и свое призвание, они остановились под избранным знаменем и живут гармонично. Батюшков же никогда не мог избрать раз навсегда свои «парнасские» увлечения и раз навсегда определиться в жизни и в литературе. Поэтому он и не считал себя большим писателем, хотя и был таковым.

«Мыслитель и художник, — писал позже Лев Толстой, — никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника»[1].

Батюшков был мыслителем и художником, «скроенным» как бы в доказательство этой мысли Толстого. И потому, кочуя по большим и малым российским дорогам, находясь как бы в стороне от собственно «парнасской» жизни, он оставался на генеральной дороге русской литературы.

Прошла третья война — и Батюшков вновь появился в Петербурге.

Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда, волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальних стран чужбины,
Увидел, наконец, Адмиралтейский шпиц,
Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете!..
(«Странствователь и Домосед»)

Катерина Федоровна Муравьева переехала уже в Петербург и жила с детьми на Фонтанке, «третий дом от Аничкова моста». У нее и остановился Батюшков.

В Петербурге — будто и не было никакой войны — все осталось по-старому, и прежняя, давешняя жизнь будто и не прекращалась и не прерывалась. Все так же заседала «Беседа любителей русского слова». Оленины все так же собирали гостей на мызе Приютино. Гнедич все переводил «Илиаду» (правда, не александрийским стихом, а «экзаметрами»). В Императорской библиотеке кипела все та же жизнь (правда, у хранителя манускриптов Ермолаева был уже другой помощник). Крылов готовил новую, иллюстрированную, книгу басен. Все так же выходили журналы, и так же переругивались журналисты...

В Павловске готовилось празднество по случаю возвращения победителя французов Александра I, Александра Благословенного. Готовился фейерверк и грандиозный спектакль, который вдовствующая императрица Мария Федоровна (мать Благословенного) поручила подготовить Ю. А. Нелединскому-Мелецкому.

Из письма Ю. А. Нелединского-Мелецкого к П. А. Вяземскому, июль 1814:

«Меня было нарядили делать куплеты и несколько речей; это мне была большая забота и по старости моей, и по душевному расположению, но, к счастью, подъехал сюда Константин Николаевич Батюшков; я ему в ноги, и он имел снисхождение меня от этого труда избавить. Еще ничего сделанного не видел, но уверен, что будет хорошо»[2].

Батюшков — Вяземскому, 27 июля 1814:

«Я часто не знаю, что делаю, что пишу, и ныне это доказал на деле. Нелединский заставил меня писать для великолепного праздника в Павловском; дали мне программу, и по ней я принужден был нанизывать стихи и прозу; пришел капельмейстер — и выбросил лучшие стихи. ...Пришел какой-то Корсаков, который примешал свое, пришел Державин, который примешал свое, как ты говоришь,

«кое-что»,— и изо всего вышла смесь, достойная нашего Парнаса, и вовсе не достойная ни торжественного дня, ни зрителя! Что делать! усердие было; пусть страдает мое авторское самолюбие, и простодушный Лафонтен вперед не будет вверяться Люлли! Вот история моя с приезду»[3].

Либретто, сочиненное Батюшковым в таком странном соавторстве, называлось «Сцены четырех возрастов» и было задумано в соответствии со вкусами Марии Федоровны — сентиментальная аллегория. Замысел и характер этой аллегории подробно изложен в одном из писем Нелединского к дочери: «Около семи часов в линейках из дворца поедут в Розовый Павильон, к которому пристроили залу в восемь квадратных сажен, то есть величиною с самый павильон. На дороге, ведущей туда, будут двое ворот из зелени с подписью на одних из них стихов из од девицы Буниной:

Тебя, грядущего к нам с бою,
Врата победны не вместят.

При приближении императора будут петь мои куплеты, музыка Бортнянского. На следующих воротах, увешанных лавровыми венками, пропоют четверостишие князя П. А. Вяземского, музыка тоже Бортнянского. Потом войдут в Розовый Павильон, по четырем сторонам которого будут четыре возраста, показывающиеся один за другим. Тут исполнены будут сцены, состоящие из пения и танцев. Музыка Кавоса и Антанолини, декорации Гонзага, костюмы русские. Проза и стихи этих сцен сочинены Батюшковым, который, к счастию для меня, прибыл сюда нарочно к этому случаю»[4].

Батюшков не зря сердился на себя за то что согласился, не мог «отговориться» и «намарал, как умел»,—ни стихи, ни проза этого либретто не принадлежат к лучшим образцам его творчества: слишком явно ощутимы в них вкусы «заказчицы». Резвые дети, которые поют про «цветочки» и «веночки»; «юноши и девицы», молодые «поселяне», всуе поминающие Арея и Беллону и удивляющиеся подвигам храброго императора; «жены воинов», воздыхающие о близком «свиданье»; «старцы», взывающие:

Храни царя, о царь небес!
Храни народ, тобой спасенной!
Он удивил страны вселенной
Величием твоих чудес...

Для Батюшкова, видевшего войну не по рассказам, все это кажется мелким и суетным,— и он не доволен собой...

Празднество, состоявшееся 27 июля, имело успех. Императрица прислала автору основного сценария брильянтовый перстень, который его, право, не очень порадовал, потому что он тут же отослал перстень в Хантоново, к младшей сестре Варень-

ке, «с тем чтоб она носила на память от брата» (III, 289).

Освободясь от шума официальных «празднеств», Батюшков летом 1814 года зачастил к Олениным. К этому времени относится еще один его экспромт — «Послание к А. И. Тургеневу», который начинается так:

Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы,
У Выборгской границы,
Близ Парголы крутой:
Есть дача, или мыза,
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза
И с ней почтенный муж,
С открытою душою
И с лаской на устах,
За трапезой простою
На бархатных лугах,
Без бального наряда,
В свой маленький приют
Друзей из Петрограда
На праздник сельский ждут...

«Сельские праздники» в Приютине особенно полюбились Батюшкову этим летом. Встречи с друзьями, беседы с Алексеем Николаевичем, «любезное участие» Елизаветы Марковны — все это немножко разгоняло мрачные настроения и заполняло «пустоту душевную». В самом деле:

Поэт, лентяй, счастливец
И тонкий филосо́ф,
Мечтает там Крылов
Под тению березы
О басенных зверях
И рвет парнасски розы
В Приютинских лесах.
И Гнедич там мечтает
О греческих богах,
Меж тем как замечает
Кипренский лица их
И кистию чудесной,
С беспечностью прелестной,
Вандиков ученик,
Он пишет их портреты...

Крылов, Гнедич, Кипренский... Батюшков вновь испытывает их влияние и во многом соглашается с ними: в том, что в русском обществе слишком пристрастно относятся к французскому языку и словесности (забывая, между прочим, древние языки и литературу), что, по словам Крылова,

...в ученьи зрим мы многих благ причину,
Но дерзкий ум находит в нем пучину
И свой погибельный конец...

Батюшков тоже много задумывается о «дерзких умах», о российском просвещении, о подражательности Западу и самобытности. Он только что прибыл из Европы, и впечатления его окрашены двойственным чувством. С одной стороны, России есть чему учиться у Европы: та опередила Россию богатым расцветом умственной и художественной жизни. Русским фанатикам из «Беседы» незачем кичиться «самородною» одаренностью. С другой стороны,— к чему ведет «образование»? Нынешнее дворянство учится слишком мало и слишком односторонне: учится тому, что «нравится», — как призывал Руссо. Нравственные устои «эпикурейца» Батюшкова рухнули,— а что нового искать в этом мире?..

Батюшков трудится. Он пишет большую статью о сочинениях М. Н. Муравьева, принимает на себя заботы по изданию найденных им «Эмилиевых писем» Муравьева, под руководством Оленина готовит большой искусствоведческий очерк «Прогулка в Академию художеств»...

Батюшков мечется и хочет «найти себя», и ищет отдохновения в шумных и «непридуманных» празднествах оленинского дома:

Но мы забудем шум
И суеты столицы,
Изладим колесницы,
Ударим по коням
И пустимся стрелою
В Приютино с тобою.
Согласны? — По рукам!

Крылов живет в Приютине в особых комнатах над господской баней. Лизавета Марковна особенно его любит и, зная поэтическую леность его, запирает на особливый ключ его комнаты и не выпускает оттуда Крылова, покуда тот не напишет новую басню, а то и две...

Гнедич кропотливо разбирает всякий стих «экзаметров». После шестилетнего титанического труда по переводу «Илиады» александрийским стихом он начал переводить ее заново, и каждый отрывок подвергается у Олениных основательному разбору...

Орест Кипренский стал уже «любимым живописцем нашей публики». Он воплощает в рисунках своих «согласие и живость красок». Вот его «приютинские» рисунки: грузный, дремлющий Крылов, востроглазый, носатый Оленин, Гнедич с чеканным профилем... Вот — Батюшков, сидящий в кресле в старом штабс-капитанском мундирчике, облокотясь на стол, смотрит куда-то грустно-восторженными глазами... Живой и вдохновенный поэт.

Из дневника Варвары Алексеевны Олениной:

«Батюшков был всем одарен, чем может быть человек. Умен, добр, честен, благороден, учен, красноречив, разговор-

чив, приятной наружности, прост в обращении и совершенный gentleman...»[5]

Все так: но что скрывалось внутри, в мыслях и чаяниях этого «джентльмена»? Анна Оленина, описывающая свои детские впечатления (в 1814 году ей было шесть лет), не могла, конечно же, знать этого: она давала лишь некоторое общее представление о запомнившейся ребенку личности...

Август 1814 года. У Вяземских умер двухлетний сын,— тот, что родился в Вологде грозной осенью двенадцатого года...

ВЯЗЕМСКИЙ: Пожалей об нас, мой милый Батюшков, мы лишились своего Андрюши: несчастная болезнь, мучившая его несколько суток, разлучила нас с ним навсегда. Это ужасно! Ты не отец и, следовательно, напрасно буду я тебе толковать мою горесть: ты не поймешь меня и понять не можешь; но ты меня любишь и, без сомнения, будешь мне сострадать[6].

БАТЮШКОВ: Что могу сказать тебе в утешение? — Мы не для радостей в этом мире; я это испытал по себе. Потеря твоя и княгини невозвратна! Что же делать? Покориться судьбе![7]

ВЯЗЕМСКИЙ: Я у тебя спрашиваю: будешь ли сюда,— ты мне ни слова! Ни слова также о том, что делаешь, что будешь делать, что хотел бы делать?

БАТЮШКОВ: Сердце мое имеет нужду в твоем дружестве: поверишь ли, я час от часу более сиротею. Все, что я видел, что испытал в течение шестнадцати месяцев, оставило в моей душе совершенную пустоту. Я не узнаю себя. Притом и другие обстоятельства неблагоприятные, огорчения, заботы — лишили меня всего; мне кажется, что и слабое дарование, если когда-либо я имел,— погибло в шуме политическом и в беспрестанной деятельности.

ВЯЗЕМСКИЙ: Остаешься ли в службе, и у кого ты, у Раевского ли или у Бахметева? Бахметев здесь, в Москве, и едет в Каменец-Подольск, неужели и ты с ним?

БАТЮШКОВ: Я хочу выйти в отставку и, конечно, ничьим адъютантом не буду в мирное время. Меня отучили от честолюбия. К несчастию, обстоятельства принуждают меня вступить в гражданскую службу. Единственный способ жить — это горестию, но пособить этому нет никакой возможности, следственно, я останусь здесь, в Петербурге, в городе, которого я никогда не любил.

ВЯЗЕМСКИЙ: Избранной братии мой поклон: скажи им о моей печали и скажи Тургеневу и Дашкову, чтобы они от меня теперь писем не ждали и не сердились... Василья Пушкина здесь нет, он у тетки в Козельске: мы собирались ехать вместе в Петербург. Я, кажется, непременно буду до зимы.

БАТЮШКОВ: Здесь проживу и несколько лет, или проволочусь — это вернее, и здесь надеюсь увидеть тебя — если ты захочешь оставить развалины Москвы — любезной Москвы,— чего тебе никак не советую. Чего тебе искать здесь? Живи покойно в твоем убежище. У тебя редкая подруга, есть состояние, будут дети, и мир для тебя не пуст.

Батюшков чувствует себя несчастнее Вяземского,— хотя у того умер ребенок, а вокруг Батюшкова — сплошные «празднества». Он ищет рассеяния и самопознания. Свои военные походы он называет «Одиссеей», а себя представляет Одиссеем, вернувшимся на бедную свою родину:

Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей...

Батюшков, как и Одиссей, по дороге на родину сталкивался с разными препятствиями, боролся с невыполнимыми трудностями — и преодолевал их в горячем желании вернуться на родимые берега.

Казалось, победил терпеньем рок жестокой
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали
И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал.

В это же время рухнула для Батюшкова и еще одна, заветная надежда его на счастье, на жизненное и душевное спокойствие...

АННЕТА

В начале 1815 года Батюшков написал стихотворение-воспоминание, получившее впоследствии широкую известность: именно оно приходит на ум при упоминании имени Батюшкова. Стихотворение называется «Мой гений», и речь в нем идет о некоем поэтическом «хранителе-гении», который один остается поэту «в утеху... разлуке», который один дает еще силы существовать и бороться с непонятною, запутанною жизнью.

Но стихотворение это чаще всего вспоминается по его первым строкам:

О, память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Батюшков многократно употреблял это выражение — «память

сердца», взятое из афоризма французского мыслителя Ж. Масье. Он очень широко толковал это выражение и объяснению его посвятил специальную статью, написанную тоже в 1815 году,— «О лучших свойствах сердца».

«Память сердца» — это для Батюшкова трепетное и органичное чувство, основа человеческой добродетели, человеческой благодарности и искренней, глубокой любви. Не случайно две приведенные строчки стихотворения «Мой гений» стали своеобразным символом «пушкинской» поэтической гармонии. Такой признанный знаток и ценитель Пушкина, как поэт Аполлон Майков, был даже обманут этими строками: на одном из собраний своих стихотворений он напечатал их в качестве эпиграфа из Пушкина... А само стихотворение «Мой гений» стало самым «романсным» стихотворением Батюшкова: начиная с М. И. Глинки его перекладывали на музыку многие русские композиторы.

В элегии «Мой гений» речь идет о воспоминании какой-то тайной, страстной и возвышенной поэтической любви, той, которая навечно остается в сердце...

Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенной
Повсюду странствует со мной...

Основой этого вдохновенного стихотворения явилось реальное увлечение реальной женщиной. Кульминация этого увлечения относится к осени 1814 года, ко времени частых пребываний Батюшкова в доме Олениных.

«О, память сердца!..» В воспоминаниях о Батюшкове одна из немногих близких поэту женщин Е. Г. Пушкина оставила его великолепный портрет, замечательный прежде всего тем, что он передает нам то впечатление, которое Батюшков производил на женщин:

«Батюшков был небольшого роста; у него были высокие плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющиеся от природы, голубые глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах его лица соответствовал его бледности и мягкости его голоса, и это придавало всей его физиономии какое-то неуловимое выражение. Он обладал поэтическим воображением; еще более поэзии было в его душе. Он был энтузиаст всего прекрасного. Все добродетели казались ему достижимыми. Дружба была его кумиром, бескорыстие и честность — отличительными чертами его характера. Когда он говорил, черты лица его и движения оживлялись, вдохновение све-

тилось в его глазах. Свободная, изящная и чистая речь придавала большую прелесть его беседе. Увлекаясь своим воображением, он часто развивал софизмы, и если не всегда успевал убедить, то все же не возбуждал раздражения в собеседнике, потому что глубоко прочувствованное увлечение всегда извинительно само по себе и располагает к снисхождению. Я любила его беседу и еще более любила его молчание. Сколько раз находила я удовольствие в том, чтоб угадывать и мимолетную мысль его, и чувство, наполнявшее его душу в то время, когда он казался погруженным в мечтания. Редко ошибалась я в этих случаях. Тайное сочувствие открывало моему сердцу все то, что происходило в его душе»[8].

Батюшков нравился женщинам, хотя и не был красавцем и не умел ухаживать. Но никакая из женщин так и не полюбила его, и не стала его женой. В своих чувствах он редко кому открывался и редко писал о них,— разве что только в стихах.

Я с именем твоим летел под знамя брани
Искать иль славы, иль конца.
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях:
И в мире, и в войне, во всех земных краях
Твой образ следовал с любовию за мною;
С печальным странником он неразлучен стал...
(«Воспоминания. Отрывок»)

Анна Федоровна Фурман — единственная любовь Батюшкова, о которой мы хоть что-нибудь знаем. О других — девице Мюгель, Поповой, Леоненковой, крепостной девушке Домне — до нас дошли лишь имена и глухие полунамеки-полуупоминания. О третьих (например, о героине «симферопольского» романа) мы вообще не можем сказать ничего, даже имени назвать. А тут — целая романтическая биография.

В середине XVIII столетия в Россию из Саксонии приехал агроном Фридрих Антон Фурман. Он быстро приобрел известность в своей отрасли и заведовал многими имениями крупных помещиков. В России он женился на Эмилии Энгель (сестре Ф. И. Энгеля, статс-секретаря Павла I) и имел от нее семерых детей: четырех сыновей и трех дочерей. Третьей, самой младшей дочерью была Анна, которая родилась в 1791 году в селе Богородском — звенигородском имении князя Голицына.

Вскоре после рождения Анны мать ее умерла, а отец женился вторично. Маленькая Анна была взята на воспитание бабушкой, Елизаветой Каспаровной Энгель (там она воспитывалась, кстати, вместе со своим двоюродным братом — Федором Литке, впоследствии знаменитым адмиралом. В дружбе с Е. К. Энгель была Лизавета Марковна Оленина, которая после смерти бабуш-

ки взяла Анну к себе. Так неродовитая и небогатая Анна Фурман стала воспитанницей у Олениных и старшей подругой их дочерей, Анны и Варвары.

Анна Фурман была очень красива. Сохранился карандашный набросок Кипренского: Анна, за столом приютинской гостиной, вместе с дремлющим Крыловым... Выразителен ее акварельный портрет кисти К. К. Гампельна: высокая темноволосая девушка, очень стройная, в строгом белом платье, с правильными чертами лица, задумчиво и ласково смотрит на кого-то неведомого...

Ее сын вспоминал впоследствии: «Матушка моя присутствовала при всех этих беседах (в доме Оленина.— *В. К.*) и с работою в руках прислушивалась к рассуждениям, которые так благодетельно действовали на развитие ее. Несмотря на молодость свою, она уже тогда пользовалась уважением этого кружка и была, так сказать, любимицею некоторых маститых в то время старцев. Так, например, Державин всегда сажал ее за обедом возле себя, а Озеров в угоду ей подарил ей ложу на первое представление «Дмитрия Донского», сам приехал в ложу и, как говорила матушка, восторгаясь игрою известной в то время артистки Семеновой, плакал от умиления»[9].

О, радость! ты со мной встречаешь солнца свет
И, ложе счастия с денницей покидая,
Румяна и свежа, как роза полевая,
Со мною делишь труд, заботы и обед.
Со мной в час вечера, под кровом тихой ночи
Со мной, всегда со мной: твои прелестны очи
Я вижу; голос твой я слышу, и рука
В твоей покоится всечасно.
Я с жаждою ловлю дыханье сладострастно
Румяных уст, и, если хоть слегка
Летающий Зефир власы твои развеет
И взору обнажит снегам подобну грудь,
Твой друг не смеет и вздохнуть:
Потупя взор стоит, дивится и немеет.

(«Таврида»)

Приведенные строки Батюшкова посвящены, несомненно, Анне Фурман. Впрочем, не его одного увлекала красота воспитанницы Олениных. По свидетельству Д. В. Дашкова, Аннета, «по скромности и по прекрасным качествам ума и сердца, а равно и прелестною наружностью своею, пленяла многих, сама того не подозревая»[10]. Так, в 1809 году ею пленился Гнедич.

Из воспоминаний сына А. Ф. Фурман:

«5 сентября, в день именин Елисаветы Марковны Олениной, ежегодно устраивались сюрпризы в театре, нарочно для того устроенном, и матушке моей нередко случалось принимать участие и испытывать под руководством Гнедича свои сценические способности, впрочем, весьма слабые (она была слишком застенчива для игры на сцене)»[11].

Из письма Батюшкова к Гнедичу, 3 мая 1809, из Финляндии:

«Выщипли перья у любви, которая состарéлась, не вылетая из твоего сердца; ей крылья не нужны. Анна Федоровна, право, хороша, и давай ей кадить! Этим ничего не возьмешь. Не летай вокруг свечки — обожжешься. А впрочем, как хочешь, и это имеет свою приятность, не правда ли? Я так этак думаю на холостом ложе...» (III, 35).

Не надеясь на взаимность, одноглазый Гнедич до поры до времени скрывал свои чувства.

Но сам Батюшков не умел и не хотел их скрывать. Приехавши в Петербург в начале 1812 года, он увлекся двадцатилетнею красавицей; это увлечение продолжилось и во время петербургского «ожидания» 1813 года; а когда он уехал на войну, друзья его в переписке своей замечали, что сердце поэта «не свободно»...

Как часто в тишине, весь занятый тобою,
В лесах, где Жувизи гордится над рекою
И Сейна по цветам льет сребряный кристалл,
Как часто средь толпы и шумной, и беспечной,
В столице роскоши, среди прелестных жен,
Я пенье забывал волшебное Сирен
И о тебе одной мечтал в тоске сердечной.
   Я имя милое твердил
   В прохладных рощах Альбиона
И эхо называть прекрасную учил
   В цветущих пажитях Ричмона...
(*«Воспоминания. Отрывок»*)

Из-за границы Батюшков вернулся с новой и светлой надеждой. В ту пору Аннете шел двадцать третий год: девица на выданье. Семья Олениных, Муравьевы, родные — все были согласны на брак. Но...

Всего ужаснее! Я видел, я читал
В твоем молчании, в прерывном разговоре,
   В твоем унылом взоре,
В сей тайной горести потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
   Следы сердечного терзанья...
(*«Воспоминания. Отрывок»*)

Свадьба не состоялась. Не было взаимности, а была лишь покорность чужой воле. Батюшков это понял.

Свои сомнения он объяснил единственный раз, годом позже, в письме к Е. Ф. Муравьевой: «...Важнейшее препятствие в том, что я не должен жертвовать тем, что мне всего дороже. Я не стою ее, не могу сделать ее счастливою с моим характером и с маленьким состоянием. Это — такая истина, которую ни вы, ни что на свете не победит, конечно. Все обстоятельства про-

тив меня. Я должен покориться без роптания воле святой бога, которая меня испытует. Не любить я не в силах. ...Я желал бы видеть или знать, что она в Петербурге, с добрыми людьми и близко вас. Простите мне мою суетную горесть. ...Право, очень грустно! Жить без надежды еще можно, но видеть кругом себя одни слезы, видеть, что все милое и драгоценное сердцу страдает, это — жестокое мучение, которое и вы испытывали: вы любили!» (III, 342).

В это же время и эти же мысли Батюшков выражает и в стихах:

Что в жизни без тебя? Что в ней без упованья,
Без дружбы, без любви — без идолов моих?..
И муза, сетуя, без них
Светильник гасит дарованья.
(«Воспоминания. Отрывок»)

И далее, в том же письме к Муравьевой, Батюшков пишет еще об одном — вечном — препятствии: «Для чего я буду искать теперь чинов, которых я не уважаю, и денег, которые меня не сделают счастливым? А искать чины и деньги для жены, которую любишь? Начать жить под одною кровлею в нищете, без надежды?.. Нет, не соглашусь на это, и согласился бы, если б я только на себе основал мои наслаждения! Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могут одни злые сердца. Оставим это на произвол судьбы» (III, 342).

Батюшкову остается только мечтать — в который уже раз ничего, кроме мечты!

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им Древней Греции священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком...
(«Таврида»)

Мечта была слишком красивой для того, чтоб хотя сколько-нибудь воплотиться в действительности.

Осенью 1815 года, когда писалось приведенное выше письмо и стихи, Аннеты Фурман уже не было в Петербурге. В это время отец, живший в Дерпте, потребовал к себе выросшую дочь для воспитания младшей сестры и брата (детей Ф. А. Фурмана от второго брака). Тут произошла еще одна печальная, трогательная и неуклюжая история, о которой поведал в своих воспоминаниях сын Анны:

«Вызов этот был неожиданным ударом для матушки моей,

привязавшейся всей душою к Елизавете Марковне. А. Н. Оленин сказал ей, что она может не ехать в Дерпт, если согласится выйти замуж за человека, давно уже просящего руки ее, что он не решился до сих пор говорить ей о нем, будучи заранее уверен в отказе ее, но что теперь обязан ей объявить, что претендент этот — Николай Иванович Гнедич. Этого матушка никак не ожидала: она привыкла смотреть на Гнедича (уже далеко не молодого человека) с почтением, уважая его ум и сердце; наконец, с признательностью за влияние его на развитие ее способностей, ибо почти ежедневно беседовала с ним и слушала наставления его,— одним словом, она любила его, как ученицы привязываются к своим наставникам. Но тут же появилось несчастное чувство сожаления, и она просила А. Н. дать ей несколько дней для размышления. Кончилось тем, что она, конечно, другими глазами смотря на Гнедича, стала замечать в нем недостатки, например, не имевшую дотоле для нее никакого значения наружность... В это время как-то за обедом дочь Олениных Анна Алексеевна, тогда еще ребенок, вдруг, ко всеобщему удивлению, смотря на Гнедича, с сожалением вскрикнула: «Бедный Н. И., ведь он кривенький!» Елизавета Марковна, сделав дочери выговор, спросила ее: кто мог ей это сказать? Малютка промолчала, но вместо ее отвечал только что взятый из деревни и стоявший за стулом казачок: «Кто сказал? Вестимо, барышня (т. е. моя матушка) при мне говорили сегодня утром, что они (Гнедич) кривые; да и вправду они одноглазые». Матушка моя с отчаянием вырвалась из объятий дорогого ей семейства, которое привыкла считать своим, и уехала в Дерпт»[12].

Батюшков, кажется, знал об этом эпизоде. Во всяком случае, после 1815 года отношения между ним и Гнедичем становятся заметно холоднее...

Ах, как обманут я в мечтании моем!
Как снова счастье мне коварно изменило
  В любви и дружестве... во всем,
  Что сердцу сладко льстило,
Что было тайною надеждою всегда!
Есть странствиям конец — печалям никогда!
(«Воспоминания. Отрывок»)

В дальнейшем Аннета Фурман уже не встречалась с Батюшковым. Судьба ее сложилась тоже не весьма удачно. Жила с отцом и сводной сестрой в Дерпте, потом — в Ревеле, где в 1821 году вышла замуж за остзейского негоцианта Адольфа Оома, бывшего старшиной большой купеческой гильдии. В 1824 году Оом, вследствие неудачных финансовых операций, разорился и переехал в Петербург, где, по протекции Оленина, по-

лучил место надзирателя при Академии художеств. В 1826 году у Анны родился сын Федор — в будущем блестящий петербургский чиновник, статс-секретарь императрицы и любитель литературы. А в феврале 1827 года после длительной болезни умер муж (Оом простудился во время петербургского наводнения). Анна, оставшаяся с полугодовалым младенцем на руках, принуждена была работать. В апреле 1827 года она была определена главной надзирательницей Воспитательного дома в Петербурге, и под ее началом оказалось триста воспитанниц. Десять лет спустя Воспитательный дом был преобразован в Сиротский институт, количество воспитанниц увеличилось, а Анна Федоровна Оом стала директрисой Сиротского института. Кажется, в этой работе она нашла свое призвание.

Умерла Аннета 7 октября 1850 года. Батюшков пережил ее...

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

Проницательный исследователь литературы В. Г. Белинский, выделяя «учителей» А. С. Пушкина в поэзии, особенное место отвел Батюшкову: «Как ни много любил он (Пушкин-лицеист.—*В. К.*) поэзию Жуковского, как ни сильно увлекался обаятельностью ее романтического содержания, столь могущественною над юною душою, но он нисколько не колебался в выборе образца между Жуковским и Батюшковым... Влияние Батюшкова обнаруживается в «лицейских» стихотворениях Пушкина не только в фактуре стиха, но и в складе выражения и особенно во взгляде на жизнь и ее наслаждения. Во всех их видна нега и упоение чувств, столь свойственные музе Батюшкова; и в них проглядывает местами унылость и веселая шутливость Батюшкова»[13].

Батюшков прожил в Петербурге около восьми месяцев: с начала июля 1814 года до конца марта — начала апреля 1815 года.

В это время он познакомился с молодым учеником Царскосельского лицея Александром Пушкиным, сыном московского дворянина Сергея Львовича и племянником московского поэта Василия Львовича, с которыми Батюшков был знаком и дружен еще с довоенных времен. Александр Пушкин уже подрастал, писал и печатал первые стихи. Его поэтическая известность — особенно после 8 января 1815 года, когда он на лицейском экзамене прочел «Воспоминания в Царском Селе»,— уже перешагнула границы лицея, и имя его с уважением произносилось между первейшими российскими литераторами.

Об этом, первом, знакомстве Батюшкова и Пушкина до нас дошло лишь несколько косвенных свидетельств.

Из письма А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому. 27 марта 1816, Царское Село:

«Обнимите Батюшкова за того больного, у которого, год тому назад, завоевал он Бову Королевича»[14].

Из письма лицеиста А. Л. Илличевского к В. П. Фуссу от 20 марта 1816, Царское Село:

«Признаться тебе, до самого вступления в лицей я не видел ни одного писателя,— но в лицее видел и Дмитриева, Державина, Жуковского, Батюшкова, Василия Пушкина — и Хвостова; еще забыл: Нелединского, Кутузова, Дашкова. В публичном месте быть с ними гораздо легче, нежели в частных домах, вот почему это и со мною случилось»[15].

Из письма К. Н. Батюшкова к П. А. Шипилову от 24 марта 1816, Москва:

«Если захотите отдать (Алешу, сына Шипиловых.— *В. К.*) в Петербургский лицей, что в Царском Селе, то и тут могу быть полезен: я знаю Уварова, попечителя петербургского, знаю Мартынова, знаю многих профессоров и могу их просить...»[16]

Из письма П. А. Вяземского к К. Н. Батюшкову, 15 — 20 января 1815, Москва:

«Что скажешь о сыне Сергея Львовича? — чудо, и все тут. Его «Воспоминания» скружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картинах. Дай бог ему здоровья и учения, и в нем будет прок, и горе нам. Задавит, каналья! Василий Львович, однако же, не поддается и после стихов своего племянника, которые он всегда прочтет со слезами, не забывает никогда прочесть и свои, не чувствуя, что по стихам он племянником перед тем»[17].

На основании этих свидетельств пушкинисты высказали ряд гипотез, которые, как это часто бывает, «выходя» из большой пушкинистики в популярные издания, приобрели характер безусловных истин,— и встреча Батюшкова и Пушкина обросла некоторыми — мягко говоря — неточностями[18].

Рисуется она приблизительно так. Зимой 1815 года (М. А. Цявловский привел даже точную дату — 3 — 5 февраля, которая, однако, не является абсолютно достоверной[19]), после лицейского экзамена, на котором Пушкина «благословил» «старик Державин», Батюшков специально заехал в лицей и встретился с боль-

ным Пушкиным в лицейском лазарете. Между «учителем» и «учеником» произошел какой-то литературный разговор, в результате которого Пушкин «уступил» Батюшкову сюжет поэмы «Бова», над которой работал осенью 1814 года.

Пушкин, как известно, написал два послания к Батюшкову. В первом («Философ резвый и пиит...») Пушкин высказывает свое преклонение перед талантом Батюшкова. Во втором («В пещерах Геликона...») он указывает на некое «несогласие» с каким-то «советом» Батюшкова. Л. Н. Майков предположил, что этот «совет посвятить свой талант важной эпопее» Батюшков дал Пушкину во время этой встречи.

И еще одно. А. М. Эфрос, известный искусствовед, высказал гипотезу о том, что Батюшков явился автором акварельного портрета Пушкина-лицеиста, который, в свою очередь, стал основой для известной гравюры Е. Гейтмана. На акварельном портрете изображен именно юноша Пушкин, почти подросток,— следовательно, наиболее вероятная дата создания — тот же 1815 год... Эфрос высказывал гипотезу, в последних популярных книгах всякий оттенок гипотетичности снят — стало быть, именно так оно и было!

Стало быть, Батюшков не только приехал в лицей, чтобы специально встретиться с больным Пушкиным, но еще и «поспорил» с ним о чем-то, «завоевал» у него сюжет «Бовы», нарисовал его акварельный портрет...— не слишком ли много?

Дадим-ка слово скептику...

Скептик начнет рассуждать так. Батюшков, несомненно, бывал в Царскосельском лицее в те времена, когда там учился Пушкин. Но означает ли это, что Батюшков *специально* посещал «больного» пятнадцатилетнего лицеиста? Ведь тогда оказывается, что Батюшков познакомился с Пушкиным гораздо раньше, чем писатели его круга: Жуковский — 18 сентября 1815 года, Карамзин и Вяземский — в двадцатых числах марта 1816 года и т. д. И между тем нигде, ни в одном воспоминании или упоминании нет ни одного свидетельства об этом знакомстве,— а ведь Батюшков был популярен в кругу лицеистов не менее, чем тот же «старик Державин»! Письма Батюшкова первой половины 1815 года сохранились почти все,— но в них нет ни одного упоминания о юном Пушкине. И Вяземскому на приведенный выше его запрос («Что скажешь о сыне Сергея Львовича?..») Батюшков ничего не ответил, между тем как был всегда предельно аккуратен в переписке...

Потом скептик задаст вопрос: а с какой это стати Батюшкову вдруг пришло в голову навестить незнакомого ему лицеиста? Единственно, где хоть как-то объясняется цель визита Батюшкова,— это в романе Ю. Н. Тынянова «Пушкин» (книга вторая): «Зашел поблагодарить за послание». Имеется в виду первое послание Пушкина «К Батюшкову», напечатанное в первом но-

мере «Российского музеума» за 1815 год. Но подобный жест был вовсе не в характере Батюшкова, тем более что в письмах он никак не откликнулся ни на одно из пушкинских посланий к нему...

И еще вопрос. Что значит «завоевал Бову Королевича»? Взял у Пушкина сюжет поэмы «Бова»? Но Батюшков никогда не работал над поэмой с таким названием... Да и сюжет «Бовы» — не сюжет «Мертвых душ»: эта лубочная книга была известна Батюшкову не хуже, чем Пушкину. Взял у Пушкина «мысль» о поэме «в русском духе»? Но разрабатываемый Пушкиным «Бова» строился по уже известным канонам «сказки-новеллы», шутливой поэмы,— так что тут тоже нечего было «завоевывать». В одном из своих писем Батюшков с восторгом цитирует стихотворный экспромт Вяземского, который оканчивается так:

Шишков в рассудок, в муз бодает
И, в королевича Бову
Влюбясь, Вольтера проклинает... (III, 172).

«Королевич Бова» в сознании будущих арзамасцев связывался с Шишковым и с литературным староверством,— поэтому и в замечании Пушкина эта фраза могла носить шутливый характер и намекать на какие-то иные реалии, для нас не совсем понятные...

Да и в двух посланиях Пушкина к Батюшкову отразились вовсе не факты их частного разговора, а отношения гораздо более сложные. Так, считается, что в первом послании Пушкин пеняет Батюшкову за то, что тот «расстался с Фебом», то есть перестал писать стихи, печататься в журналах. Это не так: в 1814 году Батюшков напечатал не меньше, чем раньше: «К Жуковскому», «Разлука», «Пленный», «На развалинах замка в Швеции», «Элегия из Тибулла». Другое дело, что стихи эти оказались вовсе не похожи на лирику прежнего Батюшкова. Пушкин громадным поэтическим чутьем угадал, что в творчестве поэта к концу 1814 года произошел кризис... Поэтому упрек Пушкина:

Почто на арфе златострунной
Умолкнул радости певец?
Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом наконец? —

вовсе не упрек в том, что Батюшков «замолчал». Пушкин имеет в виду «изменения» Батюшкова, ибо замолчал не он, а «Парни Российский».

Батюшков отказался от мотивов Парни, ибо затосковал. 5 апреля 1815 года Вяземский написал к нему грустное письмо-разо-

чарование: «Меня пугал Жуковский; теперь вижу, что он только хворый, а ты — больной. Тоска Жуковского, может быть, мать его гения; твоя тоска, не сердись,— мать дурачества. Представь себе сумасбродца, ощипавшего розу и, следственно, лишившего ее и прелести, и запаха — и любующегося ее стеблем. Ты точно этот сумасбродец: ты стараешься погубить прелесть своей жизни... Будь Батюшковым, каким был, когда я отдал тебе часть моего сердца, или не требуй моей любви, потому что я рожден любить Батюшкова, а не другого».

Для Пушкина это изменение Батюшкова тоже грустно, и он в своем наивном стихотворном обращении намечает пути возврата поэта к себе самому, прежнему. Пушкин призывает «философа резвого» вернуться к привычным «довоенным» формам поэтической мысли: любовь, дружество, «стакан, кипящий пеной белой, и стук блестящего стекла» и т. д. В послании Пушкина рисуется подробная обстановка анакреонтических стихов Батюшкова 1810 — 1811 годов («Веселый час», «Элизий», «Радость» и пр.):

Настрой же лиру. По струнам
Летай игривыми перстами,
Как вешний Зефир по цветам,
И сладострастными стихами,
И тихим шепотом любви
Лилету в свой шалаш зови...

Далее открывается разговор о поэтических темах, достойных Батюшкова («Поэт! в твоей предметы воле...»): это темы патриотические («С Жуковским пой кроваву брань...») и сатирические («Шутя, показывай смешное И, если можно, нас исправь...»). Но это все, поучает Пушкин,— не главное, это — отвлечения от основной направленности творчества. Главное же назначение Батюшкова, по его мнению, это особенная поэтическая «игра»:

Играй: тебя младой Назон,
Эрот и грации венчали,
А *лиру* строил Аполлон.

Пушкин и сам не прочь «поиграть», но...

Но что!.. *цевницею* моею,
Безвестный в мире сем поэт,
Я песни продолжать не смею.

Батюшков — счастливый обладатель поэтической «лиры»; у автора послания — только «цевница», то есть свирель, маленькая пастушеская дудочка. Но именно «дудка» становится символом поэтического «я» во втором послании Пушкина «Батюшкову» («В пещерах Геликона...»):

Веселый сын Эрмия
Ребенка полюбил,

В дни резвости златые
Мне дудку подарил.
Знакомясь с нею рано,
Дудил я непрестанно;
Нескладно хоть играл,
Но музам не скучал...

В этом послании воспроизводится некий «совет» Батюшкова Пушкину, который последний отрицает. Но сам этот «совет» — не отсылка к какому-то реальному разговору, в котором бы Батюшков что-то Пушкину «присоветовал»,— а обращение к знаменитому поэтическому манифесту Батюшкова, к его посланию «К Дашкову» (в котором также фигурирует «совет», правда противоположный). И Батюшков и Пушкин декларируют отказ от чуждых им «советов» — и делают это очень похоже:

Батюшков

А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
. . . .
На голос мирныя *цевницы*
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных Цирцей...

Пушкин

А ты, певец забавы
И друг Пермесских дев,
Ты хочешь, чтобы, славы
Стезею полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках *лир*
Войны кровавый пир...

Оба манифеста полемически противопоставлены. Один — отказ от поэтических безделок и «забав» — отказ от «цевницы». Другой — отказ от «громкой лиры» и утверждение «забав»: для «дудки» нет места при воспевании «войны кровавого пира». Отсюда финал:

И, с дерзостным Икаром
Страшась летать недаром,
Бреду своим путем:
Будь всякой при своем.

Финал многозначен. Последний стих — чуть измененная цитата из послания Жуковского «К Батюшкову» (1812). Это — новая отсылка и к Батюшкову, и к Жуковскому, и к первому посланию. Жуковский — признанный «Икар» в воспевании «кровавой брани». Батюшков — стремится ему вослед. Пушкин — «страшится» и собирается сделать то, что Жуковский советовал Батюшкову... То есть декларация эта опять приводит к мысли об изменениях Батюшкова, которые, по мнению юноши Пушкина, нежелательны для поэта...

Пушкин не отмежевывается от Батюшкова-поэта и не отказывается внимать его «лире». Он просто угадывает те «бездны», куда может завести Батюшкова его изменившийся «путь»,— и страшится за него.

Батюшков был признанным кумиром юного Пушкина; Пушкин подражал ему в ранних стихах своих больше, чем кому-либо из современников. На это указал еще Белинский: «...влияние Батюшкова на Пушкина виднее, чем влияние Жуковского. Это влияние особенно заметно в стихе, столь артистическом и художественном: не имея Батюшкова своим предшественником, Пушкин едва ли бы мог выработать себе такой стих».

Многочисленные доказательства этому привели пушкинисты. Так, Б. В. Томашевский, проанализировав «Воспоминания в Царском Селе», отметил, что отголоски «лиры Державина», о которых традиционно говорили исследователи, в них незначительны,— но очень велико влияние именно Батюшкова. Строфа пушкинских «Воспоминаний...» (редкая в русской поэзии) — аналогична строфе Батюшкова в его исторической элегии «На развалинах замка в Швеции». Фразеологические совпадения — тоже весьма многочисленны:

Пушкин	**Батюшков**
И там, где роскошь обитала В тенистых рощах и садах, Где мирт благоухал и лира трепетала, Там ныне угли, пепел, прах...	И там, где роскоши рукою Дней мира и трудов плоды, Пред златоглавою Москвою Воздвиглись храмы и сады,— Лишь угли, прах и камней горы... *(«К Дашкову»)*
И тихая луна, как лебедь величавый, Плывет в сребристых облаках.	Наш лебедь величавый, Плывешь по небесам... *(«Мои Пенаты»)*
Над твердой, мшистою скалой...	Твердыни мшистые с гранитными зубцами... *(«На развалинах замка...»)*

Устойчивые поэтические выражения («клише»), использовавшиеся лицеистом Пушкиным, сходны с таковыми же у Батюшкова: «пламенная душа», «огонь любви», «чаша сладострастья», «лить огонь и яд», «сердцем улетаю», «слезы умиленья», «тихий жар», «ульев сот», «первенцы полей», «сын природы» и т. д. и т. п. Стихотворения Пушкина-лицеиста, написанные в подражание Батюшкову («отголоски лиры Батюшкова»),— очень многочисленны: «К молодой вдове», «Князю А. М. Горчакову», «Воспоминание», «Послание к Галичу», «Городок», «К сестре», «Блаженство», «Мечтатель», «Юдину», «Пробуждение», «Окна», «Наездники»... Ни один из исследователей, касавшихся темы «Батюшков и Пушкин»,— а об этом писали П. О. Морозов, Л. Н. Майков, Н. М. Элиаш, М. О. Гершензон, В. В. Виноградов, В. Л. Комарович, Д. Д. Благой, Н. В. Фридман, В. Б. Сандомирская, Р. М. Горохова и другие,— не преминул привести хотя бы нескольких сопоставлений, добавить к поискам следов влияния Батюшкова на Пушкина и свои наблюдения,— так что составился уже своеобразный «реестр» «похищений», «припоминаний» (или, по-научному: реминисценций) Пушкина из Батюшкова...

Постараемся, однако, ответить на другой вопрос: каков был механизм этого влияния, его «путь»?

В ответе на этот вопрос как-то непременно разделяют Пушкина на начальном периоде творческого пути и зрелого Пушкина, Пушкина-реалиста. Влияние Батюшкова, как отметил еще Белинский, отличалось от влияния Жуковского тем, что было более «личным» (влияние Жуковского критик уподобил влиянию «целого периода словесности»). Такого рода «личное» влияние Пушкин-де не мог испытывать долго и, рано преодолев Батюшкова, отошел от него (как позже от Байрона). Картина вроде бы правильная, но... материал сопоставлений говорит о другом: реминисценции из Батюшкова были характерны для зрелого Пушкина не в меньшей степени, чем для юного. Еще Белинский указал на такого рода «похищение» в позднем пушкинском стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне?..»:

Пушкин	**Батюшков**
Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как дева русская свежа в пыли снегов!	Как сладок поцелуй в безмолвии ночей, Как сладко тайное любови наслажденье!

Пушкин, даже в самых «пушкинских» созданиях своих, часто цитирует Батюшкова. Вот «Евгений Онегин», седьмая глава. Татьяна, прощаясь с деревенской обстановкой, восклицает:

Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса...

Даже поэтически начитанное ухо не сразу заметит «похищения» из стихотворения Батюшкова «Последняя весна»:

Простите, рощи и долины,
Родные реки и поля...

Вот Татьяна восклицает:

Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует...

И это — тоже из Батюшкова: («Мои Пенаты»):

Фортуна, прочь с дарами
Блистательных сует...

Другое дело — как возникают эти «похищения». Когда «открываешь» их для себя — отнюдь не становится обидно за Батюшкова («похищают», вишь, у бедного), да и Пушкин от этого «мельче» не предстает (сам-де придумать не мог!). Пушкин когда-то призывал Батюшкова «играть»: теперь же — сам «играет» с Батюшковым. Ю. Тынянов так и назвал это явление: «диалектическая игра приемом».

Вот единственный пример такой «игры» (а их можно было бы привести много) — из того же «Евгения Онегина». В шестой главе романа в стихах находим цитату из стихотворения Батюшкова «Беседка муз»:

Батюшков	**Пушкин**
Пускай и в сединах, но с бодрою душой, Беспечен, как дитя всегда беспечных граций, Он некогда придет вздохнуть в сени густой *Своих черемух и акаций.*	.........Зарецкий мой, *Под сень черемух и акаций* *От бурь укрывшись наконец,* *Живет, как истинный мудрец,* *Капусту садит, как Гораций,* *Разводит уток и гусей* *И учит азбуке детей.*

«Черемухи и акации», дважды повторяющиеся в стихотворении Батюшкова, становятся символом «поэтического» счастья и спокойствия и образом, естественно связанным с обликом лирического героя. В ситуации рассказа Пушкина о Зарецком образ «черемух и акаций», выглядящий «чужим словом» (и легко узнававшийся современниками как цитата из Батюшкова), стал абстрактным соответствием поместной деревенской жизни (причем Пушкин менее всего думал о деревенской жизни самого Батюшкова), и его возвышенный смысл оказался снижен и употреблен иронически; причем не по какому-то «умыслу» Пушкина, а потому, что, будучи (как известный, «устоявшийся» поэтический образ) внесен в иную художественную систему, не мог не получить иного содержательного оттенка. Точно так же иной оттенок получают «прощание» с лесами и долинами Татьяны и упоминание ею неведомых «блистательных сует»: Пушкину важно показать «книжность» восприятия окружающего мира своей героиней,— и он густо насыщает цитатами ее лирический монолог.

Примеры «реминисценций» Пушкина из Батюшкова — подчас весьма неожиданны. Одну из них указал Г. П. Макогоненко[20]: в «Медном всаднике» Пушкин прямо цитирует стих из батюшковского «Послания к Тургеневу» (1816). Пометы Пушкина на полях батюшковских «Опытов...», относившиеся к этому стихотворению Батюшкова, самые неприятные, а в конце — прямое обвинение в адрес издателя: «Охота печатать всякий вздор!..» И тем не менее...

«Послание к Тургеневу» Батюшкова — экспромт, в котором поэт просил друга похлопотать о денежном пособии некоей московской вдове Поповой и ее дочери. Но в этот экспромт включена маленькая стихотворная повесть о бедствиях бедного московского семейства:

Но кто они? — скажу точь-в-точь
Всю повесть их перед тобою.
Они — вдова и дочь,
Чета, забытая судьбою...

«Они — вдова и дочь». Именно этими словами открывается рассказ о возлюбленной Евгения из «Медного всадника»:

Почти у самого залива —
Забор некрашеный, да ива
И ветхий домик: там *оне,*
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта...

Подобную же ситуацию находим в поэме «Домик в Коломне»:

Теперь начнем.— Жила-была *вдова,*
Тому лет восемь, бедная старушка.
С одною дочерью...

Включенная в экспромт Батюшкова, история «вдовы и дочери», которые оказались в крайней нищете после разорения Москвы французами, была описательной и очень обыденной,— и в этом смысле оказалась сопоставимой с пушкинскими поэмами, пафос которых заключался в утверждении серьезной философской значимости именно простых человеческих страданий и нехитрых «приключений». Батюшков, вероятно, даже не осознавал, сколь важные литературные перспективы открывал его наскоро писанный экспромт, совершенно «выламывавшийся» из традиций лирики первых десятилетий XIX века.

Через полтора десятилетия после Батюшкова ту же жизненную стихию, которую Батюшков едва очертил, примется описывать Пушкин — и блестяще разовьет в своих поэмах. А современники — не поймут и Пушкина и, имея в виду эти поэмы, будут говорить об «упадке гения». И потребуются десятилетия, прежде чем в литературном сознании окажется понята новаторская сущность пушкинских созданий,— понята и оценена по достоинству. А батюшковский экспромт, перед которым когда-то и Пушкин, еще до него не доросший, просто пожал плечами и заметил: «Охота печатать всякий вздор!..» — так и не будет осмыслена общим литературным сознанием и окажется навсегда заслонен теми же пушкинскими созданиями: кому интересны какие-то полунамеки в каком-то экспромте, когда есть уже «Медный всадник» и «Домик в Коломне»... Такова, в общем-то, участь любого литературного «открывателя», невзначай приоткрывшего то, чем будет дышать литература десятилетия спустя.

Батюшков, однако, так и не стал для Пушкина «побежденным учителем». И само соотношение «учитель — ученик» применительно к Батюшкову — Пушкину оказывается совсем непростым. Белинский, например, выделил здесь две стороны проблемы.

Вот одна сторона — эти высказывания Белинского чаще всего цитируются: «...Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно». И еще:

«...до Пушкина ни один поэт, кроме Батюшкова, не в состоянии был показать возможности такого русского стиха».

Но есть и оборотная сторона этого соотношения. «Батюшков,— пишет Белинский,— не имел почти никакого влияния на общество, пользуясь великим уважением только со стороны записных словесников своего времени...» Это не Жуковский, с творчеством которого «связано нравственное развитие каждого из нас в известную эпоху нашей жизни...». Батюшков не создал поэтической школы — и не потому, что ему для этого «дарования не хватило». Напротив, он имел, пишет Белинский, «блестящее дарование». Но тут же замечает: «Его талант был гораздо выше того, что сделано им». И еще: «Батюшков как будто не сознавал своего призвания и не старался быть ему верным, тогда как Жуковский, руководимый непосредственным влечением своего духа, был верен своему романтизму и вполне исчерпал его в своих произведениях». «Классические» формы произведений Батюшкова причудливо сочетались с не вполне осознанным еще стремлением его к множественности художественных проявлений. Батюшков — всегда искал, постоянно искал новых форм и новых мотивов литературы. Поиски эти были, с одной стороны, по достоинству оценены его современниками, с другой — осуждены. Едва создав что-то новое, значительное в какой-либо области художественного творчества, Батюшков тотчас же отказывался от созданного и искал другое. Это «другое» не всегда получалось, часто не обнародовалось — и приводило к впечатлению, что поэт «спокойно спит» (так сказано в поэме Пушкина «Тень Фонвизина»!).

Приведя стихотворение Батюшкова «Вакханка», Белинский заметил: «Это еще не пушкинские стихи; но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских...» Что это: упрек или похвала? Конечно, похвала — но и упрек тоже. «Это *еще* не пушкинские...» Что же мешало Батюшкову, имевшему «громадное дарование», как пишет Белинский, «переступить черту, отделяющую талант от гениальности»? Он ее не переступил и, создав «еще не пушкинские стихи», подготовил почву именно для пушкинских, а «не других каких-нибудь»...

К чему же это привело? Да к тому, что Батюшков-поэт оказался «перечеркнут» Пушкиным-поэтом, ибо его — единичные — достижения в самых разных областях в творчестве Пушкина обернулись иным качественным уровнем и отходом от «единичности».

Дело ведь не только в Пушкине. Если бы Белинскому был известен очерк Батюшкова «Прогулка по Москве», он бы непременно отметил, что Батюшков «предугадал» в нем основные формы и приемы физиологического очерка 1840-х годов! В записной книжке Батюшкова были намечены черты так называемой «исповедальной прозы»; записная книжка была опубликована в 1886 году, а этот тип прозы появился в семидесятые

годы XIX века. В начале XX века творчеством Батюшкова заинтересовался О. Мандельштам и использовал многие его достижения как современные достижения современного акмеизма. То, что Батюшков «искал» в начале XIX века, «находилось» литературой много позже — и часто вне зависимости от Батюшкова. Он как бы обесценивал сам себя. По выражению того же Мандельштама,

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес...

«Косноязычный» — так! Батюшков закладывал только самые начатки, самые основы будущих литературных поисков, широко развернувшихся позднее,— и на этом этапе не мог быть иным. Направленностью своей творческой позиции он как бы обрекал себя на ту незавидную участь бытования в литературном сознании современников, какую испытал сам Пушкин в тридцатые годы, когда его блестящие стихи и гениальные прозрения воспринимались как «падение таланта». В сознании современников (да и ближайших потомков) незавершенная, мятущаяся фигура Батюшкова воспринималась как фигура «ленивца», который мог сделать больше того, что он сделал, которого постоянно нужно было «дополнять» и «развивать». И развивали. *Около* Батюшкова, в кругу его литературного направления, мы не найдем ни одного поэта,— но *от* Батюшкова шли и Пушкин, и Рылеев, и Баратынский — и еще десятки поэтов. И ни для одного из них Батюшков не стал «побежденным учителем».

Он остался «учителем» особым: открывая «ученику» новые горизонты, он отходил и предоставлял «ученику» возможность самому «доучиться». И в этом отношении Батюшков оказался феноменом русской духовной культуры.

Так непросто обернулась для наследия Батюшкова его «встреча с Пушкиным»...

Что же касается самих обстоятельств первой встречи Батюшкова и Пушкина, то, думается, она не была ни «специальной», ни сколько-нибудь идиллической, во всяком случае не такой, какой представил ее В. Дементьев в очерке «Питомец муз»: «...друзья бродили по окрестным рощам, обедали в кухмистерской, сочиняли шутливые вирши»[21].

Все эти «вирши» популярного литературоведения покоятся на приведенной выше фразе из письма Пушкина к Вяземскому, вынутой из контекста всего письма. Оно написано 27 марта 1816 года. Неделю назад Пушкин и Вяземский познакомились; оба очень ждали этого знакомства. Потом Вяземский уехал в Москву, где в это время жил Батюшков. Пушкин просит обнять его в знак уважения и напомнить какую-то давнюю шутку, им понятную, для нас — темную...

Перед отъездом из Петербурга Батюшков оставил друзьям только что законченное большое произведение — сказку «Странствователь и Домосед».

Батюшков — Вяземскому, 10 января 1815, Петербург.

«Я ничего печатать не хочу и долго не буду, а пишу для себя. Теперь кончил сказку «Домосед и Странствователь», которая тебе, может быть, понравится, потому что напомнит обо мне. Я описал себя, свои собственные заблуждения и сердца, и ума моего. Пришлю, как скоро будет время».

Со следующим письмом, через месяц, Батюшков послал сказку в Москву, просил Вяземского прочитать ее «обществу» и выслать «замечания». Того же просил он у Жуковского, у Гнедича, у Крылова... Ни одно из произведений не волновало его так, как эта сказка. Вяземскому сказка решительно не понравилась, Гнедичу — тоже. Крылов прислал (много позже) какие-то замечания, которыми Батюшков не успел воспользоваться и которые до нас не дошли (III, 460). Жуковский в письме к А. П. Киреевской отозвался о новом произведении Батюшкова доброжелательно и чуть снисходительно: «прекрасная повесть... писанная слогом прелестным, хотя немного длинная»[22]. Позже Пушкин находил эту сказку «беспланової» и «холодной», а Белинский — «скучной»... Между тем сам Батюшков считал «Странствователя и Домоседа» самым ярким из своих произведений.

Так и осталась эта сказка одним из загадочных и сложных произведений Батюшкова. И толкуют ее то как образец новаторства Батюшкова-поэта, то как дань традиционализму и творческую неудачу. Но во всех случаях подчеркивают ее автобиографическую основу.

Объехав свет кругом,
Спокойный домосед, перед моим камином
Сижу и думаю о том,
Как трудно быть своих привычек властелином;
Как трудно век дожить на родине своей
Тому, кто в юности из края в край носился,
Все видел, все узнал — и что ж? из-за морей
Ни лучше, ни умней
Под кров домашний воротился:
Поклонник суетным мечтам,
Он осужден искать... чего — не знает сам!
О страннике таком скажу я повесть вам.

Батюшков окончил сказку в Петербурге в начале января 1815 года. Месяцем раньше, в Москве, Жуковский написал стихотворение «Теон и Эсхин». Оба произведения писались независимо одно

от другого, и оба оказались удивительно похожи между собой.

«Теон и Эсхин» стал программным произведением Жуковского, воплотившим основные моральные устремления его поэзии. Основные идейные «посылки» этого стихотворения были высказаны Жуковским в его ранних письмах («Наше счастье в нас самих!»— лозунг из письма к А. И. Тургеневу от августа 1805 года) и в прозе: «Кто истинно добрый и счастливый человек? — Один тот, кто способен наслаждаться семейственною жизнию, есть прямо добрый и, следовательно, прямо счастливый человек»[23]. В основе «Теона и Эсхина» лежит программная романтическая мысль: за счастьем не надо ходить далеко, оно в самом человеке. Поэт лишь растолковывает объективное содержание понятия «счастье».

Уставший от бесплодных скитаний Эсхин вернулся домой и успокоился в смиренном домике своего друга Теона, который, хотя и перенес тяжелую жизненную потерю, оказывается счастлив, ибо нашел свое место в этой жизни, определил свой путь, ведущий его «к возвышенной цели». Этот сюжет изложен в форме поэтического урока, насыщенного афористическими откровениями, а заключающая стихотворение мысль откровенно моралистична и дидактична:

> *Всё* небо нам да́ло, мой друг, с бытием:
> *Всё* в жизни к великому средство...

Если бы мы не знали точно, что сказка Батюшкова написана независимо от стихотворения Жуковского, то мы бы непременно стали искать этой зависимости. «Странствователь и Домосед» очень напоминает «Теона и Эсхина» по сюжету и по типу противопоставления двух героев, один из которых «скитался» по свету и не нашел счастья, а другой удовлетворился счастьем «домашним». Действие обоих произведений отнесено в обстановку условной античности. Только у Батюшкова Филалет («странствователь»), испытав, подобно Эсхину, много горя и неудач, все-таки не мог прожить больше пяти дней в смиренном домике своего брата...

Батюшков — Вяземскому, февраль 1815, Петербург:

> «Верь мне, что я болен не одним воображением, и в доказательство сего пришлю тебе мою сказку «Странствователь и Домосед», где я сам над собою смеялся... Недавно еще, пересматривая мой список *«рифм и слов»*, я воскликнул, как мой Странствователь в Египте: «Какие глупости! Какое заблужденье!»

«Самоосмеяние» Батюшкова шло с тех же позиций, которые утверждал Жуковский в «Теоне и Эсхине». Житель афинского предместья Филалет стремится к путешествиям (в отличие от своего брата Клита),— но не может определиться в своих стремлениях и поэтому терпит неудачу за неудачей (причем неудачи,

как правило, комического порядка: наступил «псу священному» «на божескую лапу»; не смог по требованию пифагорейцев «молчать да все поститься» и т. д.). После заключительной неудачи — публичного позора на Афинской площади — Филалет, «жалкий... избитый, полумертвый», возвращается под кров своего смиренного брата.

Современники упрекали Батюшкова в растянутости описания «бедствий» Филалета. Действительно, в «Теоне и Эсхине» подобные «бедствия» уместились в четыре строки:

И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот —
Лишь сердце они изнурили;
Цвет жизни был сорван; увяла душа;
В ней скука сменила надежду.

Но в сказке Батюшкова речь идет не столько о душевных страданиях, сколько о реальных житейских бедах. Филалет едва убежал «от гнева старцев разъяренных», у него отняли деньги и едва «жизнь не отняли» воры, от отчаяния он едва не утопился в реке (Филалета спасает от смерти «скептический мудрец» Памфил); наконец, его едва не забили камнями на Афинской площади (тут его с риском для жизни «спасает бедный Клит»). Однако эти беды Филалета изложены автором с явной тенденцией к иронии: прозаические мотивировки, насмешливая интонация, характерная техника «пуант-концовок»:

Но хижину отцов нередко вспоминал,
В ненастье по лесам бродя с своей клюкою,
Как червем, тайною снедаемый тоскою,—
Притом же кошелек
У грека стал легок...

Кажется, «растянутость» сказки Батюшкова вызвана как раз тем, что он постоянно соотносит «страдания» героя и свои собственные горести, намечает параллелизм судьбы персонажа и судьбы автора. Отсылки к авторскому «я» присутствуют в сказке и как параллельные «воспоминания» (о возвращении в Петербург, в «милый дом» на Фонтанке), и как «пуанты», подчеркивающие соотнесенность «я» автора и «я» Филалета. Подобного типа «самоиронию» раскрыть короче было просто невозможно.

Эта же самоирония определила и неожиданное окончание сказки, перечеркнувшее идеологическую программу «семейственного» счастья, намеченную Жуковским в «Теоне и Эсхине». Филалет, переживший множество бедствий и убедившийся в бесплодности «скитаний», оказался под уютным кровом своего брата, счастливого в своей «гармонической», тихой жизни...

А дней через пяток, не боле,
Наскуча видеть все одно и то же поле,
Все те же лица всякой день,
Наш грек — поверите ль? — как в клетке стосковался...

Это — сам Батюшков. Он, как Филалет, вдоволь слонялся по свету, и во всем свете не нашел ничего ни умного, ни доброго, ни истинно нужного. Он был в Австрии, Германии, Франции, Англии, Швеции,— и отовсюду воротился «ни лучше, ни умней», и везде бывал несчастлив, болен, неудовлетворен. Во всех краях, скитаясь, он рвался домой. Но и дома не мог прожить долго и через несколько месяцев рвался опять в скитания по градам и весям, и опять домой, и опять... «Жить дома и садить капусту я умею, но у меня нет ни дома, ни капусты...» (III, 438).

Батюшков подчеркивает: его герой вновь отправляется в путешествие, заранее обреченное на неудачу: «За розами побрел — в снега Гипербореев». И кончается сказка совершенно «батюшковским» жестом: картинкой расставания, которую поэт мог столько раз наблюдать, уезжая от своих родичей:

«Брат, милый, воротись, мы просим, ради бога!
Чего тебе искать в чужбине? новых бед?
Откройся, что тебе в отечестве не мило?
Иль дружество тебя, жестокий, огорчило?
Останься, милый брат, останься, Филалет!»
Напрасные слова — чудак не воротился —
Рукой махнул... и скрылся.

«Конец прекрасен!» — отметил Пушкин на полях «Опытов». Между тем этот конец невольно оказался противопоставленным идеологии «Теона и Эсхина». Батюшков предлагает прежде всего субъективный показатель счастья: никакой объективной «гармонии» и ничего объективно «великого» просто не существует. Клит действительно счастлив на своем «наследственном поле»— но на то он и «простяк, неграмотный, презренный, В Афинах дни влачить без славы осужденный». «Чудаку» Филалету прежде всего наскучило «видеть все одно и то же поле»: для него требуется «счастье» другого типа, и, даже если оно недостижимо, он не в силах довольствоваться «гармонией» Клита. Наконец, если герой Жуковского находит счастье, уповая на мистический, внеположный реальному мир, то герой Батюшкова, вторгаясь в жестокую действительность, страдая от ее «бичей», не находит себе пристанища даже и в мечте. Очень точно сказал об этой черте батюшковской поэзии Г. А. Гуковский: «Батюшков — поэт еще более трагический, чем Жуковский. Это — поэт безнадежности»[24].

Анализируя поэтику «Странствователя и Домоседа», Ю. В. Манн сделал любопытное наблюдение. Сказку Батюшкова можно было бы определить как пародию на романтическую поэму,— однако

сам объект пародии — романтическая поэма — ко времени создания сказки еще не сформировалась. Произведение Батюшкова «расходилось с духом времени и литературы» и как бы предварило «не только романтические моменты, но и порожденную ими светотень иронии, что... с историко-литературной стороны самое любопытное»[25].

Все это, может быть, и правильно,— но что скрывалось за этим историко-литературным парадоксом? Почему Батюшков обогнал литературные представления своего времени лет этак на пятнадцать?..

Комический облик неудачного странствователя был разработан еще в конце XVIII века в стихотворных сказках-новеллах И. И. Дмитриева «Искатели фортуны», «Причудница», «Два голубя». Батюшков не только не скрывал родство своей сказки с «образцами» Дмитриева, но подчеркивал его. Посылая «Странствователя...» Вяземскому, он советует своему корреспонденту: «Зачем ты не испытаешь род сказки? Зачем Дмитриеву оставлять одному его, такое веселое и пространное, созданное как нарочно для твоего остроумия, ума и сердца? Дай бог, чтоб мой опыт тебя воспалил. ...У нас множество баснописцев. Пусть будут и сказочники. Этот род не низкой. Требует ума и большой разборчивости».

Дмитриев в своих сказках приходит к осуждению и осмеянию «странствователей» во имя сентиментального идеала «тихой» жизни. В «Искателях фортуны» один из героев гонится за счастьем по всему свету, едва не погибает среди бесчисленных бедствий, а, воротившись из дальних стран, находит Фортуну в головах у своего друга, который мирно жил дома. Подобный сюжет Дмитриев заключает еще благоразумной моралью:

Где лучше, как в своей родимой жить семье?
Итак, вперед страшись ты покидать ее!
(«Причудница»)

О вы, которых бог любви соединил!
Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нил
И дале ближнего ручья не разлучайтесь.
(«Два Голубя»)

В сказке Батюшкова «Странствователь и Домосед» нет морали. «Чудак» Филалет так и не достигнет своей Фортуны, а от «простяка» Клита его «гармоническое» счастье никуда не денется. И почему-то «чудак» никак не может успокоиться в этом беспокойном мире. Поиски батюшковского героя бесплодны: «Он осужден искать... чего — не знает сам!» — и все же автор отправляет его в новые и новые путешествия. Потому что сам Батюшков все никак не может успокоиться,— как лермонтовский Парус, как Онегин у Пушкина:

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест...

Далее Пушкин подчеркивает:

(Весьма *мучительное* свойство,
Немногих добровольный крест)...

И еще ниже — совсем уже трагический исход:

И путешествия ему,
Как все на свете, надоели...

Ну, а куда он денется?

Батюшков в письме к Жуковскому от 3 ноября 1814 года, перечислив все многочисленные путешествия свои, совершенные за последний год, воскликнул: «Вот моя Одиссея, поистине Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному. Каждого из нас гонит какой-нибудь мститель-бог: кого Марс, кого Аполлон, кого Венера, кого Фурии, а меня — Скука. Самое маленькое дарование мое, которым подарила меня судьба, конечно — в гневе своем, сделалось моим мучителем. Я вижу его бесполезность для общества и для себя. ...Скажи мне, к чему прибегнуть, чем занять пустоту душевную; скажи мне, как могу быть полезен обществу, себе, друзьям!» (III, 303 — 304).

Онегина гонит по России тоска. Батюшкова — «богиня Скука». Что страшнее? В этом же письме Батюшков рассуждает: «Разве ты не знаешь, что мне не посидится на месте, что я сделался совершенным калмыком с некоторого времени и что приятелю твоему нужен *оседлок*, как говорит Шишков, пристанище, где он мог бы собраться с духом и силами душевными и телесными, мог бы дышать свободнее в кругу таких людей, как ты, например? И много ли мне надобно? Цветы и убежище, как говорит терзатель Делиля, наш злой и добрый дух, который прогуливается на земле в виде Воейкова. К несчастию, ни цветов, ни убежища!» (III, 303).

И куда убежишь, если то, что происходит с Батюшковым и с его Филалетом, становится характернейшим признаком времени?

Н. И. Тургенев. Дневник, запись от 10 мая 1818 г.: «Мне кажется, что русские менее сидят на одном месте, нежели другие. К этой мысли привело меня то, что беспрестанно кто-нибудь из моих знакомых уезжает. Это частию происходит, может быть, от характера, частию же от того, что они не находят удовольствия или прелести жить на одном месте. Или от того, что ничто их здесь не удерживает»[26].

Поэтому «скитальцами» стали пушкинский Онегин, грибоедовский Чацкий, лермонтовский Печорин... На фоне этих класси-

ческих образов меркнет облик батюшковского неудачника Филалета. Но, кажется, именно здесь лежит начало этих героев русской жизни и русской литературы. Не случайно ведь Пушкину так понравился именно «конец» этой старой как мир батюшковской сказки.

ТЯГОСТИ

Время шло — а Батюшков так и не знал, что ему делать, как быть, куда определиться...

Из письма Л. В. Давыдова к К. Н. Батюшкову, 29 октября 1814, Москва:

«Я на днях получил письмо от Алексея Николаевича (Бахметева.— *В. К.*): он уже приехал в Каменец и позволяет мне здесь в Москве остаться, сколько будет нужно для излечения от раны. Я воспользуюсь этим случаем, чтобы и отдохнуть, и повеселиться. ...Напиши мне, думаешь ли ты возвращаться к Алексею Николаевичу или нет; здесь слухи носятся, что ты будешь на днях переведен в гвардию,— дай бог. Денис тебе кланяется, он бы и сам к тебе приписал, да нездоров, бедняжка...

(Приписка Дениса Давыдова)... то есть пьет мертво, а сердце задрала за живое Терпсихора»[27]

Батюшков — сестре Александре, начало ноября 1814, Петербург:

«Я рассмеялся, читая замечание твое о моем счастии. Где же оно? Все мои товарищи — генералы, менее счастливые — полковники. Теперь, если у меня еще осталась тень честолюбия, то, прослужа три войны, спрашиваю у моего рассудка: что остается мне? ...Напротив того, я могу служить примером неудачи во всем...» (III, 297).

Перевод в гвардию — не состоялся. Чины — не давались. Добрейший генерал Бахметев разрешил своим адъютантам, Батюшкову и Льву Давыдову, отпуск,— но ведь всему пора и честь знать...

В конце февраля, по последнему зимнему пути, Батюшков уехал в Хантоново, а по летнему пути надобно ехать в Каменец. Весна оставалась для передышки.

Передышки, однако, не получилось — пошли новые хлопоты.

Деньги... Ни военная служба, ни литературные «безделки» не приносили их в довольном количестве. Уже с 1810 года Батюшков начал помаленьку закладывать имения в Заемный банк...

1 апреля 1815 года он заложил сорок девять душ в деревнях своих Вологодской округи и получил 3 490 рублей[28]. Этой суммы не хватило — и 15 июня 1815 года, уже по дороге к месту службы, занял в Опекунском совете в Москве еще 3 430 рублей (с ежегодным процентом 205 рублей 80 копеек)...[29] Дело это было опасное и грозило полным разорением,— но как при малых деньгах отправляться в большую дорогу?

Дом... Часть полученных таким образом денег Батюшков пустил на поправление старого хантоновского дома. «Бога ради, строй дом! — писал он сестре в середине октября 1814 года. — Что нужды, что у тебя будет долг? Ты можешь заложить имение, вместе с Варенькой, для уплаты. Как жить без дому, как не иметь пристанища, как не стараться удвоить доходов посредством экономии, покупкою скота и проч.! У тебя это было бы занятием. Жить день за день, без пользы,— осудительно» (III, 296). Дом, однако, строился туго: мешали экономические неурядицы, распутывать которые ни поэт, ни сестра его не умели...

В 1814 — 1815 годах перестройке хантоновского дома способствовали особенные обстоятельства: в имении самого Батюшкова, как и в усадьбе его отца, оказались пленные наполеоновской армии. В Даниловском их руками был разбит прекрасный парк, часть которого дошла до нашего времени. В Хантонове они участвовали в перестройке дома. Мы, например, знаем, что в Хантоновской усадьбе с 1813 по 1817 год жил некто «уроженец из Мюнстера», который «попал нам в плен с оружием в руках в 1812 году и отослан в Вологду»[30].

Во всяком случае, в 1815 — 1817 годах старый дом был, не без усилий самого Батюшкова, перестроен. Из двухэтажного он стал одноэтажным: маленькой, «временной» помещичьей усадьбой. Сотруднику Череповецкого краеведческого музея Н. П. Морозовой удалось найти архивное описание усадьбы и имения Батюшкова, относящееся к 1842 году (когда больной Батюшков находился в Вологде, а его сестра Александра умерла и в имении жили лишь две дворовые семьи). Это описание небезынтересно.

В Череповском уезде Батюшковым принадлежало сельцо Хантоново с деревнями Петряево и Филимоново. В них насчитывалось около семидесяти душ крепостных мужеска пола и около двухсот восьмидесяти десятин земли. В сельце Хантонове высевалось ржи двадцать четыре четверти и ярового хлеба втрое больше,— но особенно славились пойменные луга (имение находилось в шести верстах от величавой Шексны), на которых выкашивали до ста семидесяти возов сена.

Господский дом — одноэтажный, крытый тесом, по семи саженей в длину и ширину, с двумя крыльцами и балконом со «створчатым окном». В доме семь «покоев», пять кирпичных

печей и камин, две кухни (людская и господская), семнадцать окон...[31] Батюшков, наверное, гордился этим творением своих поэтических рук.

Отец... у Николая Львовича Батюшкова в 1814 году умерла вторая жена, и он остался с двумя маленькими детьми на руках при совершенно расстроенном хозяйстве. Дочь Юлию он отправил в Ярославль, в Пансион к мадам Берте[32], маленький Помпей оставался при нем. Хворый, отчаявшийся, оплывший от болезней, пятидесятипятилетний Николай Львович впадал в детство и производил впечатление удручающее. «Я был у батюшки,— пишет Константин Е. Ф. Муравьевой,— и нашел его в горестном положении: дела его расстроены, но поправить можно ему самому. Шесть дней, которые провел у него, измучили меня. Но я здоров и уеду в Каменец, если получу ответ на мое письмо от Бахметева (III, 310).

Предстоящая служба — «пребывание и бесплодная жизнь в Каменце» (III, 316) — тоже не радовала: «Неудачи по службе меня отвратили от нее совершенно» (III, 317). Еще не уехав на службу, он уже думает об отставке, хотя и собирается «служить не тужить» и выполнять «рыцарский» долг.

2 июня пришел безусловный вызов от Бахметева — и Батюшков выехал в Каменец-Подольский.

Батюшков — П. А. Шипилову, 3 июня 1815, из Хантонова в Вологду:

«Вчера я получил письмо от Бахметева, весьма учтивое; по этому письму мог бы помедлить еще несколько дней, но так как бричка уже в Рыбной, то ехать не на чем, и при том время теряется. Крайне сожалею, что с тобою не мог увидеться: обо многом переговорить надобно. Но что делать! Покоряться непреклонной судьбе и против желания скакать бог знает куда. По крайней мере, письменно благодарю тебя за попечение твое о делах моих. Бога ради, не оставляй их. Знаю, что эта работа не веселая, но чувствую, что я на твоем месте, скрепя сердце, то же бы делал»[33].

Батюшков — Гнедичу, того же числа:

«Самое пребывание в Каменце не очень лестно. На счастье я права не имею, конечно; но горестно истратить прелестные дни жизни на большой дороге, без пользы для себя и для других; по-моему, уж лучше воевать. Всего же горестнее (и не думай, чтобы это была пустая фраза) быть оторванным от словесности, от занятий ума, от милых привычек жизни и от друзей своих. Такая жизнь — бремя. Есть лекарство скуке: пушечные выстрелы. Не к ним ли опять ведет упрямая судьба?» (III, 318 — 319).

8 июня Батюшков покорно поехал к новому месту службы, хотя умом прекрасно понимал, что жизнь на жарком юге, в душ-

ной и глухой провинции, не доставит ему ни радости, ни удач. В Москве к нему присоединился Левушка Давыдов, и адъютанты Бахметева направились к своему генералу вместе: сначала до Киева, а с Киева до Волыни, а с Волыни на Подоль...— до маленькой крепости и глухого городка, где, однако, находилась в то время штаб-квартира Бессарабского наместничества.

«Одиссея» Батюшкова еще не кончилась, хотя уже изрядно ему надоела.

РАЗДУМЬЯ

Батюшков — Гнедичу, 10 июля 1815, Каменец-Подольский:
«Теперь я не имею скорой или близкой надежды увидеться с тобою и выцарапать тебе последний твой глаз, который дальновиднее моих обоих, за то, что ты меня вовсе забыл... И что у тебя за леность? Пишешь к каждому пономарю в Малороссии, а не пишешь к другу... Пиши ко мне хотя для того, что я в отчизне галушек, вареников, волов, мазанок, усов и чубов. ...Если вы меня все забыли, то есть Гнедич и Николай Иванович, то я умру новым родом смерти: тридцать верст от нас карантин; выпрошу позволение отправиться туда, зачумею — и поминай как звали! Но я думаю, что обыкновенная чума не действует на тех, к которым привита чума стихотворная. Вот новая беда!» (III, 331 — 332).

Тональность писем Батюшкова этого периода весьма противоречива. С одной стороны, он не устает жаловаться на скуку, на несчастия, на тягостные «воспоминания», на безденежье, на болезни и на собственную хандру. С другой стороны, письма этого периода наполнены юмором, иронией, выдумкой,— чего в переписке его не встречалось со времен Парижа и что обыкновенно означало, что Батюшков находится «в форме», наполнен творческими идеями и желанием трудиться.

Бахметев ласково принял своих «беспутных» адъютантов, которых уж и не чаял видеть подле себя. Добрейший и болезненный старик, он весьма нравился Батюшкову: это был тот самый «израненный герой», с которым вместе поэт когда-то поклялся выступить противу врагов отчизны.

Особенных знакомств в Каменце Батюшков не завел: более или менее близки ему оказались лишь местный губернатор граф К. Ф. де Сен-При (по его просьбе Батюшков написал «Надпись к портрету графа Эммануила Сен-При», покойного брата подольского губернатора, смертельно раненного в 1814 году под

стенами Парижа) да некий соученик Жуковского по Московскому университетскому пансиону Христофор Иванович Герке. Знакомства эти были случайные и нимало не мешали душевному одиночеству, превращавшемуся в некую жизненную позицию.

Батюшков — Е. Ф. Муравьевой, 11 августа 1815, Каменец-Подольский:

«Мы живем в крепости, окружены горами и жидами. Вот шесть недель, что я здесь, а ни одного слова ни с одной женщиной не говорил. Вы можете судить, какое общество в Каменце. Кроме советников с женами и с детьми, кроме должностных людей и стряпчих, двух или трех гарнизонных полковников, безмолвных офицеров и целой толпы жидов,— ни души. Есть театр; посудите, каков он должен быть: когда идет дождь, то зрители вынимают зонтики; ветер свищет во всех углах и с прекрасными пьяными актерами и скрипкою оркестра производит гармонию особенного рода. ...Все мои радости и удовольствия в воспоминании. Настоящее скучно, будущее богу известно, а протекшее — наше» (III, 343 — 344).

Как это случалось у Батюшкова, особенная скука окружающей гарнизонной жизни стала вдохновляющей силой для художественного творчества, для работы. Он как бы противопоставил свою личность гнетущему ее быту... «Я по горло в итальянском языке»,— сообщает он Гнедичу (III, 339). «Теперь я по горло в прозе»,— не без гордости заявляет он Жуковскому (III, 345). Но и в итальянских стихах, и в прозаических набросках Батюшкова влечет стихия *воспоминаний.*

Воспоминания о любви. Батюшков заново переживает свою несчастную любовь к Аннете Фурман и заново воссоздает ее в цикле стихов, отрывки из которых были приведены выше: «Таврида», «Мой гений», «Разлука», «Последняя весна», «Пробуждение», «Воспоминания», «Надежда»... Он узнал и об окончательном крушении любви, и об отъезде Аннеты из Петербурга,— и как бы вновь переживает тягостное увлечение, после крушения которого рана в сердце еще не успела зарубцеваться:

Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый ум не победит
Любви холодными словами.
(*«Пробуждение»*)

Воспоминания о друзьях. Летом и осенью 1815 года Батюшков пишет «Воспоминания мест, сражений и путешествий», «Воспоминание о Петине», «Путешествие в замок Сирей». Перед

Батюшковым вновь встают прошлые походы и «пушечные выстрелы» — и во всей чистоте человеческой выступает облик Ивана Петина, товарища трех походов, «погибшего над Плейскими струями»: «Я ношу сей образ в душе, как залог священный; он будет путеводителем к добру; с ним неразлучный, я не стану бледнеть под ядрами, не изменю чести, не оставлю ее знамени. Мы увидимся в лучшем мире; здесь мне осталось одно воспоминание о друге, воспоминание, прелестный цвет посреди пустыней, могил и развалин жизни».

Воспоминания о былых литературных увлечениях. В Каменце Батюшков пишет статьи «Ариост и Тасс», «Петрарка», «О характере Ломоносова», «Нечто о поэте и поэзии». Это — и маленькие исследования, и попытка определить ценность лучших (по мнению Батюшкова) образцов русской и итальянской литературы для создания литературы новой. Не случайно ведь Пушкин, тоже много об этом размышлявший, говоря о значении Батюшкова, соотносил его имя прежде всего с именами Петрарки и Ломоносова: «...Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского...»[34]

Воспоминания о своей прежней «маленькой философии»... Они отразились в статьях «Две аллегории», «О лучших свойствах сердца», «Нечто о морали, основанной на философии и религии». Именно в связи с этими статьями некоторые исследователи пишут, что «в 1815 г. душевный кризис Батюшкова достигает апогея в своем напряжении, и поэт оказывается захваченным реакционными философскими идеями»[35]. Такое утверждение не вполне верно,— если учесть развитие батюшковской «маленькой философии».

В основе мировоззрения Батюшкова лежало чувство разлада между идеалом и действительностью. В представлениях своих поэт своеобразно соединил радость жизни и ее наслаждений (как цель бытия) и скептицизм (как способ оценки противоречий действительного мира). Эта, «довоенная», философия была уже сама по себе достаточно противоречива. Ее с самого начала пронизывала тревога за судьбы мира, «перевернувшегося» вместе с французской революцией. Столкнувшись в 1812 — 1814 годах с «образованным варварством», с разрушением мира прежних иллюзий, Батюшков пришел в отчаяние. Отечественная война оживила общество, дала толчок декабристским настроениям,— Батюшкова же она погрузила во мрачные раздумья о «потерях невозвратных» и о вреде революций и просветительской деятельности.

В статье «Нечто о морали...» Батюшков писал: «Мы видели зло, созданное надменными мудрецами,— добра не видали». «Надменными мудрецами» здесь называются былые его кумиры: Руссо, Дидро, Гельвеций...

В этой же статье Батюшков последовательно отвергает философию сенсуалистов, стоиков, гедонистов, просветителей,— и философию как таковую. Он погружается в меланхолию, и даже его религиозные увлечения, усилившиеся в этот период, получают драматическую окраску, оказываются пропитаны пессимизмом...

Прошла пора «наслаждений ума и сердца». Батюшков взрослеет и надламывается: «Где и что такое эти наслаждения, убегающие, обманчивые, непостоянные, отравленные слабостию души и тела, помраченные воспоминанием или грустным предвидением будущего? К чему ведут эти суетные познания ума, науки и опытность, трудом приобретенные? Нет ответа, и не может быть!»

Батюшков вспоминает самого себя, прежнего,— и отказывается от себя самого. Добродетель, пишет он, «есть отречение от самого себя». А писателю нужнее всего «вера и нравственность, на ней основанная». Мерилом же общественной «веры и нравственности» становится современное состояние культуры и искусства, а «служение добру и красоте» мыслится единственно достойною целью собственной жизни.

Одним из первых эту перемену в Батюшкове, это разрушение прежнего «резвого мудреца» почувствовал Вяземский. Еще до отъезда в Каменец Батюшков получил от него письмо, на которое ничего не отвечал. В этом письме Вяземского были, между прочим, такие строки:

«Ох, Батюшков, ты меня бесишь! Я с своим умом часто бездумствую; не спорю; но ты с своим умничаешь и умствуешь, и одно гораздо хуже и стыднее другого... Твое беспокойствие наводит на тебя мрачность, тяготит тебя и приводит в совершенное изнеможение... Рожденный любезным повесою... ты лезешь в скучные колпаки; рожденный мотыльком, что за охота проситься тебе в филины?»

Батюшков на это, верно, мог бы спросить: как знать, а может, и не было на свете ни «повесы», ни «мотылька»?..

«Батюшков! — взывает Вяземский,— что с тобою сделалось? ты, верно, вырос, потолстел, нос распрямился, волоса почернели, вырос зоб на груди, тебя перекрестили в какие-нибудь Никифоры и бог весть какие с тобою сбылись превращения».

Не было никаких превращений. Батюшков просто перешел в другой, взрослый возраст. И очень устал от своей «Одиссеи»...

Батюшков — Е. Ф. Муравьевой, 4 ноября 1815, Каменец-Подольский:

«Теперь я решился: говорил с генералом и подал просьбу в отставку, которую отправлю послезавтра. Надобно быть моим совершенным недоброжелателем, чтобы обвинить мой поступок. В ожидании перевода в гвардию я потерял два

года в бездействии, в болезни и получил убыток. Теперь — выйдет или не выйдет это представление — бог с ним! Я исполнил долг мой...» (III, 350).

«АРЗАМАС»

Тем временем, пока Батюшков предавался раздумьям в ветхой Каменецкой крепости, в Петербурге произошло весьма знаменательное событие.

23 сентября 1815 года на Петербургском театре была в первый раз играна стихотворная комедия А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Само по себе это событие не заключало в себе чего-то особенно знаменательного, тем более что «колкий Шаховской» был даровитым и плодовитым драматургом: он написал, перевел и поставил на театре сто одиннадцать драматических произведений. Но в числе лиц новой комедии активного члена «Беседы любителей русского слова» был выведен поэт Фиалкин, сочинитель «страшных» баллад и «томных» элегий, в котором без труда узнавался почтенный Василий Андреевич Жуковский, считавшийся в то время признанным лидером новой поэтической школы.

Батюшков — Вяземскому, 10 января 1815:

«...Жуковского стихи не совершенно понравились нашим Лебедям, и здешние Гуси ими не будут восхищаться. Что нужды!.. Ошибки в стихах нашего Балладника примечены быть могут и ребенком; он часто завирается. Но зато! зато сколько чувства? какие стихи! и кто говорил с таким глубоким чувством об императоре? Так, любезный друг! Государь наш, который, конечно, выше Александра Македонского, должен то же сделать, что Александр Древний! Он запретил под смертною казнию изображать лице свое дурным художникам, а предоставил сие право единочастно Фидию. Пусть и государь позволит одному Жуковскому говорить о его подвигах. Все прочие наши одорифмователи недостойны его. Они, и стихи их, и проза, и ненависть их, и хвала их, и одобрение, и ласки, и эпиграммы, и мадригали, и вся сия стишистая сволочь,— надоела»[36].

И вот «стишистая сволочь» ополчилась на Жуковского... Ф. Ф. Вигель так описывал первое представление «Липецких вод»: «Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я... В поэте Фиалкине, жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, хотел он (Шаховской.— *В. К.*) представить благородную скромность Жуков-

ского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит в своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку Балладника... Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена, еще кипящие молодостью Блудов и Дашков спешили поднять ее»[37].

После спектакля торжествующий Шаховской на вечере у петербургского гражданского губернатора Бакунина был увенчан лавровым венком. Не замедлили последовать и литературные ответы друзей Жуковского: «Письмо к новейшему Аристофану», написанное Д. В. Дашковым и напечатанное в «Сыне Отечества», и его же «кантата» («гимн»), указывавшая на отношение Шаховского к новой школе поэзии:

Он злой Карамзина гонитель,
Гроза баллад,
В Беседе добрый усыпитель,
Хвостову брат
И враг талантов записной.
Хвала тебе, о Шутовской,
Тебе, герой, тебе, герой!

В окружении Жуковского появление «Липецких вод» было воспринято как объявление открытой войны. Для организации отпора «Беседе» было решено объединить усилия. «Теперь страшная война на Парнасе,— сообщает Жуковский в письме к родным.— Около меня дерутся за меня; а я молчу; да лучше было бы, когда бы и все молчали,— город разделился на партии, и французские волнения забыты при шуме парнасской бури»[38]. Атмосфера накалилась. Шаховской публично извинялся перед Жуковским. Вяземскому (который находился в Москве) «сделался понос эпиграммами» (Жуковский), и, в частности, он выступил в печати с «Письмом с Липецких вод» и «Поэтическим венком Шутовскому».

Батюшков узнал о случившемся лишь в ноябре.

Батюшков — Вяземскому, 11 ноября 1815, Каменец-Подольский:

«Из журнала я увидел, что Шаховской написал комедию и в ней напал на Жуковского. Это меня не удивило. Жуковский недюжинный, и его без лап не пропустят к славе. Озерова загрызли. Карамзина осыпали насмешками; он оградился терпением и «Историей». Пушкин будет воевать до последней капли чернил: он обстрелян и выдержит. Я, маленький Исоп посреди маститых кедров, прильну к земле, и буря мимо. И тебе, милый друг, не советую нападать на них эпиграммами. Они все прекрасны, и на сей раз сказать можно, что делают честь твоему сердцу, но верь

мне (я знаю поприще успехов Шутовского), верь мне, что лучшая на него эпиграмма и сатира есть — время. Он от него не отделается. Время сгложет его желчь, а имена Озерова, и Жуковского, и Карамзина останутся. ...Крапивные венки оставим им. Радуюсь, что удален случайно от поприща успехов и страстей, и страшусь за Жуковского. Это все его тронет: он не каменный. Даже излишнее усердие друзей может быть вредно. Опасаюсь этого»[39].

Батюшков все еще не понял, что, собственно, произошло, и считает случившееся обычной литературной травлей... Борьба, однако, разгоралась все с большим ожесточением.

М. Н. Загоскин, специально в защиту «Липецких вод», пишет «Комедию против комедии». Д. Н. Блудов направляет против Шаховского и его приверженцев памфлет «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых людей». В нем под видом тучного проезжего, заночевавшего на постоялом дворе уездного городка Арзамаса (символа «тихой» провинции), Блудов изобразил автора «Липецких вод», ополчившегося на «кроткого юношу» (Жуковского), «блистающего талантами и успехами». На этом же постоялом дворе собираются «арзамасские любители словесности», которые через дыру слышат, как «в магнетическом сне» «тучный проезжий» исповедуется в тайных грехах своих... Наконец, 14 октября 1815 года, через двадцать дней после злополучной премьеры, петербургские друзья Жуковского собрались на квартире С. С. Уварова.

Ф. Ф. Вигель. Записки:

«В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, нашли они длинный стол, на котором стояла большая чернильница, лежали перья и бумага... Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски написанной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество «Арзамасских безвестных литераторов». Изобретательный гений Жуковского по части юмористической вмиг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд веселых вечеров, нескончаемую цепь умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирали со смеху; единогласно избран он секретарем его»[40].

Так появилось литературное общество «Арзамас», созданное в противовес официально признанной «Беседе»...

«Беседа» в ту пору клонилась уже к своему «закату». По-прежнему витийствовал благородный старовер Шишков, по-прежнему каждый месяц в роскошной зале причудливого дома Державина (что на Фонтанке у Измайловского моста) собирались, в мундирах и регалиях, чинные и титулованные литераторы, и вельможи при орденах, и дамы с горящими взглядами, по-прежнему чиновник провиантского ведомства Соколов звуч-

ным голосом читал собравшимся торжественные оды и лиро-эпические гимны, по-прежнему действовали все четыре «разряда» «Беседы» и здравствовали ее двадцать четыре действительных члена, девятнадцать почетных членов и семнадцать членов-сотрудников,— но общественный интерес потихоньку начал ослабевать, и если прежде «весь Петербург» съезжался на ее заседания, как на балы или на концерты, и дамы, которые ровно ничего не понимали в торжественных одах и речах, не чувствовали скуки, ибо «исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением», то к осени 1815 года страсти поутихли, «Чтения в Беседе...» стали покупать неохотно, публики съезжалось все меньше, члены пропускали заседания все чаще, а сама «Беседа» приобрела более «вид казенного места, чем ученого сословия».

И тут появился «Арзамас». Он включил двадцать членов, каждому из которых было присвоено прозвище, взятое из баллад Жуковского. Сам Жуковский получил кличку Светлана. Д. Н. Блудов — Кассандра. Д. В. Дашков — Чу. С. С. Уваров — Старушка. С. П. Жихарев — Громобой. Ф. Ф. Вигель — Ивиков Журавль. Д. П. Северин — Резвый Кот. А. И. Тургенев — Эолова Арфа. П. А. Вяземский — Асмодей. В. Л. Пушкин — Вот Я Вас (а позже: Вотрушка). Н. И. Тургенев — Варвик. М. Ф. Орлов — Рейн. Н. М. Муравьев — Адельстан. А. Ф. Воейков — Дымная Печурка (или: Две Огромные Руки). Д. В. Давыдов — Армянин. П. И. Полетика — Очарованный Челнок. А. А. Плещеев — Черный Вран. Молодой А. С. Пушкин, принятый позже, получил кличку Сверчок.

Батюшков был принят заочно: на первом же заседании ему была присвоена кличка Ахилл. Может быть, его поименовали так в насмешку за маленький рост, никак не соответствующий облику греческого героя; может быть, усмотрели в этом именовании звуковое соответствие: Ахилл — Ах! Хил!..— а может быть, потому, что баллада Жуковского «Ахилл» более всего нравилась Батюшкову.

Круг лиц, входивших в «Арзамас», не был ровным. С одной стороны, будущие государственные деятели, близкие правительственным кругам: Блудов, Дашков, Уваров. С другой стороны, «вольнодумцы» и будущие декабристы: Николай Тургенев, Михаил Орлов, Никита Муравьев. Впрочем, на первых порах всех объединили общий литературный интерес и атмосфера веселой шутки.

Занятия «Арзамаса» очень точно определил лицеист Пушкин в письме к Вяземскому от 27 марта 1816 года: «Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную Академию и Беседу губителей российского слова»[41]. Основанный с литературно-полемическими целями, «Арзамас» стал обществом

пародическим, которое противопоставило в своей структуре организационные формы «Беседы», ее сословную и литературную иерархию подчеркнуто дружескому характеру общения.

Пародируя официальный ритуал собраний «Беседы», каждый член «Арзамаса» при вступлении в общество «выбирал для первой речи своей одного из живых покойников «Беседы» или Академии *заимообразно и напрокат* и говорил бы ему похвальную надгробную речь»[42]. Эти «надгробные речи» были направлены против излюбленных «староверами» «высоких» жанров, и сама напыщенность их приобретала комический характер. Вместо помпезных «Отчетов о заседании Беседы...» в «Арзамасе» составлялись шутливые протоколы (большая часть которых писана Жуковским), имеющие значение и поныне в качестве образцов юмора.

Сама обстановка заседаний тоже противостояла духу «Беседы». Там — три вида членов; здесь — «безвестные литераторы». Там — обязательны титулы и громкие имена; здесь — обязательны прозвища, клички, подчеркнутая партикулярность и равенство. Там — подчеркнутое «единодержавие» (председатели «разрядов» и «попечители» из высших сановников); здесь — принцип выборности: «президент» выбирается на каждое отдельное заседание. Там — украшенная желтым мрамором и колоннами огромная зала державинского дома; здесь — заседания собираются попеременно то у одного, то у другого.

В ритуал «Арзамаса» были введены два характерных символа. Первый — это «красный колпак» (согласно символике недавно отгремевшей французской революции, «украшение якобинцев»): его надевал всякий раз очередной «президент» заседаний «Арзамаса»; в красном же колпаке выступал с речью новопринимаемый член. Наоборот, на голову всякого провинившегося «арзамасца» в виде наказания надевался белый колпак (символ реакции).

Вторым символом был гусь, изображенный на печати «Арзамаса» и олицетворявший «славу гусей арзамасских». «Пожирание гуся» стало торжественным ритуалом, непременно отмечавшимся в протоколах: «Ужин, заключивший сие заседание, был освещен присутствием гуся. Члены приняли с восхищением своего жареного соотечественника...»; «Между тем принесен и дымящийся гусь; от почтенного его состава отделена почтеннейшая часть, то есть гузка, и сей жезл магнетизма поставлен в эпигастру *Эоловой Арфы...*». Или: «Но увы! за ужином не было гуся, и желудки их превосходительств были наполнены тоскою по отчизне!»[43]

Но дело не только в ритуале. Арзамасцы именовали себя «гусями», а почетных членов — «почетными гусями» (среди них — Н. М. Карамзин, граф И. А. Каподистриа, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, М. Д. Салтыков и др.). «Гусь» как символ гордыни (и более того: «пожираемой» гордыни) полемически

выставлялся против неумеренной, сословно замкнутой гордости «беседчиков»...

Основным бытовым и творческим принципом арзамасцев оказался, таким образом, принцип острословия, остроумия, которому подчинялись и собрания с традиционным гусем и неизменным пением кантаты о Шаховском (Шутовском), и протоколы, и критика (которая, заявил Жуковский, «должна ехать верхом на Галиматье»), и литературная деятельнось членов «братства», которая привела к расцвету таких жанров, как пародия, сатира, эпиграмма...

Однако если бы деятельность «Арзамаса» сводилась только к шутке и «галиматье», если бы он был только развлекательным обществом (вроде «допожарных» московских собраний у Вяземского),— об нем вряд ли стоило бы говорить так подробно. Помимо «отпевания халдеев» и борьбы с литературным консерватизмом средствами сатиры, «Арзамас» решал очень важную литературную задачу.

С. С. Уваров. Литературные воспоминания:

«Направление этого общества, или, лучше сказать, этих приятельских бесед, было преимущественно *критическое*. Лица, составлявшие его, занимались: строгим разбором литературных произведений, применением к языку и словесности отечественной всех источников древней и иностранных литератур, изысканием начал, служащих основанием твердой, самостоятельной теории языка и проч... В то время под влиянием «Арзамаса» писались стихи Жуковского, Батюшкова, Пушкина, и это влияние отразилось, может быть, и на иных страницах «Истории» Карамзина»[44].

Уваров вовсе не преувеличивает значения «Арзамаса» как «школы взаимного литературного обучения» (Вяземский). Уже на одном из первых заседаний общества обсуждаются присланные из Москвы стихи Вяземского, переводы Дашкова; затем на суд «Арзамаса» присылает новые произведения уехавший в Дерпт Жуковский: «Певец в Кремле», «Овсяный кисель», «Красный карбункул», «Вадим». В 1816 году Батюшков послал для обсуждения в «Арзамасе» свой диалог «Вечер у Кантемира»— и именно отзыв общества, члены которого делают «во время чтения разные придирки» и исправляют «некоторые небольшие погрешности против языка» (так отмечается в протоколах),— становится важнейшей стадией признания литературного достоинства произведений. На нескольких заседаниях «Арзамаса» присутствовал Карамзин — и читал «молодым приятелям своим некоторые главы из «Истории государства Российского», тогда еще не изданной»[45]. Общество, ставши «литературным товариществом» (Вяземский), становилось и центром передовой русской литературы, притягивавшим к себе прогрессивно настроенную молодежь.

В первый раз в заседании «Арзамаса» Батюшков появился лишь два года спустя после его образования (об этом — речь впереди). Но характерно, что, находясь вдали от арзамасцев, он остался своеобразным литературным символом, поэтическим центром общества. Вот отрывок из более позднего (от 25 марта 1820 года) письма Д. Н. Блудова, который, находясь в Лондоне, объясняет И. И. Дмитриеву, кто такой Томас Мур: «Как у нас на Руси, в Московском университете удивляются одному Мерзлякову, в «Беседе» — только Шихматову, в доме Оленина — Гнедичу, так и здесь ирландцы с упрямством и запальчивостью ставят выше всех своего земляка Мура, которого мы, «арзамасцы», могли бы назвать английским Батюшковым...»[46] Показательно, что именно Батюшков, а не Жуковский, чья поэтическая направленность послужила толчком к самому образованию общества. Жуковский, Карамзин — в глазах арзамасцев уже признанные авторитеты, со сложившейся программой, с устоявшейся тематикой: им трудно «удивляться». Батюшков для членов товарищества всегда необычен, всегда нов, всегда в поиске. Именно на него уповают в будущем, именно с ним связывают надежды...

Батюшков — Жуковскому, середина декабря 1815, Каменец-Подольский:

«Во всем согласен с тобою насчет поэзии. Мы смотрим на нее с надлежащей точки, о которой толпа и понятия не имеет. Большая часть людей принимает за поэзию рифмы, а не чувство, слова, а не образы. Бог с нею!.. Пересмотри и мое маранье в жертву дружеству. Оно у Блудова переписано. Пересмотри с ним наедине и заметь, что надобно выбросить. Когда-нибудь (в лучшие дни) я это напечатаю. Переправлять не буду, кроме глупостей, если найдутся. Я слишком много переправляю. Это мой порок или добродетель? Говорят, что дарование изобретает, ум поправляет: если это правда, то у меня более ума, нежели дарования, следственно, и писать не надобно. Кстати об уме. Что у вас за шум? До твоего письма я ничего не знал обстоятельно. Пушкин и Асмодей писали ко мне, что Аристофан написал «Липецкие воды» и тебя преобразил в Фиалкина. ...Теперь узнаю, что Аристофан вывел на сцену тебя и друзей, что у вас есть общество и я пожалован в Ахиллесы. Горжусь названием, но Ахилл пребудет бездействен на чермных и черных кораблях:

В печали бо погиб и дух его, и крепость.

Нет! Ахилл пришлет вам свои маранья в прозе, для издания, из Москвы. Вот им реестр...» (III, 358 — 359). И далее перечисляются некоторые из написанных в Каменце прозаических произведений.

Батюшков собирается в Москву. С отставкой, поданной в ноябре, медлят, и он выпрашивает у Бахметева отпуск, с тем чтобы, исполнив служебные поручения в Москве, не возвращаться более в Каменец... Ему немного стыдно перед полюбившим его стариком, но иначе он поступить не может. В письме к Е. Ф. Муравьевой он замечает: «Не спрашивайте меня, что буду делать в Москве или деревне. Сам не знаю что, но знаю, что делаю мой долг, и это меня немного утешает» (III, 362).

Вечером, 26 декабря Батюшков выехал из Каменца.

Новый 1816 год он встречал на большой дороге...

Глава восьмая. «ОПЫТЫ»

Под тению черемухи млечной
И золотом блистающих акаций
Спешу восстановить алтарь и Муз, и Граций,
Сопутниц жизни молодой.

(К. Н. Батюшков. Беседка муз)

5 или 6 января 1816 года Батюшков приехал в Москву и остановился в доме у гостеприимного и ласкового И. М. Муравьева-Апостола, что на Басманной улице.

МОСКВА. ПРОЗА.

Москва встретила Батюшкова, по обыкновению, радушно. Галантный, любезный Иван Матвеевич определил родственника и приятеля в лучших комнатах. Вяземский посетовал, что и он приготовил комнаты в своей квартире для вернувшегося скитальца. Появились Пушкины, Карамзины...

Потом все сродники приглашены к обеду;
Наехали, нашли и стали пировать.
Уж липец зашипел, все стало веселее,
Всяк пьет и говорит, любуясь на бокал:
«Что матушки-Москвы и краше, и милее?»
(И. И. Дмитриев «Причудница»)

Москва отстраивалась после наполеонова погрома и пожара. Еще чернелись пустыри и виднелись развалины, но кругом, возле пепелищ, возникали новые дворцы и новые хижины, и общественная жизнь входила в привычную колею. Уж бывали и балы, и обеды, и гулянья по бульварам.

Вяземский на возвращение Батюшкова приготовил длинное послание, которое начиналось словами: «Ты на пути возвратном!»— а кончалось призывом:

Спеши ж, младой воитель,
В счастливую обитель,
В объятия к друзьям!
Повесь свой шлем пернатый,
Окровавленны латы
И меч, грозу врагам:
Прими доспехи мира!
Тоскующая лира
Зовет любимца муз.

Прибавь ей новы струны
Воспеть побед перуны
И счастливый союз
Полуночи со славой!..

А Батюшков приехал грустен, печален, отягощен заботами и какой-то совсем новый... У него не вырос «зоб на груди» и его не перекрестили «в какие-нибудь Никифоры» — но он, по выражению Вяземского, стал «капуцинить» и сделался вовсе неспособен к прежним шалостям. 13 января Вяземский пожаловался А. И. Тургеневу: «Этот проклятый Батюшков всегда меня врать заставляет; как голова Медузы он надо мною действует...»[1]

В Москве Батюшков узнал, что его наконец-таки перевели в гвардию. Узнал — и не обрадовался. «Я переведен в гвардию: знаю,— пишет он Тургеневу.— Но кто сказал вам, что я хочу продолжать военную службу? Конечно, не вы сами изобрели это *в премудрости вашей?* Нет! По всем моим расчетам я должен оставить службу, если захочу сохранить кусок насущного хлеба и искру здоровья. ...Желаю быть надворным советником и *по болезни* служить музам, отслужа царю на поле брани» (III, 366 — 367).

Старых друзей Батюшков не сторонится, новых знакомств не заводит. Встречи с Карамзиным, который окончил восемь томов «Истории государства Российского» и собирается представить ее государю. Батюшков, кажется, едва не в рукописи познакомился с трудом Карамзина и заметил в письме кратко и выразительно: «История» его делает честь России. Так я думаю в моем невежестве» (III, 367).

Обеды в обществе «старой Пушкиной» и «экс-министра и экспоэта Дмитриева, который, не потеряв важности, умеет быть любезен» (III, 369). Маленькие шалости с В. Л. Пушкиным: на письме того в «Арзамас» от 23 апреля сохранился отпечаток батюшковской пятерни с припиской ее обладателя: «За неумением грамоте член «Арзамаса» *Ахилл* 5 пальцев приложил»[2]. Долгие беседы с Ф. И. Толстым-Американцем, известным своими похождениями и проказами, длительными странствиями и приключениями, картежной игрой и нашумевшей страстью к прекрасной цыганке. Именно ему Грибоедов дал классическую эпиграмматическую характеристику:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку не чист.

О чем мог Батюшков рассуждать с Толстым-Американцем, остается только догадываться... Вряд ли он принимал хоть какоето участие в его авантюрах. Тем более что с Вяземским он начинает потихонечку спорить и браниться именно из-за рассеянного поведения князя. В конце концов Батюшков пожаловал-

ся на Вяземского Жуковскому. Вяземский, пишет он, «истинно мужает, но всего, что может сделать, не сделает. Жизнь его проза. Он весь рассеяние. Такой род жизни погубил у нас Нелединского... Пробуди его честолюбие. Доброе дело сделаешь, и оно предлежит тебе: он тебя любит и боится. Я уверен, что ты для него совесть во всей силе слова, совесть для стихов, совесть для жизни, ангел-хранитель» (III, 404). Жуковский выступает здесь в качестве «совести», в качестве «образца» поэта вообще и «поэтической жизни» в частности.

Батюшков все больше задумывается о сущности творчества вообще, о своем поэтическом призвании, о «поэтической диэтике» — о той жизни, которая должна соответствовать этому призванию: «Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы есть требование истинно суетное» («Нечто о поэте и поэзии»). Это вовсе не слова: Батюшков действительно уходит от общества. В феврале он заболел и несколько месяцев почти не выходил из дома, уподобившись комнатному «мудрецу с Басманной» — так его называет племянник, Ипполит Муравьев-Апостол, еще мальчик, который десять лет спустя трагически погибнет при восстании Черниговского полка...

Да и сам способ изображения предмета оказывается для Батюшкова весьма неоднозначен. Для него было характерно многостороннее видение предмета, попытка изобразить его в различных ракурсах, показать разные возможности освещения одного и того же. В письме к Вяземскому от февраля 1816 года (Вяземский на два месяца уехал в Петербург) Батюшков рассказывает о том, как он, под впечатлением книги Л. Маршанжи, вздумал «идти в атаку на Гаральда Смелого», «перевел стихов с двадцать», но вскоре «пар поэтический исчез» и «идеальный» рыцарь средневековья Гаральд неожиданно предстал перед ним в неприглядном обличье дикаря. И тому и другому облику оказались посвящёнными стихи: одни были позже напечатаны и стали известной «исторической элегией», другие — остались лишь в составе письма к Вяземскому.

«Песнь Гаральда Смелого»

Вы, други, видали меня на коне?
Вы зрели, как рушил секирой твердыни,
Летая на бурном питомце пустыни
Сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне?
Железом я ноги мои окриляя,
И лань упреждаю по звонкому льду;
Я, хладную влагу рукой рассекая,
Как лебедь отважный, по морю иду...

Из письма к Вяземскому

...и предо мной
Явился вдруг... чухна простой:
До плеч висящий волос...
И грубый голос...
Он начал драть ногтями
Кусок баранины сырой,
Глотал ее, как зверь лесной,
И утирался волосами (III, 371 — 372).

Батюшков серьезно задумался над им же созданным противоречием. Ведь, в сущности, это один и тот же человек,

и оба его облика не противоречивы, потому что существуют в едином сознании. Один облик связан с литературной традицией: до Батюшкова «Висы радости» Харальда Сурового переводили Ф. Моисеенко, Н. Львов, И. Богданович, Н. Карамзин, создавшие определенное возвышенное представление о норманне-конунге. Другой облик возникает из бытового, эмпирического представления о том, как мог выглядеть «чухна» XI века,— и это представление тоже оказывается верным! Правда, Гаральд такого типа невозможен в современной литературной традиции,— и Батюшков даже не подумал о том, что его экспромт можно было бы напечатать...

Другой пример. В Москве Батюшков хлопочет за вдову и дочь Поповых и 16 октября обращается к А. И. Тургеневу с конкретной просьбой помочь бедствующей семье умершего «усердного воина». Эту конкретную просьбу, достойную делового документа, Батюшков излагает в форме большого стихотворного послания:

Услышь, мой верный доброхот,
Певца смиренного моленье,
Доставь крупицу от щедрот
Сироткам двум на прокормленье!
Замолви слова два за них
Красноречивыми устами:
Лишь *«Дайте им!»* промолви — вмиг
Они очутятся с рублями.

В дальнейшем повествовании рассказывается о горестной судьбе бедной семьи, о ее будничных делах и заботах. Вместо обычных для послания устойчивых «слов-сигналов», вместо «хижин» и «ветреных Лаис» — обыкновенная повесть о реальных людях. И деловой документ становится истинно поэтическим: Батюшков включил этот экспромт в собрание своих стихотворений... Он ищет новые пути для поэзии — и все время сомневается: «Я могу ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себе, ни людям. Ни за кем не брожу: иду своим путем. Знаю, что это меня не далеко поведет, но как переменить внутреннего человека?» (III, 416 — 417).

Право, Батюшков переменился! Он погрустнел, он повзрослел, он стал всерьез задумываться над «проклятыми» вопросами:

Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?
Мы область призраков обманчивых прошли;
Мы пили чашу сладострастья.
Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?
Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой Фалерн и розы наши?

(«К другу»)

Батюшков сожалеет о том, что прежде изрядно насмешничал

и «сыпал эпиграммами» — и нажил себе врагов. Теперь он старается помириться с былыми противниками. Ему предлагают (суля большие выгоды) напечатать «Видение на брегах Леты»— он ужасается одной мысли о том: «Лету» ни за миллион не напечатаю; в этом стою неколебимо, пока у меня будет совесть, рассудок и сердце. Глинка умирает с голоду; Мерзляков мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов в нужде; Языков питается пылью,— а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть! Лишняя тысяча меня не обогатит» (III, 389). Мотивировки, как видим, самые прозаические: такой-то нуждается, и не надобно растравлять ему раны. Но для благородного бедняка Батюшкова дорого стоило это новое понимание самых простых житейских вещей...

Теперь он старается помириться со всем миром. Пять лет назад его не приняли в университетское Общество любителей словесности — теперь (26 февраля) в Обществе устроили торжественное избрание Жуковского и Батюшкова. Батюшков, не присутствовавший на избрании по болезни, сообщал Жуковскому в Петербург, не без иронии, но и не без внутреннего удовольствия: «Я знаю, что ты не будешь спать от радости: ты член здешнего общества. Есть надежда, милый друг, что мы попадем в Академию» (III, 383). Дабы окончательно помириться с «московской Беседой», Батюшков пожелал выступить со вступительной речью, которая и была прочитана (правда, не Батюшковым, а Кокошкиным) на одном из заседаний. В этой «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» Батюшков воздает хвалы представителям противоположных литературных направлений: Карамзину — и Мерзлякову, В. Л. Пушкину — и И. М. Долгорукову. А в письмах о московских «любителях» отзывается саркастически: «Я истину ослам с улыбкой говорил» (III, 401).

Батюшков — Жуковскому, март 1816:

> «В нашей Суздали все хотят писать по-суздальски: на яичке, как в старину писали. Старость тебя бранит, молодость силится тебе подражать: добрый знак! Пиши, иди вперед! Тецы убо, солнце наше, и натецы на поэму: вот мое сердечное желание. Не знаю, что у вас делается, в вашей Суздали, а в нашей не лучше. У подошвы Парнаса грязь и навоз, то есть личность, корысть, упрямство и варварство. Я забыл прибавить: и зависть» (III, 382).

В апреле, наконец, вышла Батюшкову отставка от военной службы: отставка невыгодная. Она не сопровождалась ни давно обещанным орденом, ни повышением в чине. В связи с переводом в гвардию Батюшков рассчитывал стать надворным советником (чин седьмого класса по «Табели о рангах») — его отставили коллежским асессором (чин восьмого класса). Батюшков воспринял это неприятное известие без раздражения: «Неудачи по службе — это мое. Слава богу, что отставлен» (III, 386).

Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею!
Она, известно вам, слепа;
Но я в глаза ей молвить смею:
«Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор;
Меня в календаре в числе счастливцев нет,
Я... отставной асессор!»
(Из письма к В. Л. Пушкину, III, 343)

Раздражение тихо замирает в душе вместе со всеми былыми чувствами. Когда Е. Ф. Муравьева напоминает Батюшкову об Аннете Фурман, о том, что та не замужем, что сейчас, в трудное для нее время, предложение Батюшкова могло бы быть принято и устроилась бы счастливая семейная жизнь,— тот отвечает весьма жестко: «...все, что вы знаете, что сами открыли, что я вам писал и что вы писали про некоторую особу, прошу вас забыть, как сон. Я три года мучился, долг исполнил и теперь хочу быть совершенно свободен. Письма мои сожгите, чтобы и следов не осталось... Теперь дело кончено. Я даю вам честное слово, что я вел себя в этом деле как честный человек, и совесть мне ни в чем не упрекает. Рассудок упрекает в страсти и в потерянном времени» (III, 392).

Сестры зовут в деревню,— но Батюшков не спешит уезжать из Москвы и после получения отставки. Он постоянно болен: «лихорадка», «болезнь в раненой ноге», «ревматизмы», «боли в груди» и опасения «чахотки» — все это вынуждает быть там, где есть приличные врачи. Он почти не выезжает никуда и общается в основном с Муравьевыми-Апостолами, которые (кроме Ипполита) то уезжают куда-то, то приезжают (так, в октябре Батюшков, вместе с Сергеем, ухаживали за больным Ипполитом... В том же, 1816 году, в Петербурге, на квартире Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов, было организовано первое декабристское тайное общество, почти целиком состоявшее из батюшковских знакомых и родственников: Никита Муравьев, Михаил Лунин, Сергей Трубецкой, Иван Якушкин... О чем говорили тогда, в октябре 1816 года, Батюшков и Сергей Муравьев-Апостол, бывшие практически наедине друг с другом?).

Второй причиной батюшковской задержки в Москве было неожиданное предложение Гнедича, последовавшее из Петербурга в августе 1816 года. Гнедич предложил себя в качестве издателя сочинений Батюшкова: «Печатать на свой счет и, кроме того, дать еще автору 1 500». Поначалу Батюшков свел это предложение к шутке: «Ты разоришься, и я никак не могу на это согласиться» (III, 389), а по зрелом размышлении подумал: почему бы и нет? И согласился.

Н. И. Гнедич. Материалы для биографии Батюшкова (черновой набросок):

«Батюшков всегда и везде жил вопреки своему призва-

нию — быть поэтом, и в краткие досуги везде изливал свои чувствования и помыслы... Ни один из наших поэтов не отличался такою удивительною полнотою, такой пластическою отделкою своих картин, как Батюшков. Он в высшей степени владел своим поэтическим воодушевлением и был художником в строгом смысле слова. Стихи его неподражаемы по своему благозвучию, по мелодии истинно италианской. Это совершенно музыка по гармоническому течению звуков, по их легким, плавным, свободным переливам»[3].

Гнедич, вернейший, нежный друг Гнедич, был человек весьма осторожный и расчетливый. Батюшков тоже хотел показать себя расчетливым и в начале сентября составил «кондиции» — условия, на которых он соглашается на издание (имея в виду то, что дружеское понимание и художественный вкус Гнедича во многом перекроют «прибыли», сулившиеся профессиональными издателями). Эти «кондиции» весьма интересны.

«За две книги, толщиною или числом страниц с сочинения М. Н. Муравьева, я прошу две тысячи рублей. *Тысячу* рублей прислать мне немедленно. У меня том прозы готов, переписан и переплетен. Приступить к печати, не ожидая стихов. Том стихов непосредственно за сим печатать. Если ты согласишься на мое условие, то я все велю переписывать и доставлю в начале октября. Им займусь сильно и многое исправлю. «Лету» не печатать; зато будут новые пиесы, как-то: «Ромео и Юлия» и другие безделки. *Другую тысячу* заплатить мне шесть месяцев по напечатании второго тома» (III, 394). Итак, Батюшков запродал итог пятнадцатилетней творческой работы за две тысячи рублей,— деньги, в сущности, невеликие даже для такого помещика средней руки, каким он был. Но он «проживается на лекарстве» — и идет на все условия...

«Если ты понесешь убыток, то я отвечаю. Но этого предполагать не можно. На печать полагаю две тысячи: этого достаточно; мне две тысячи, итого четыре. Две части продавать по десяти рублей, итого за тысячу экземпляров десять тысяч рублей. На комиссию положим две тысячи; следственно, четыре очистятся» (III, 395). Батюшков преуменьшил доход издателя. Гнедич заработал на издании «Опытов» пятнадцать тысяч рублей. Но более двух тысяч автору не заплатил... Тут, впрочем, не было недобросовестности: просто в начале XIX века представление об авторском праве было настолько зыбким, что Батюшков даже благодарил издателя за щедрость...

«Печатать отнюдь не по подписке... без шуму и грому. Обе книги вдруг выпустить» (III, 394 — 395). Этого условия Гнедич не выполнил. Книги вышли с перерывом в пять месяцев, и на второй том была объявлена подписка (в Петербурге и Москве подписалось сто восемьдесят три человека — внушительное по тем временам число).

«Бог поможет: и я автор! Книги раскупят, а там — пусть критикуют... Еще прошу: никому не провозглашай, что я намерен печатать, и, начав печатать, молчи, пока все не выйдет. Уткин, верно, не откажется от виньетов. Я их тебе представлю, когда все будет готово. Берусь за это сам, на свой счет и отчет» (III, 396). Батюшкова мучительно терзает неуверенность в успехе. Ему страшно: а ну как все творческие порывы пропадут попусту? В то же время он страстно хочет лавров «автора» и ждет не дождется своих первых и единственных сборников...

Из писем Батюшкова Гнедичу 1816 года:

25 сентября: «Высылаю том прозы. Все обещанное мною исполнено, кроме статьи *о Данте*. Право, некогда, болен, и у меня нет вспомогательных книг. ...«Кантемир» будет интересен. Если цензура что-нибудь вычеркнет в нем или в других пиесах (кроме «Кантемира», не знаю, к чему придраться), то замени ближайшим смыслом. Таким образом, взяв все вместе, будет с лишком 300 страниц печатных...» (III, 399).

28 октября: «Конечно, издание будет исправно в руках твоих. Мне не тягостно быть тебе благодарным, а приятно. Сожалею только, что болезнь, хлопоты и время не позволили сделать лучше, исправнее, интереснее моей книги» (III, 409).

7 ноября: «При сем посылаю тебе «Кантемира». Прими его в объятия твои, еще сырого, из-под пера моего; хотя несколько раз я его переписывал, переправлял, но все недоволен слогом. План и мысли довольно хороши. Все оригинально, и у нас не было ничего в этом роде...»

27 ноября: «Стихи переписаны, рукою четкою. Много новых пиес... Прошу усердно тебя исправить, что не понравится, не переписываясь со мною. Издание, формат, шрифт — все от тебя зависит... Стихов будет — я не ожидал этого — более прозы»[4].

Батюшкова начали одолевать новые замыслы. Но если прозу — «Вечер у Кантемира» — он мог написать в Москве (и даже предпочтительнее в Москве, ибо требовалась обширная литература), то стихи требовали уединения. Поэтому, когда работа по переписке старых стихов была закончена, Батюшков по зимнему пути отправился в деревню, где его очень ждали родные.

Н. Л. Батюшков — дочери Юлии. 8 декабря 1816, Даниловское:

«Я истинно, хотя и слаб здоровьем, но невзирая на сие я уже бы был у тебя, но ожидал из Москвы Константина, которого так давно не видал...»[5]

К концу года Батюшков был в Хантонове, потом в Даниловском.

К концу же года, 30 декабря, цензор И. Тимковский подписал разрешение к печати первого тома «Опытов».

«Аттестат № 336 от 20 января 1817

Лейб-гвардии Измайловского полка штабс-капитану (уволенному от военной службы коллежским асессором) и кавалеру Батюшкову в том, что, находясь он при мне адъютантом, исправлял свою должность с отличным усердием и даваемые ему по службе многие поручения исполнял с примерной деятельностию и расторопностию; посему, отдавая ему, г. Батюшкову, совершенную признательность, я приятным долгом поставляю сим свидетельствовать как о весьма достойном и отличном штаб-офицере.

Дан за подписанием моим и приложением герба моего печати в городе Кишиневе Бессарабской области.

Бахметев

Генваря, 20 дня 1817 года»[6].

В начале января Батюшков, после всех разъездов, приехал в Хантоново. Сестра Александра ухаживала за больным отцом в Даниловском, и в родовом, только что перестроенном имении никого, кроме дворовых, не было. Батюшкова окружила лютая зима и совершенное одиночество. Впрочем, жалуется он только на холод и даже набрасывает по этому поводу стихотворный экспромт (в письме к Гнедичу):

От стужи весь дрожу,
Хоть у камина я сижу.
Под шубою лежу
И на огонь гляжу,
Но все как лист дрожу,
Подобен весь ежу,
Теплом я дорожу,
А в холоде брожу
И чуть стихами ржу.

Одиночества для Батюшкова будто не существует: в это время он особенно настойчиво берется за литературу. Таков уж был его душевный облик: страдая от безлюдья в шумной толпе, он удовлетворяется общением, оказавшись почти на необитаемом острове. Потребность в творчестве растет все сильнее. Даже нездоровье, даже хозяйственные хлопоты не отвлекают: к ним Батюшков привык, и на фоне неудач последних лет болезни и безденежье не кажутся чем-то особенным. Он намеревается на сей раз прожить в деревне по крайней мере до конца весны: «во спасение души, тела и кармана» (III, 386).

Между тем материальное положение Батюшковых значительно ухудшилось именно в 1817 году,— но сам поэт воспринимает свое разорение с неожиданным спокойствием. «Я нынешний год потеряю половину моего имения,— пишет он Гнедичу 17 июля,— ...то есть тысяч на тридцать, и что будет вперед — не знаю.

Вовсе нечем существовать будет до тех пор, пока не устрою моих дел. «А как ты их устроишь?» — говорит сестра. «Не знаю»,— отвечаю я»[7]. Совершенно разорился и отец: на осень 1817 года была назначена продажа Даниловского (III, 478 —479)...

Поэтому Батюшков хватается за книги, за стихи,— как за спасение. В записной книжке сохранился краткий подсчет книг, привезенных Батюшковым в Хантоново:

«В трех ящиках книг: в 1-м — 170
2 — 61
3 — 60
291»

Он с жаром читает итальянские книги и активно переводит Данте (отрывки из «Ада»), Тассо («Олинд и Софрония» из «Освобожденного Иерусалима»), Ариосто (отрывки из «Неистового Роланда»), трактаты Маккиавели, новеллы из «Декамерона» Боккаччо — и даже планирует новую книгу: «Пантеон итальянской словесности».

Гнедич высылает ему новые русские книги: «Записки» В. М. Головина, «Записки русского офицера» Ф. Н. Глинки, «Новые басни» И. А. Крылова и т. д. — Батюшков внимательно следит за русской литературой и восклицает в одном из писем: «Хорошие русские стихи в деревне сокровище!»[8]

Он и сам пишет стихи. Никогда еще Батюшков не работал и никогда больше не будет работать с таким напряжением и с такой увлеченностью, как этой зимой и весной, во время последнего пребывания в Хантонове.

Первый том «Опытов» был уже отдан в типографию. Гнедич с нетерпением ждал второго тома — а Батюшков все тянул...

Из писем Батюшкова Гнедичу 1817 года:

Середина января: «Пожалей обо мне. Я в снегах; около меня снег и лед. Здоровье плохо, очень плохо, но я тружусь и исполню обещание, пришлю стихи. Портрета никак! На место его виньетку; на место его «Умирающего Тасса», если кончить успею (сюжет прекрасный!), «Омира и Гезиода», которого кончил, и сказку «Бальядеру», которая в голове моей. ...На портрет ни за что не соглашусь. Это будет безрассудно. За что меня огорчать и дурачить? Но другие... Пусть другие делают что угодно: они мне не образец. Крылов, Карамзин, Жуковский заслужили славу: на их изображение приятно взглянуть. Что в моей роже? Ничего авторского, кроме носа крючком и бледности мертвеца: укатали бурку крутые горки!» (III, 417).

7 февраля: «Стихи почти готовы. Но если тебе не крайняя нужда, то повремени еще. Право, все в хлопотах, и не до стихов».

27 февраля: «Посылаю тебе сочинения Батюшкова... Он болен и пишет через силу *свои сочинения*... Я начал «Смерть Тасса» — элегия. Стихов до 150 написано. Постараюсь кончить до своей смерти» (III, 418 — 419).

Начало марта: «Я не без резону полагаю, что том прозы будет жидок. Он должен быть увесист, тем более, что том стихов по милости Феба худощав. Ergo, посылаю тебе милую «Гризельду» и милую «Моровую заразу» из Боккачио. ...Будешь ли доволен стихами? Размещай их, как хочешь, но печатай без толкований и замечаний, бога ради, и без похвал! Не уморите меня» (III, 420).

22 марта: «Теперь спешу объявить вам, что ни перевода из Тасса, ни из Ариоста не хочу. Особенно Тасс — дрянь. Ты меня взбесишь! И сохрани бог! Элегию «Умирающий Тасс» пришлю. Она имеет предисловие на страничке и стихов около 200 *почти* александрийских. ...И так будет довольно, а переводами не стыди моей головы».

Май: «Я послал тебе «Умирающего Тасса», а сестрица послала тебе чулки; не знаю, что более тебе понравится и что прочнее, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдут: я в этом уверен» (III, 437).

Конец мая: «Предисловие, кажется, хорошо. Но не слишком ли ты пользуешься правом издателя, чтоб хвалить своего автора? Довольно бы в похвалу и последних строк. Я ничего не могу поправить в стихах, и резон прекрасный: у меня все сожжено, и ни строки нет!.. Дряни ой как много!» (III, 440).

Июнь: «Советую элегии поставить в начале. Во-первых, те, которые понравятся более; потом те, которые хуже, а лучшие в конец. Так, как полк строят. Дурных солдат в середину».

Начало июля: «Вот и мои стишки. Так, это сущая безделка! Посланье к Никите Муравьеву, которое, если стоит того, помести в книге, в приличном оному месте, а за то выкинь мою басню, либо какую-нибудь другую глупость... Но если вздумаешь, напечатай, а Муравьеву не показывай, доколе не выйдет книга: мне хочется ему сделать маленький сюрприз. Вот какими мелочами я занимаюсь, я, тридцатилетний ребенок...» (III, 457).

17 июля: «Получил книгу (1-ю часть «Опытов».—*В. К.*). Благодарю тебя за труды твои! Что касается до подписки, то на то буди воля твоя. По мне так, право, я не подписался бы и сам на мою прозу. Стихов теперь ожидаю с нетерпением»[9].

Батюшкова терзает неуверенность в успехе. Он полон робости, полон отчаяния, он не удовлетворен и прозой, и стихами. Колебания поэта продолжались до последнего момента. Едва не

каждой почтой он отправляет Гнедичу письмо, в котором приводит список вещей, которые надо «непременно выкинуть», «ради бога выкинуть»... Уже когда часть тиража второго тома была сброшюрована, по распоряжению автора вырезаны эпиграммы «Известный откупщик Фаддей...», «Теперь, сего же дня...», «О хлеб-соль русская...» и стихотворение «Отъезд»; а монументальные элегии «Переход через Реин» и «Умирающий Тасс» попали в самый конец сборника.

Из всего поэтического наследия своего Батюшков отбирает пятьдесят два стихотворения (только до нас дошло более ста шестидесяти), их перерабатывает, перекраивает, меняет, а подчас — переписывает заново («Мечту», например). Он делит «Опыты в стихах» на три раздела: «Элегии», «Послания» и «Смесь». Это жанровое разделение казалось в достаточной степени условным (послание «К Дашкову» вошло в раздел «Элегии», а послание «К Никите» — в «Смесь»),— но оказалось очень плодотворным: в таком разделении стихов Батюшкову подражали многие поэты, даже Пушкин.

Батюшков располагает стихи не по темам и не в хронологическом порядке, а, на первый взгляд, хаотично, как

Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья;
Заботы, суеты, печали прежних дней,
И легкокрилы наслажденья...

Он уподобляет свой сборник «журналу» (дневнику), где зафиксированы сумбурные и мимолетные впечатления поэта, где сменяются события, настроения, удачи, неудачи...

Наш друг был часто легковерен;
Был ветрен в Пафосе, на Пинде был чудак;
Но дружбе он зато всегда остался верен;
Стихами никому из нас не докучал
(А на Парнасе это чудо!)
И жил так точно, как писал...
Ни хорошо, ни худо!

(«К друзьям»)

Именно по книге «Опытов» узнавал Батюшкова читатель.

Наконец, в Хантонове Батюшков пишет три собственно «автобиографические» элегии. Тема у них одна: поэт в обществе, его роль и его судьба.

«Гезиод и Омир — соперники» — переложение исторической элегии Мильвуа. В центре — картинка жизни Древней Эллады, освещенная высокой нравственной мыслью. Спорят два поэта: Гомер и Гесиод — два великих современника. Они соревнуются перед лицом власть предержащих — и пальма первенства присуждается Гесиоду. А бездомный и слепой Гомер «роком обречен в печалях кончить дни» и вынужден всю жизнь скитать-

ся с нищенской сумой, «снедая грусть свою в молчании глубоком»... И что его гений? И зачем он людям?

Он с ним пристанища в Элладе не находит...
И где найдут его талант и нищета?

«Умирающий Тасс» — любимое произведение самого поэта, созданное в наивысшем подъеме «хантоновского» творчества. Современники считали эту элегию совершенным творением Батюшкова и прямо сопоставляли ее с его несчастной судьбой. Сюжет ее Батюшков пересказывает в письме к Вяземскому: «Он (Торквато Тассо.— *В. К.*) умирает в Риме. Кругом его друзья и монахи. Из окна виден весь Рим, и Тибр, и Капитолий, куда папа и кардиналы несут венец стихотворцу. Но он умирает и в последний раз желает еще взглянуть на Рим... Солнце, в сиянии потухает за Римом и жизнь поэта...» (III, 429). Обстоятельства жизни Тассо волнуют Батюшкова: они похожи на его собственные обстоятельства. Ранняя утрата матери, бедность, столкновения с литературными недругами, служебные неудачи, безответная любовь... Батюшков считал, что они с Тассо похожи и по характеру: страстная и нежная душа, склонность к горячим увлечениям, любовь к славе, отсутствие твердой воли. Обиды, перенесенные Тассо, довели его до состояния меланхолии, граничившей с помешательством... Картина гибели близкого Батюшкову «полуденного человека» Тассо соотносилась с несчастной судьбой поэта вообще:

Погиб певец, достойный лучшей доли!..

«Беседка муз» — заключительное стихотворение «Опытов». Это — гимн тихому и безмятежному вдохновению, которое приходит к «душе, усталой от сует», и которое возможно только в условной «беседке муз», отгороженной от времени и от мира:

Пускай забот свинцовый груз
В реке забвения потонет,
И время жадное в сей тайной сени муз
Любимца их не тронет...

Впрочем, и «беседка муз» — вовсе не условная!

Батюшков — Гнедичу, май 1817:

«Я убрал в саду беседку по моему вкусу, в первый раз в жизни. Это меня так веселит, что я не отхожу от письменного столика, и веришь ли? целые часы, целые сутки просиживаю, руки сложа накрест. Сам Крылов позавидовал бы моему положению, когда я считаю мух, которые садятся ко мне на письменный стол. Веришь ли, что очень трудно отличить одну от другой» (III, 441).

Батюшков немного кокетничает перед Гнедичем. Он упорно

работал всю зиму и весну, а летом окончательно понял, что способен на нечто большее, чем выпускаемые нынче «Опыты»... «Нет покоя! Такой ли бы том отпустил стихов!»

Батюшков — Жуковскому, июнь 1817:

«Зачем я вздумал это печатать? Чувствую, знаю, что много дряни; самые стихи, которые мне стоили столько, меня мучат. ...Беда, конечно, не велика: побранят и забудут. Но эта мысль для меня убийственна, убийственна, ибо я люблю славу и желал бы заслужить ее, вырвать из рук Фортуны; не великую славу, нет, а ту маленькую, которую доставляют нам и безделки, когда они совершенны. Если бог позволит предпринять другое издание, то я все переправлю; может быть, напишу что-нибудь новое. Мне хотелось бы дать новое направление моей крохотной музе...» (III, 447 — 448).

Другого издания не было. Да и из написанного Батюшковым после «Опытов» до нас дошла лишь малая толика, жалкие обрывки...

ХАНТОНОВО. ЗАМЫСЛЫ.

Батюшков — Гнедичу, март 1817:

«Проза надоела, а стихи ей-ей огадили. Кончу «Тасса», уморю его и писать ничего не стану, кроме писем к друзьям: это мой настоящий род. Насилу догадался. ...Недавно прочитал Монтаня у японцев, то есть Головнина записки. Вот человек, вот проза! А мое, вижу сам, пустоцвет! Все завянет и скоро полиняет. Что делать! Если бы война не убила моего здоровья, то чувствую, что написал бы что-нибудь получше. Но как писать? Здесь мушка на затылке, передо мной хина, впереди ломбард, сзади три войны с биваками! Какое время! Бедные таланты! Вырастешь умом, так воображение завянет. Счастливы те, которые познали причину вещей и могут воскликнуть от глубины сердца: «Пироги горячи, оладьи, горох с маслом!» (III, 422 — 423).

В 1817 году в Хантонове Батюшкова как будто распирает от невоплощенных замыслов. Сказка «Бальядера» так и осталась в голове; сказка «Бова» не дописана. Начата работа над двухтомником итальянских переводов — и остановлена в самом начале. Задуманы большие поэмы, которыми Батюшков хочет-таки «заслужить славу». Создать большую, «истинно русскую» поэму — это все-таки не «безделки»!

Сюжеты давно в голове. В письме Гнедичу от мая 1817 года упоминается поэма «Рюрик»: «Видно, умереть мне беременным «Руриком» моим. Для него надобно здоровье, надоб-

ны книги, надобны карты географические, надобны сведения, надобно, надобно, надобно, надобно... более твоего таланта, скажешь ты. Все так, но он сидит у меня в голове и в сердце, а не лезет: это мучение!» (III, 439).

В письме к Вяземскому от 27 июня 1817 года Батюшков сообщает о том, что хочет «приняться за поэму «Русалка» (III, 453). В бумагах Вяземского сохранился подробный план этой поэмы, действие которой происходит в баснословные времена русской истории. В ней должны были действовать Оскольд и его дочь; Добрыня и его сын Озар и днепровская русалка Лада. Поэма планировалась из четырех песен, и предполагалось развернуть ряд полусказочных-полуисторических картин... Характерно, что в одном из писем Гнедичу Батюшков просит того прислать «Славянские сказки» Новикова, «Древние российские стихотворения» Кирши Данилова и образцы лубочной литературы: «Авось когда-нибудь за это возьмусь» (III, 439).

Батюшков так и не написал «истинно русской» поэмы — и не шутя завидовал Пушкину, слушая потом отрывки из «Руслана и Людмилы». Ведь это разрабатывался почти что его замысел...

Другой замысел Батюшкова (о котором он пишет в том же письме к Вяземскому) — приняться «за словесность русскую». И далее: «Хочется написать в письмах маленький курс для людей светских и познакомить их с собственным богатством. В деревне не могу приняться за этот труд, требующий книг, советов, и здоровья, и одобрительной улыбки дружества» (III, 453). Батюшков задумал ни более ни менее как первое историко-литературное исследование, посвященное русской литературе. В составе его записной книжки «Чужое: мое сокровище!» (заполнявшейся в деревне летом 1817 года) сохранился подробный конспект этого неосуществленного труда.

Обращаясь к условному собеседнику («Выслушайте меня, бога ради!»), Батюшков высказывает свои соображения, «каким образом можно составить книгу полезную и приятную». Ее предмет — «одна русская словесность» с момента ее зарождения «до времен наших». Весь труд планируется из двадцати восьми глав («писем»).

Батюшков предлагает разбор русской словесности, «не начиная с Лединых яиц, не излагая новых теорий»,— но собирается рассматривать ее на большом общекультурном материале и на широком общественном фоне. В проспект включены такие разделы, как «Влияние (пагубное) татар», «Путешественники и ученые», «Борьба старых нравов с новыми, старого языка с новым. Влияние искусств, наук, роскоши, двора и женщин на язык и литературу», «Господствование французской словесности и вольтерианизм», «Может быть, климат и конституция не позволяют нам иметь своего национального театра» и т. д. Особо под-

черкнуто: «Должно представить картину нравов при Петре, Елисавете и Екатерине. Пустословить на кафедре по следам Баттё и Буттеверка легко, но какая польза?»

Серьезное внимание уделяется вопросам языка. Намечаются такие разделы, как: «О славенском языке», «О русском языке», «О языке во времена некоторых князей и царей», «О языке во времена Петра I», «*Карамзин*. Ход его. Влияние на язык вообще». Особо подчеркнуто: «Богатство и бедность языка. Может ли процветать язык без философии и почему может, но не долго?»

Круг имен, предлагавшихся для изучения, очень широк: их более сорока, и среди них не только писатели, но и ученые, путешественники. В графе, посвященной Ломоносову, в автографе нарисовано солнце в лучах — это лишний раз свидетельствует о том исключительном значении, которое Батюшков придавал ему в развитии русской литературы. История новой русской литературы делится на пять «эпох»: Ломоносова, Фонвизина (с ним связывается «образование прозы»), Державина, Карамзина и «до времен наших». «Сии эпохи должны быть ясными точками...»

Книга, задуманная Батюшковым, должна была стать, как видим, действительно интересной и заключала в себе возможности для создания обобщающего историко-литературного труда. Поэт пытается проникнуть в суть движения литературы, в смену литературных «эпох». Это движение, по мнению Батюшкова, совершается очень быстро: Державин и Карамзин, «знамена» двух предшествующих литературных «эпох», были современниками поэтов «времен наших» и знакомыми самого Батюшкова!

Из письма Батюшкова к В. Л. Пушкину, март 1817:

Числа по совести не знаю,
Здесь время сковано стоит,
И скука только говорит:
«Пора напиться чаю,
Пора вам кушать, спать пора,
Пора в санях кататься...»
«Пора вам с рифмами расстаться!» —
Рассудок мне твердит сегодня и вчера (III, 343).

В записной книжке «Чужое: мое сокровище!» вообще много замыслов. Маленькая тетрадка сумела вместить в себя личность Батюшкова, который в период наивысшего «полета» своей музы занят множеством новых проблем. Чего тут только нет! Какие только книги здесь не разбираются и не цитируются! Ломоносов и Державин, Жуковский и Вяземский, Гварини и Тассо, Монброн и Буле, Монтень и Сен-Пьер, Сисмонди и Альфиери, Петрарка и Данте, Платон и Сенека, Карамзин и Радищев...

Впрочем, книг Батюшкову явно не хватает: «Все прочитал, что было, даже «Вестник Европы»,— и он задумывает эксперимент: «...писать набело, impromptu, без самолюбия, и посмотрим, что

выльется». Среди этих «экспромтов» сохранились и приведенные выше разговоры с Раевским, воспоминания о прошедшей войне...

Батюшков живет как живется, а пишет как пишется. Писать незачем — он пишет просто так. Сколько непосредственности, простоты и сколько настоящего таланта в этих интимных записях:

> «Итак, пиши о чем-нибудь. Рассуждай! Рассуждать несколько раз пробовал, но мне что-то все не удается: для меня, говорят добрые люди, рассуждать — все равно что иному умничать. Это больно. Отчего я не могу рассуждать?
>
> Первый резон: мал ростом.
>
> 2 — не довольно дороден.
>
> 3 — рассеян.
>
> 4 — слишком снисходителен.
>
> 5 — ничего не знаю с корня, а одни вершки, даже и в поэзии, хотя целый век бледнею над рифмами.
>
> 6 — не чиновен, не знатен, не богат.
>
> 7 — не женат.
>
> 8 — не умею играть в бостон и вист.
>
> 9 — ни в шах и мат...»

Кажется, шутка. Но сколько в ней горечи и желчи, сколько выстраданного сердцем и не понятого умом, сколько жизненной правды, вдруг открывшейся «нерассуждающему» поэту.

А вот портрет «странного человека, *каких много*». Приведем его с некоторыми сокращениями, дабы определить, кто же здесь изображен:

«Ему около тридцати лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра — ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него точно доброе, как сердце, но столь же непостоянно. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое — умирал. ...Он мало вещей или обязанностей считает за долг, ибо его маленькая голова любит философствовать, но так криво, так косо, что это вредит ему беспрестанно. Он служил в военной службе и в гражданской: в первой очень усердно и очень неудачно; во второй — удачно и очень неусердно. Обе службы ему надоели, ибо, поистине, он не охотник до чинов и крестов. А плакал, когда его обошли чином и не дали креста!»

Под пером Батюшкова возникает новый литературный характер: образ человека раздвоенного, внутренне противоречивого, хорошего и вместе внутренне надломленного, похожего (даже и внешне) на лермонтовского Печорина...

«В нем два человека,— продолжает Батюшков.— Один добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен до излишества, щедр, трезв, мил. Другой человек... злой, коварный, завистливый, жадный, иногда корыстолюбивый, но редко; мрачный, угрюмый,

прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый до излишества, непостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия. Этот человек, то есть черный — прямой урод. Оба человека живут в одном теле. Кто это?»

Нет, это не Печорин. «Черный человек» — это уже что-то есенинское и очень трагичное, ведущее к уничтожению человека...

«Он иногда удивительно красноречив: умеет войти, сказать — иногда туп, косноязычен, застенчив. Он жил в аде — он был на Олимпе. Это приметно в нем. Он благословен, он проклят каким-то гением. ...Белый человек спасает черного слезами перед творцом, слезами живого раскаяния и добрыми поступками перед людьми. Дурной человек все портит и всему мешает: он надменнее сатаны, а белый не уступает в доброте ангелу-хранителю. Каким странным образом здесь два составляют одно?»

Батюшков не заставляет долго мучиться над разгадкой личности «странного человека». Устав «списывать» его черты, он грустно заключает: «Это я! Догадались ли теперь?» И добавляет: «Пожелаем ему доброго аппетита: он идет обедать».

Не случайно Батюшков был одним из первых русских поэтов, кто понял Шатобриана и полюбил Байрона. Ему не приходилось вставать в романтическую позу: он сам был насквозь романтиком — черно-белым, без «середины»...

Еще запись — как принцип жизни с окружающими людьми: «В молодости мы полагаем, что люди или добры, или злы: они белы или черны. Вступая в средние лета, открываем людей ни совершенно черных, ни совершенно белых; Монтань бы сказал: серых. Но зато истинная опытность должна научать снисхождению, без которого нет ни одной общественной добродетели: надобно жить с серыми или жить в Диогеновой бочке».

Батюшков не создан для «Диогеновой бочки» — и собирается в Петербург. Это тоже мечта, которая выражается в цифрах:

«Петербурга жизнь

Квартира	500
Дрова, освещение, чай	500
Трое людей	500
Кушанье	1 000
Платье	1 000
Экипаж в разные времена	1 000
Издержки непредвиденные	1 000
	5 500»

Аккуратно подсчитанный итог наводил на новые грустные размышления...

По дороге в Петербург Батюшков завернул в Даниловское: на день-два, проведать отца. Но дела у отца были совсем плохи — и Батюшков задержался на три недели.

Родовое имение было описано, дом, в котором прошло дет-

ство,— назначен к продаже. После недолгих раздумий Константин решил для спасения Даниловского пожертвовать половиной своих имений...

Батюшков — П. А. Шипилову, 4 августа 1817, из Даниловского в Вологду:

«Обстоятельства батюшки требуют моего присутствия у него; крайне сожалею, что я не мог тебя дождаться в деревне, любезный брат, и прошу покорнейше, если есть возможность, приезжай в Даниловское: дела батюшкины надобно кончить на месте, в глазах его. Еще прошу о продаже. Чем более дадут денег — тем лучше, разумеется, но я согласен буду отдать и по триста рублей душу, а если бы за все дали тридцать тысяч, то и очень был бы благодарен. Деньги, может быть, нужны будут в скором времени: у батюшки имение описано давно и к продаже назначено. Теперь и дни дороги»[10].

Николай Львович, с которым сын не ладил всю жизнь,— умирал. Потом ему стало лучше, он повеселел, и Константин, оставив отца на руках у сестры, 17 августа отправился в Петербург. «Будь мне благоприятно, Провидение!»

ПЕТЕРБУРГ. СЛАВА

В Петербурге Батюшкова ждали. Приехав 24 августа, он остановился в трактире, но Муравьевы настояли, чтобы он перебрался к ним. После деревенского уединения замелькали наполненные дни...

25 августа Батюшков вместе с Жуковским и А. И. Тургеневым едут в Царское Село. Вечером Тургенев пишет Вяземскому: «Теперь бы Батюшкова устроить в Италии или где потеплее и менее прозы, так бы и дело в шляпе»[11].

26 августа Батюшков встречается с повзрослевшим и выпущенным из Лицея Александром Пушкиным. Где-то около этого времени между ними произошел интересный разговор, сохраненный мемуаристом: «Пушкин... представил Батюшкову стихи одного молодого человека, который, по его тогдашнему мнению, оказывал удивительное дарование. Батюшков прочитал пиесу и, равнодушно возвращая ее Пушкину, сказал, что не находит в ней ничего особенного. Это изумило Пушкина: он старался защитить своего молодого приятеля и стал превозносить необычайную гладкость стиха его. «Да кто теперь не пишет гладких стихов!» — возразил Батюшков»[12].

27 августа Батюшков впервые присутствовал в заседании «Арзамаса», происходившем на квартире А. И. Тургенева. Председательствующий Д. Н. Блудов произнес приветственную

речь на возвращение поэта: «Ты, древний Ахилл, причина гибели Трои, был долгой причиной и побед ее; хвала Пенатам «Арзамаса»: наш Ахилл лучше прежнего, он и бездействием не может помогать покойнице «Беседе...», но и он, как соименитый, долго скрывался вдали от стана союзников... от переговоров писателей, от объятий своих московских красавиц и стерлядей Шексны...»[13] Вслед за тем Батюшков произнес сам «отходную речь» о секретаре Российской академии П. И. Соколове.

28 августа Батюшков пишет Вяземскому, что узнал о предполагаемом отъезде князя на службу в Варшаву, что был у Карамзина, где познакомился с будущим начальником Вяземского — Н. Н. Новосильцовым (III, 465).

К теме отъезда Вяземского Батюшков, вместе с Жуковским, Пушкиным и А. А. Плещеевым, обратились 1 сентября, во время загородной прогулки в Царском Селе. Гуляя, они вчетвером сочинили следующий экспромт (первые две строки сочинены Плещеевым, три следующие — Пушкиным, шестая строка — Батюшковым и последние четыре — Жуковским):

Зачем, забывши славу,
Пускаешься в Варшаву?
Ужель ты изменил
Любви и дружбе нежной
И резвости небрежной?
Но все ты так же мил,—
Все мил — и, несомненно,
В душе твоей живет
Все то, что в цвете лет
Столь было нам бесценно.

Сам Батюшков тоже много думает о будущем. Остепеняется Вяземский, Жуковский вступил в придворную должность,— а он все «отставной асессор», даже номинально нигде не служащий. В сентябре он вместе с Д. П. Севериным составляют «некоторый план», для того чтобы устроиться при министерстве иностранных дел (III, 472). Через Северина он знакомится с влиятельными дипломатами: А. С. Стурдзой, К. В. Нессельроде, даже с самим управляющим графом И. А. Каподистриа. Однако дальше знакомств и обещаний дело пока не двинулось...

А. С. Стурдза. Воспоминания:

«Кроткая, миловидная наружность Батюшкова согласовалась с неподражаемым благозвучием его стихов, с приятностию его плавной и умной прозы. Он был моложав, часто застенчив, сладкоречив; в мягком голосе и в живой, но кроткой беседе его слышался как бы тихий отголосок внутреннего пения. Однако под приятною оболочкою таилась ретивая, пылкая душа, снедаемая честолюбием»[14].

Батюшков ждет... Ведет рассеянную жизнь, посещает заседания «Арзамаса», встречается с друзьями чуть не ежедневно.

«Арзамас» в это время переживает серьезную эволюцию. В схватках с «покойниками «Беседы», в колких выпадах арзамасских пародий и эпиграмм начинает ощущаться нечто большее, чем вражда с уходящим в прошлое литературным направлением. Молодежь, живущая в обстановке ожидания перемен в русской жизни, в гуще свободолюбивых настроений, пробужденных войной 1812 — 1814 годов, искала в «галиматье» арзамасцев новые понятия о личности, постепенно освобождающейся из-под власти сословно-феодальной морали, из-под гнета представлений, выработанных в эпоху русской абсолютной монархии, во времена «красных каблуков и величавых париков» (Пушкин). В «Арзамасе» начинают спорить не только о литературе, но и об историческом прошлом и будущих судьбах России, горячо и страстно осуждая все то, что мешало общественному развитию.

Именно эта идея должна была стать в «Арзамасе» началом некоего нового литературного единства. Дело в том, что в 1816 году, со смертью Державина, прекратились и заседания «Беседы». Приутихла Российская академия, которая в 1818 году избрала в свои члены Карамзина, Жуковского и А. Тургенева. 10 декабря 1818 года Карамзин прочел в Академии речь, знаменовавшую окончательную победу нового направления в словесности.

«Арзамас» же, созданный для определенной полемической цели, должен был потерять свой смысл еще в 1816 году — и тогда же встал вопрос о положительной программе общества. «Что с нами будет, если не будет «Известий Академических»? — вопрошал в своей речи В. Л. Пушкин.— Что нам останется делать, если патриарх Халдейский перестанет безумствовать в разборе происхождения слов и принимать черное за белое и белое за черное?.. Пусть сычи вечно останутся сычами! Мы вечно будем удивляться многоплодным их произведениям, вечно отпевать их...»[15]

«Вечно» это продолжаться не могло, что становится ясно даже самым умеренным арзамасцам. В начале 1817 года С. С. Уваров подал в «Арзамас» «Донесение от члена Старушки», где содержался призыв «избранным арзамасцам»: «Похвально было согнать с Парнаса нестерпимую толпу лжегениев, но она давно уже рассеялась под вашими ударами... От вас я ожидаю более; я ожидаю возобновления отечественной литературы; я ожидаю торжества разума и вкуса»[16].

В 1817 году вступившие в «Арзамас» члены тайных декабристских организаций — Никита Муравьев, Николай Тургенев, Михаил Орлов — предприняли попытку оживления деятельности общества. П. А. Вяземский позже писал: «Все долго продолжалось одними шутками, позднее было изъявлено желание дать обществу более серьезное, хотя исключительно литературное направление»[17]. «Арзамас» и не мог стать собственно политичес-

ким обществом: уж очень пестрым был состав его. Но элементы политической деятельности его все же коснулись. На двадцатом или двадцать первом заседании общества, состоявшемся в июне 1817 года, с речью выступил Д. Н. Блудов, призвавший «Арзамас» к «новой деятельности». М. Ф. Орлов в ответ на этот призыв высказал мысль об «арзамасском журнале». Вот характерный отрывок из протокола этого заседания, который Жуковский написал гекзаметром:

«Тут осанистый Реин, разгладив чело, от власов обнаженно,
Важно жезлом волшебным махнул, и явилося нечто
Пышным вратам подобное, к светлому зданью ведущим.
Звездная надпись сияла на них: *Журнал Арзамасский.*
Мощной рукою врата растворил он; за ними кипели
В светлом хаосе призраки веков, как гиганты смотрели
Лики славных из сей оживленныя тучи — над нею
С яркой звездой на главе Гением тихим носилось
В свежем гражданском венке божество: *Просвещенье,* дав руку
Грозной и мрачной богине *Свободе!* И все арзамасцы,
Пламень почуя в душе, ко вратам побежали...»[18]

Батюшков с восторгом услышал о затевающемся арзамасском журнале и в июне 1817 года писал Жуковскому из деревни: «...Согласен на предложение твое работать с тобою. Все, что есть у меня (много переводов в прозе с италиянского), все твое» (III, 449).

После ряда споров о программе журнала предпочтение было отдано журналу литературно-политическому; причем одним из редакторов политического отдела был выбран Орлов, а в числе авторов первых статей значатся Н. Тургенев (Варвик) и Н. Муравьев (Адельстан).

В августе 1817 года в «Арзамасе» начинается большая реорганизационная работа. Составляется и утверждается новый устав кружка, планы журнала, в которых проводится попытка соединить политическую и литературную пропаганду. Эта попытка была весьма прогрессивной для того времени, тем более что соединение литературы с политикой представлялось не как механическое совмещение их под единой обложкой, но как некое слияние литературных и политических задач. В дневнике Н. И. Тургенева от 29 сентября 1817 года читаем: «Третьего дня был у нас «Арзамас». Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство; но средства предлагаемые не всем нравятся...»[19] Батюшков, кажется, был на этом заседании.

Впрочем, эта же реорганизация «Арзамаса» стала первым шагом к его распаду. Созданный для иных идейно-творческих задач, «Арзамас» по своей внутренней структуре, по привычным формам бытования, по составу членов,— не соответствовал требованиям и устремлениям радикально настроенных представителей

декабристских организаций; это и привело к тому, что вскоре «общество умерло естественной смертью или замерло в неподвижности» (П. А. Вяземский).

Задуманный журнал — не получился. Не состоялся даже сборник «Отрывки, найденные в Арзамасе». Батюшков, в свою очередь, предвидел то, что ничего не получится, ибо еще в письме Вяземскому от 13 сентября 1817 года заметил кратко: «В «Арзамасе» весело. Говорят: станем трудиться, и никто ничего не делает» (III, 468).

Кроме того, к концу 1817 года арзамасцы стали разъезжаться. Первым уехал в Москву Жуковский. Его провожали 5 октября Ахилл и Сверчок — Батюшков и Пушкин...

В самом начале октября вышел в свет второй том «Опытов». Пришел не очень шумный, но успех,— не сразу заметная, но слава. Не говоря уже о том, что в «Опытах» были впервые собраны под одной обложкой его разрозненные ранее стихи, там были впервые опубликованы стихотворения «Выздоровление», «Отъезд», «К Петину», «Радость», «Хор для выпуска благородных девиц Смольного монастыря», «Ответ Тургеневу», «Судьба Одиссея», «Вакханка», «К друзьям», «Разлука», «Таврида», «Надежда», «К другу», «Элегия», «К цветам нашего Горация», «Гезиод и Омир — соперники», «Умирающий Тасс», «К Никите», несколько эпиграмм, окончательная редакция «Мечты»...

Из письма начальника штаба гвардейского корпуса генерала Н. М. Сипягина к Батюшкову, 17 октября 1817:

«Читая с особенным удовольствием прекрасные ваши «Опыты в прозе и стихах», обратившие внимание всех любителей отечественной словесности, не мог не отдать я всего должного Вам уважения. Побуждаясь сим чувством и тем, что вы сами служили в военной службе, препровождаю при сем от имени членов Общества военных людей, при гвардейском штабе учрежденного: диплом на звание почетного члена сего Общества, краткое начертание Военного журнала, вышедшие книжки оного и билет на получение остальных...»[20]

«Общество военных людей», не ценившее Батюшкова-офицера, оценило Батюшкова-поэта, и тот с признательностью выслал Сипягину «Опыты» вместе с дарственным письмом.

«Императорской публичной библиотеки почетному библиотекарю г. коллежскому асессору и кавалеру Батюшкову.

По изъявленному вами мне желанию посвящать досуги ваши пользе Императорской публичной библиотеки и во уважение трудов ваших, делающих честь нашей отечественной словесности, я принял вас в число почетных библиотекарей оной библиотеки, на основании 6 и 21 статей высочайше утвержденного Начертания подробных правил для управления сим книгохранилищем; о чем донеся господину Исправляющему должность Министра народного просвеще-

ния тайному советнику Осипу Петровичу Козодавлеву, долгом моим считаю о таковом определении вашем в библиотеку уведомить и вас самих сим моим отношением.

Императорской публичной библиотеки директор
тайный советник *А. Оленин.*

№ 241
Ноября 18-го дня 1817»[21]

Это была слава. Батюшков был почти счастлив. Звание почетного библиотекаря, правда, не давало денег,— но это была почти служба...

РАЗЪЕЗДЫ

24 ноября, в Даниловском, умер Николай Львович Батюшков.

Батюшков — сестре Александре, 26 ноября 1817:

«Я получил печальное известие о кончине нашего родителя... Я сам был болен и только вчера встал с постели. Надеюсь после 30-го сего числа выехать и для того прошу тебя подождать меня... Чувствую вполне твою горесть, но прошу тебя и заклинаю именем дружбы и самого батюшки беречь свое здоровье, столь драгоценное мне и Юленьке. Детей мы не оставим, не правда ли? Поможет сам бог, и что-нибудь для них сделаем. Я возьму маленького, а ты — сестрицу. Об имении еще ничего сказать не могу. От продажи спасу, а там оглядимся» (III, 481).

«Маленький», упоминаемый в письме,— это брат Помпей, который был на двадцать три года моложе Константина. Он и десятилетняя Юлия остались круглыми сиротами.

Из воспоминаний Помпея Николаевича Батюшкова:

«Впервые я отчетливо запомнил брата Константина, когда он приехал в Даниловское вскоре после похорон отца. Помню, как сестра Александра повела меня и Юленьку в кабинет отца. Там я увидел молодого еще человека среднего роста, с белокурыми вьющимися волосами, в сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Он стоял, опершись о край стола, и лицом, так же как и всем обликом, был похож на отца. «Поздоровайтесь с братцем»,— тихо проговорила Александра, подталкивая нас с сестрой вперед. Я нерешительно подошел к брату, который нагнулся и поцеловал Юленьку и меня. «Братик, дорогой мой братик»,— прошептал он, нежно погладив меня по голове.

Как я узнал впоследствии, наше денежные дела были в ужасном состоянии, и Константин взял на себя устройство их, оплатив из своих весьма скудных средств самые

неотложные долги, тем самым предотвратив продажу Даниловского с молотка...»[22]

Декабрь месяц 1817 года Батюшков провел в суете. Он ездит то в Даниловское, то в Устюжну, то в Хантоново, то в Вологду, то в свою деревню Меники, которую собирается заложить. За этот месяц ему удалось сделать почти невозможное: заложив последнее свое владение — двести четырнадцать душ[23],— он расплатился с самыми срочными долгами. Он поднял на ноги всех своих родственников, у всех занял, что мог,— но продажа Даниловского, назначенная уже на 10 февраля 1818 года, была отменена.

В начале января Батюшков выехал в Петербург (приехал 9 января) — и тотчас же в Опекунском совете занял еще 14 700 рублей под ежегодный процент в 882 рубля...[24] Пора было подумывать о службе, не «почетной», но действительной.

Батюшков — Жуковскому, начало января 1818, Петербург:

«Ты забыл меня в моих огорчениях, Жуковский! Это стыдно, и, что всего стыднее, забыл о моем деле, которое около пяти месяцев стоит на одном месте. Вступись за меня, милый друг, и реши мою судьбу. Выпроси мне у Северина отказ: все лучше, нежели нерешимость, лучше, ибо дела мои требуют решительных мер. ...Асмодею поклон и всему «Арзамасу». Новый президент ожидает меня к обеду: время одеваться. Прости. Поклон Пушкину-старосте. Племяннику его легче» (III, 487 — 488).

Покамест Батюшкову остается только заседать в «Арзамасе». Между прочим, он в ту пору оказался чуть ли не единственным арзамасцем, который хоть как-то сотрудничал в неосуществленном журнале. В начале 1818 года он, по просьбе Уварова, перевел несколько отрывков из греческой антологии. Греческого языка он не знал и воспользовался французскими подстрочниками Уварова, написавшего об «Антологии» небольшую статью. Потом, когда планы «арзамасского» журнала рухнули, а Батюшков был уже далеко от Петербурга, в 1820 году Д. В. Дашков выпустил эту статью и эти переводы отдельной брошюрой, изданной в количестве семидесяти экземпляров. Ни Батюшков, ни Уваров не были указаны в качестве авторов, назывались лишь инициалы: «Ст.» и «А.» (Старушка и Ахилл) — и подчеркивалось: «два приятеля», «беспечные провинциалы», «с славою незнакомые» ...Всего Батюшков перевел тринадцать отрывков. Вот один из них:

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили...
О, радость! Здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девический оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно

Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь все развалины роскошного убора:
Свидетели любви и счастья Никагора!

Угадать авторство было, однако, нетрудно. В. К. Кюхельбекер в разборе брошюры назвал две возможные кандидатуры авторов: Батюшков или «молодой творец Руслана» (то есть Пушкин) — и заметил, что «по наслаждению, которое чувствуешь, читая стихи, по сладостной мелодии каждого из них, по удивительному искусству в образовании и сохранении пиитического перевода, высочайшего совершенства в просодии», переводы могут принадлежать только кому-нибудь из этих двух поэтов. Но и он, в конечном счете, указал-таки на Батюшкова: «По некоторым приметам, в коих не можем отдать себе отчета, мы склонны приписать сии переводы Батюшкову: многие живо напоминают его образ выражаться»[25].

В Лаисе нравится улыбка на устах.
Ее пленительны для сердца разговоры,
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцалуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал...
Я таял, и Лаиса млела...
Но вдруг уныла, побледнела
И — слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей:
«Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?» —
«Спокойся, ничего, бессмертными клянусь;
Я мыслию была встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я... тебя страшусь».

По поводу этого стихотворения Белинский писал: «Сколько грусти, задушевности, сладострастного упоения, нежного чувства и роскоши образов...» Белинский считал антологические стихи Батюшкова «лучшим произведением его музы». Приведя в третьей статье цикла «Сочинения Александра Пушкина» четверостишие Батюшкова:

Сокроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенье.
Как сладок поцалуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное в любови наслажденье! —

Белинский заметил: «Такого стиха, как в этой пьеске, не было до Пушкина ни у одного поэта, кроме Батюшкова; мало того: можно сказать решительнее, что до Пушкина ни один поэт, кроме Батюшкова, не в состоянии был показать возможности такого русского стиха».

А Батюшков не особенно и гордился этими антологическими переводами, написанными «между делом» «безделками». Он даже не упомянул о них ни в одном из своих писем.

К маю 1818 года, не дождавшись ответа относительно своей судьбы, Батюшков решает ехать на юг лечиться: осуществлять давнишнюю свою мечту.

Батюшков — Вяземскому, 9 мая 1818, Петербург:

«Я оставляю Петербург: еду в Крым купаться в Черном море, в виду храма Ифигении. Море лечит все болезни,— говорит Эврипид; вылечит ли меня — сомневаюсь. Как бы то ни было, намерен провести шесть месяцев в Тавриде» (III, 494).

Между тем, весной 1818 года из Петербурга разъезжались арзамасцы, общество «распадалось само собою». Жуковский, живущий в Москве, пишет «Отрывок арзамасской речи» — последнюю дань бывшим протоколам...

Братья-друзья арзамасцы! Вы протокола послушать,
Верно, надеялись. Нет протокола! О чем протоколить?
Все позабыл я, что было в прошедшем у нас заседаньи!
Все! Да и нечего помнить! С тех пор, как за ум мы взялися,
Ум от нас отступился! Мы перестали смеяться —
Смех заступила зевота, чума окаянной «Беседы»...

Далее Жуковский подробно рассказывает о каждом арзамасце: кто что делает, кто куда уехал...

Я, *Светлана*, в графах таблиц, как будто в тенетах,
Скорчась сижу; *Асмодей*, распростившись с халатом свободы,
Лезет в польское платье, поет мазурку и учит
Польскую азбуку; *Резвый Кот* всех умней: мурличит
Нежно: «люблю» и просится в церковь к налою; *Кассандра*,
Сочным бифштексом пленясь, коляску ставит на сани,
Скачет от русских метелей к британским туманам и гонит
Чолн Очарованный к квакерам за море; *Чу* в Цареграде
Стал не Чу, а чума и молчит; *Ахилл* по привычке
Рыщет и места нигде не согреет; *Сверчок*, закопавшись
В щелку проказы, оттуда кричит, как в стихах: «Я ленюся!»
Арфа, всегда неизменная Арфа, молча жиреет!..»[26]

Обратим внимание, как точно Жуковский заметил основную особенность личности Батюшкова: «Ахилл по привычке рыщет и места нигде не согреет...»

Сам Батюшков в письме к Вяземскому об этом «умирании» «Арзамаса» сообщает короче и суше: «Блудов уехал; Северин здесь; Полетика отправился в Америку; Тургенев пляшет до упаду, или, лучше сказать, отдыхает в Москве; брат его весь в делах; Уваров говорил речь, которую хвалят и бранят, в ней много блистательного; Вигель потащился с Блудовым. Вот история «Арзамаса». Забыл о Пушкине молодом: он пишет прелестную поэму и зреет» (III, 494).

Батюшков — сестре Александре, 11 мая 1818, Петербург:

«Еду сию минуту в Москву, оттуда в Одессу; через Москву еду нарочно с тем, чтобы отдать брата в пансион. Если тебе нельзя, то пришли его в коляске на своих, с людьми надежными; вели им остановиться на хорошем постоялом дворе и отыскать меня в доме Московской гимназии у директора оной Петра Михайловича Дружинина. ...Брату изготовь белье нужное, и поболее. Человек ему, полагаю, не будет нужен, но если бы нянька его согласилась год пробыть в Москве, то было бы это не худо... О деньгах не беспокойся: я заплачу за полгода...» (III, 495).

Приехав в Москву, Батюшков, однако, не застал П. М. Дружинина: тот по какому-то делу уехал в Калугу. Оставалось ждать... Он устраивается на квартире у Никиты Муравьева и проводит все свободное время с ним, с Сережей Муравьевым-Апостолом и с их товарищами. И опять-таки: никаких сведений о тех разговорах, которые Батюшков вел с активными членами декабристского общества, не сохранилось.

Батюшков — Е. Ф. Муравьевой, середина мая 1818, Москва:

«Никита... желает нетерпеливо воротиться в Петербург и тоскует об вас. День ото дня мое уважение к нему возрастает: дружба моя и привязанность давно одинаковы. Вы можете быть счастливы таким сыном» (III, 496).

И в следующем письме:

«Он бодр и весел: о чем ему скучать и сокрушаться? У него нет никаких несчастий... У него же рассудок слишком здрав: вы это лучше моего знаете. Целые дни мы проводим вместе или у него, или у Полторацких, или на улице» (III, 498).

Дружинин наконец приехал, и дело с устройством Помпея в пансион разрешилось как нельзя лучше. Дело же о службе Батюшкова между тем никак не решалось — и не решилось бы, если бы не Жуковский. В начале июня Батюшков получил письмо от Тургенева, где тот советовал обратиться с просьбой о службе непосредственно к государю. «У меня, у Никиты руки опустились...— сообщает Батюшков в письме к Тургеневу.— Между тем входит Жуковский, только что приехавший из Белева. Он напирает с доводами, с доказательствами, и мы *решились*. Жуковский пишет письмо к государю. Вот он сидит там за столиком, полуодетый, а я за другим, в ожидании письма» (III, 500).

В письме к государю, написанном с помощью Жуковского, Батюшков кратко излагал историю своей жизни, своей службы и своей болезни — и добавлял: «...желаю, по крайней мере, посвятить себя такому званию, в котором бы я мог с некоторою пользою для Отечества употребить немногие мои сведения и спо-

собности; желаю быть причислен к Министерству иностранных дел и назначен к одной из миссий в Италии, которой климат необходим для восстановления моего здоровья, расстроенного раною и трудным Финляндским походом. Смело приношу просьбу мою к престолу монарха, всегда благосклонным участием одобряющего в своих подданных стремление к пользе Отечества»[27].

Письмо было послано к Тургеневу. Жуковский приписал в сопроводительной записке о том, что Батюшков смиренно подождет своей будущей участи в Москве. Батюшков, в этой же записке, высказал сомнение, сможет ли он остаться. Жуковский размашисто и уверенно подмахнул: «Останется» (III, 502).

Батюшков, однако, уехал...

Из Москвы он выехал вместе с Сергеем Муравьевым-Апостолом, который тоже направлялся в Одессу, к отцу своему. Два бывших адъютанта Раевского весело стремились на юг. В двадцатых числах июня они были уже в Полтаве. Тургеневу Батюшков покаянно написал из Полтавы о своем отъезде и о «своем деле», добавив: «...верьте, что все приму с благодарностию, даже место пономаря при неаполитанской миссии...» (III, 509). В письме из Полтавы к Муравьевой он описал самое путешествие: «Мы тащились по такой грязи и дождю, о каких я и понятия не имел. Ехали день и ночь, устали несказанно; двенадцать часов спали здесь мертвым сном и еще не отдохнули!» (III, 512).

10 июля прибыли в Одессу.

Батюшков — Е. Ф. Муравьевой, 12 июля 1818, Одесса:

«Здесь встретили нас жары и прелестная погода. Я начал купаться; будет ли польза — не знаю. От дороги я устал и все еще слаб. Здесь я нашел графа Сен-При и живу в гостеприимном его доме. Он ко мне ласков по-старому и все делает, чтобы развеселить меня: возит по городу, в италиянский театр, который мне очень нравится, к иностранцам, за город на дачи. Одесса — чудесный город, составленный из всех наций в мире, и наводнен италиянцами. Италиянцы пилят камни и мостят улицы: так их много!.. Адресуйте письмо на мое имя в канцелярию графа Ланжерона, в Одессу: отсюда перешлют его в Крым, если я туда поеду, что легко может случиться, ибо здешние ванны для меня недостаточны и без козловских грязей едва ли могу обойтиться» (III, 512 — 513).

Батюшков оживлен и деятелен: он ежедневно купается («Море здесь как море и немного приятнее ледяного залива Финского»; III, 517) и непрестанно пишет Муравьевой, Тургеневу, Гнедичу, Оленину... Он встречается все с новыми людьми. К. Ф. Сен-При, знакомый еще по Каменцу-Подольскому, ныне херсонский губернатор. И. М. Муравьев-Апостол, с неизменной

любезностью и с вечными проектами: сейчас он надумал перевести младшего сына в Одесский лицей. Аббат Николь, управляющий Ришельевским лицеем,— Батюшков с похвалой отзывается о его педагогической системе. Некто Корсаков, с которым Батюшков когда-то познакомился в Петербурге у М. С. Лунина. Княгиня Зинаида Волконская, пленившая всю Одессу броской своей красотою: «она, говорят, поет прелестно и очень любезна» (III, 515).

Наконец, Батюшков вспомнил и о своей должности почетного библиотекаря Императорской библиотеки — и поехал изучать древности Ольвии. Бывший греческий город находился в поместье Ильинском графа Кушелева-Безбородко. В письме к Оленину Батюшков подробно живописует свое путешествие к античным развалинам: «Я снял план с развалин, или, лучше сказать, с урочища, и вид с Буга. Рисовать я не мастер, но сии виды для меня будут полезны: они пояснят мое описание, если когда-нибудь вздумается мне привесть в порядок мои записки...» (III, 518). В письмах к Оленину и к графу Н. П. Румянцеву Батюшков рекомендует коллекцию греческих древностей, составленную одесским собирателем И. П. Бларамбергом: ее экспонаты — геммы, камеи, амфоры, статуи — могли бы служить украшением столичных хранилищ. Батюшков и сам раздобыл для библиотеки погребальную урну, две медали и колено трубы римского водопровода... Он с умилением ходит по местам, где бились когда-то Святослав и Суворов, где жила Ифигения, героиня драмы Эврипида, которую он тут же вознамерился перевести...

Батюшков — Гнедичу, июль 1818, Одесса:

«Я кое-что написал об Ольвии. В Петербурге на досуге переправлю и сообщу твоему просвещению. ...Жалею, что не мог ничего сделать для Библиотеки; принялся усердно и доволен собою: не ожидал в себе такой рыси; всем надоел здесь медалями и вопросами об Ольвии» (III, 522).

Батюшков уже собрался было в Евпаторию — лечиться сакскими грязями,— но 29 июля получил письмо от Тургенева, извещавшее о назначении на службу в Неаполь.

И Батюшков выехал обратно в Петербург.

ПРОВОДЫ

«Указ Государственной Коллегии иностранных дел.

Коллежского асессора Батюшкова, находившегося лейб-гвардии в Измайловском полку штабс-капитаном и уволенного за раною от военной службы с определением к статским делам, всемилостивейше жалуя в надворные советники, повелеваем причислить в ведомство Государственной

Коллегии иностранных дел и поместить сверх штата при миссии нашей в Неаполе с жалованьем по тысяче рублей в год, считая рубль в пятьдесят штиверов голландских, из общих государственных доходов, выдав ему из оных на проезд до места назначения годовой его оклад, то есть тысячу рублей, во столько же штиверов.

На подлинном подписано Собственною Его императорского величества рукою тако: *Александр.*

Каменный Остров. Июля 16-го дня 1818 года.

Контрассигновал статс-секретарь граф *Нессельрод*»[28].

Батюшков — А. И. Тургеневу, 10 сентября 1818, Москва:

«Я знаю Италию, не побывав в ней. Там не найду счастия: его нигде нет; уверен даже, что буду грустить о снегах родины и о людях, мне драгоценных. Ни зрелища чудесной природы, ни чудеса искусства, ни величественные воспоминания не заменят для меня вас и тех, кого *привык* любить. Привык! Разумеете меня? Но первое условие — *жить*, а здесь холодно, и я умираю ежедневно. Вот почему желал Италии и желаю. Умереть на батарее — прекрасно; но в тридцать лет умереть в постеле — ужасно и, право, мне что-то не хочется» (III, 531 — 532).

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому, 18 сентября 1818, Петербург:

«Вчера получил письмо от Батюшкова из Москвы. Он обещает приехать к нам в конце этого месяца, но заедет прежде в Череповец... Начинает уже грустить и по снегам родины, которой еще не успел покинуть»[29].

К. Н. Батюшков — П. И. Шаликову, 11 сентября 1818, Москва:

Вот мой удел, почтенный мой поэт:
Оставя отчий край, увижу новый свет,
И небо новое, и незнакомы лицы,
Везувий в пламени и Этны вечный дым,
Кастратов, оперу, фигляров, папский Рим
И прах, священный прах всемирныя столицы.
Но где б я ни был (так я молвлю в добрый час),
Не изменюсь, душою тот же буду
И, умирая, не забуду
Москву, отечество, друзей моих и вас!

Батюшков — графу Н. П. Румянцеву, 19 октября 1818, Петербург:

«Оставляя Россию, осмеливаюсь повторить вам, милостивый государь, что я исполню поручения ваши: и в Неаполе, и в окрестностях оного тщательно осмотрю монастыри, частные и публичные библиотеки, и если найду что-нибудь важное касательно истории нашего отечества, уведомлю вас; что могу, куплю и доставлю немедленно»[30].

Батюшков — А. И. Тургеневу, конец октября 1818, Петербург:

«Вы столько раз были мне полезны и делом, и советом, что я имею право на ваше дружество. Этот силлогизм не так дурен, как вам с первого взгляду покажется. Обнимаю вас от всей души и прошу любить вашего Ахилла, который ворчит про себя: ах, хил! — и впрямь, болен простудой, насморком, головою, а не умом, ибо знает цену Жуковскому и Карамзину,— не сердцем, ибо любит вас по-старому» (III, 535).

Батюшков — И. И. Дмитриеву, 31 октября 1818, Петербург:

«Из Неаполя буду напоминать о себе, буду писать к вам и из отчизны Горация и Цицерона. Эта мысль меня утешает при отъезде из России более, нежели надежда увидеть Италию» (III, 536).

Батюшков — М. Ф. Орлову, 3 ноября 1818, Петербург:

«Арзамас» весь рассеялся по лицу земному; я сам послезавтра еду в Италию; но где бы мы ни были, сохраним в памяти сердца и ума величественный Реин, лучшее украшение общества нашего»[31].

Батюшков — Д. Н. Блудову, начало ноября 1818, Петербург:

«Но я покидаю любезное отечество и, через Вену и Флоренцию, спешу в Рим (на который я и взглянуть не достоин!). В Неаполе буду ждать ваших писем, ибо уверен, что вы удостоите ответом»[32].

Батюшков — сестре Александре, 16 ноября 1818, Петербург:

«Из записки моей к старосте видишь, что о брате можешь быть покойна: 1 200 ежегодно получать с моих деревень, пока опека будет в силах уплачивать сама. Советую тебе приезжать в феврале в Петербург, предуведомя недели за две Катерину Федоровну. О сестре Юлии не беспокоюсь: Катерина Федоровна все сделает» (III, 537 — 538).

Вяземский — А. И. Тургеневу, 17 ноября 1818, Варшава:

«Отчего же этот Батюшков не едет через Варшаву? Тут уже не Варшава на карте, а я. Неужели я не стою каких-нибудь верст?»[33]

Батюшков — Вяземскому, 15 — 18 ноября 1818, Петербург:

«Еду в Неаполь. Тургенев упек меня. Заеду к тебе освидетельствовать твою музу... Приготовь мне конурку для приезда; напомни княгине. Желаю тебе здравия. Сам болен, но доволен. Паспорт в руке, Италия предо мною. Авось выздоровею! А если умру там, то не забудь, милый друг, написать элегию на мою смерть» (III, 538).

Батюшков раздавал все, какие мог, долги и прощался со всеми, кого любил. Он ездил в Приютино: последний раз по знакомым местам. Он сидел у больного Жуковского, ездил к Карамзиным, гулял с Пушкиным,— и всем обещал писать, писать, писать... И все надеялись на лучшее.

К этому времени относили любопытное литературное предание, сохраненное первым биографом Пушкина П. В. Анненковым: «Рассказывают, что Батюшков судорожно сжал в руках листок бумаги, на котором читал пушкинское послание «Юрьеву», и проговорил: «О, как стал писать этот злодей!»[34].

Нам кажется, что эта красивая легенда, часто повторяющаяся в работах о молодом Пушкине, не соответствует действительности. Прежде всего, послание «Юрьеву», ранее датировавшееся пушкинистами 1818 годом, теперь датируется 1821-м (а в это время, как увидим ниже, ничего подобного произойти не могло). Но дело не только в датах: того восторга и трагического отчаяния, той зависти, которые приписываются в этом апокрифе Батюшкову, вовсе не было в его характере. Если бы Батюшкову действительно довелось прочитать знаменитые строки из послания «Юрьеву», в которых создается обаятельный автобиографический образ:

А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний,—

то он, верно, крепко порадовался бы пушкинской удаче! Так он радовался «Певцу во стане русских воинов» Жуковского и его исключительному успеху (и не завидовал ему); так он приветствовал «Первый снег» Вяземского — без зависти, а лишь со знанием дела и искреннею любовью.

Отзывы Батюшкова о Пушкине, сохранившиеся в его переписке, свидетельствуют о бережно-восторженном отношении к молодому поэту: без зависти и без отчаяния, а только с искренней радостью встречает он все его успехи. Он, как и Жуковский, мог бы при случае написать: «Победителю-ученику...»— и вовсе бы не терзался этим!

Из письма к А. И. Тургеневу, июнь 1818: «Ссылаюсь на маленького Пушкина, которому Аполлон дал чуткое ухо...» (III, 510).

Из письма к А. И. Тургеневу, 10 сентября 1818: «*Сверчок* что делает? Кончил ли свою поэму? Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою. Из него ничего не будет путного, если он сам не захочет; потомство не отличит его от двух однофамиль-

цев, если он забудет, что для поэта и человека должно быть потомство: князь А. Н. Голицын московский промотал двадцать тысяч душ в шесть месяцев. Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши!» (III, 533 — 534).

Из письма к Д. Н. Блудову, начало ноября 1818: «Сверчок начинает третью песню поэмы своей. Талант чудесный, редкий! вкус, остроумие, изобретение, веселость. Ариост в девятнадцать лет не мог бы писать лучше. С прискорбием вижу, что он предается рассеянию со вредом себе, и нам, любителям прекрасных стихов»[35].

Из письма к Н. И. Гнедичу, май 1819 (Батюшков в Неаполе услышал от кого-то, что Пушкин собирается вступить в военную службу): «Жаль мне бедного Пушкина! Не бывать ему хорошим офицером, а одним хорошим поэтом менее. Потеря ужасная для поэзии!» (III, 555).

Нигде нет ничего похожего на зависть или злорадство — только самые светлые и чистые чувства. Даже желание отправить Пушкина в Геттинген «и кормить года три молочным супом и логикою» благородно и аналогично желанию Жуковского, высказанному уже после первого знакомства с лицеистом Пушкиным (из письма к Вяземскому от 19 сентября 1815 года): «Боюсь я за него этого убийственного лицея — там учат дурно! Учение, худо предлагаемое, теряет прелесть для молодой пылкой души, которой приятнее творить, нежели трудиться и собирать материал для солидного здания! Он истощит себя. Я бы желал переселить его года на три, на четыре в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет!»[36]

Впрочем, если на то пошло, апокрифическая фраза Батюшкова о «злодее»-Пушкине аналогична восклицанию Жуковского: «Он мучит меня своим даром, как привидение!»

Одним словом, Батюшков прощался с Пушкиным, сознавая, что оставляет в нем «наследника» и хочет, чтобы наследник этот был достоин высокого звания русского поэта. И не случайно, что при расставании Пушкин был рядом с ним.

19 ноября 1818 года, во втором часу, перед обедом, из Петербурга в Царское Село выехала большая компания известных людей. Катерина Федоровна Муравьева и сын ее Никита, декабрист. Его двоюродный брат Михаил Лунин, тоже декабрист, и сестра его Екатерина Уварова. Много литераторов: Гнедич, Жуковский, Александр Тургенев, Александр Пушкин. Инженер Павел Львович Шиллинг, создатель телеграфа. И — Батюшков.

В Царском Селе их ожидал ужин с шампанским. Как писал Тургенев, они «горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили...»[37]. Пушкин сочинил какой-то экспромт, который, к сожалению, не сохранился. Они провожали Батюшкова.

В девять часов вечера Батюшков выехал из Царского Села в Вену, а из нее в Венецию, Рим, Неаполь...

Жуковский — И. И. Дмитриеву, 22 ноября 1818, Петербург:

«Я был болен: три недели вылежал и высидел дома. Теперь поправляюсь, и первый мой выход на свет божий была поездка в Царское Село, где мы простились всем «Арзамасом» с нашим Ахиллом-Батюшковым, который теперь бежит от зимы не оглядываясь и, вероятно, недели через три опять в каком-нибудь уголку северной Италии увидится с весною»[38].

Глава девятая. ИТАЛИЯ

Шуми же ты, шуми, огромный океан!
Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран,
Но море чем себе присвоит?..

К. Н. Батюшков. Из отрывков, написанных в Италии

В середине декабря 1818 года Батюшков достиг Вены, к началу января приехал в Венецию, а в Рим попал в разгар праздничного карнавала.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Итальянский период жизни и творчества Батюшкова изучен очень мало. Многие дни, даже месяцы этой жизни, многие моменты творческой деятельности Батюшкова в Италии остаются неизвестными нам. Он пробыл «в отчизне Тасса» около трех лет — и за эти три года сохранилось лишь около десяти его писем, несколько стихотворных отрывков, несколько свидетельств современников, общавшихся с ним, и большое количество разного рода домыслов, догадок, легенд и сплетен,— ибо период этот связан с последующими «черными» годами психической болезни.

Жизнь и деятельность Батюшкова в Италии нашли более или менее подробное отражение лишь в исследовании Л. Н. Майкова (который впервые попытался отделить «злаки» от «плевел» и реконструировать основные вехи «итальянского периода») и в книге итальянской исследовательницы Марины Федерики Варезе «Батюшков — поэт между Россией и Италией», вышедшей в 1970 году в падуанском издательстве «Ливиана». М. Ф. Варезе, в частности, отмечает, что итальянских материалов о последнем периоде жизни Батюшкова почти не сохранилось, как не отыскано и многих документальных свидетельств о службе его при неаполитанской и римской миссиях...

Между тем именно итальянский период жизни Батюшкова — итоговый и ключевой для понимания той трагедии, которая с ним произошла.

Батюшков приехал в Италию по давней жизненной потребности. На осуществление мечты своей он затратил, как мы помним, много хлопот и душевных сил. Эта тяга «в отчизну Тасса» была внутренней попыткой борьбы с усиливавшимися телесными и душевными недугами, которые уже несколько раз давали свои

внешние проявления и снова утихали на время. Ему шел тридцать второй год; он знал, что стоит в первом ряду русских поэтов, возле Жуковского, он радовался своей известности и отнюдь не считал свой поэтический путь уже завершенным. Психическая депрессия все чаще подступала к нему: он подолгу болел, и болезни эти осложнялись припадками меланхолии и тоски,— и это вызывало нестерпимое желание бежать, скрываться от наступающих припадков внутренней душевной неустроенности, оказаться вне их досягаемости.

С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна:
О, юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!
(*«Из греческой антологии»*)

С этим возвышенным чувством удачливого «беглеца» и победившего «юного плавателя» Батюшков в январе 1819 года прибыл в Рим.

Батюшков — А. Н. Оленину, февраль 1819, Рим:

«Около двух недель, как я здесь, почтеннейший Алексей Николаевич, но насилу могу собраться написать к вам несколько строк. Сперва бродил, как угорелый: спешил все увидеть, все проглотить, ибо полагал, что пробуду немного дней. Но лихорадке угодно было остановить меня, и я остался еще на неделю» (III, 539).

Как видим, сразу по приезде Батюшкова ожидало первое разочарование: итальянский климат оказался вовсе не так целителен, что разом излечил бы от всех болезней. Через полгода Батюшков с грустью замечает в письме к Жуковскому: «К несчастию, и я не могу говорить об этом без внутреннего негодования, здоровье мое ветшает беспрестанно: ни солнце, ни воды минеральные, ни самая строгая диета — ничто его не может исправить; оно, кажется, для меня погибло невозвратно. И грудь моя, которая меня до сих пор очень редко мучила, совершенно отказывается. Италия мне не помогает: здесь умираю от холоду, что же со мною будет на севере?» (III, 560).

Итальянские красоты сразу же заворожили Батюшкова. «Скажу только, что одна прогулка в Риме, один взгляд на Форум, в который я по уши влюбился, заплатят с избытком за все беспокойства долгого пути. ...Один Рим может вылечить навеки от суетности самолюбия. Рим — книга: кто прочитает ее? Рим похож на сии гиероглифы, которыми исписаны его обелиски: можно угадать нечто, всего не прочитаешь» (из письма к А. Н. Оленину; III, 539).

Скульптор С. И. Гальберг — родным, 6 февраля 1819, Рим:

«...Приехал сюда наш поэт Батюшков и привез нам письма... Батюшков привез нам выговор от г. Президента,

который желает, чтобы мы чаще писали в Академию»[1].

Первым делом Батюшков познакомился в Италии с людьми искусства. Из Венеции в Рим он ехал вместе с археологом С. О. Потоцким и архитектором Эльсоном. В Риме он встретился со скульптором Антонио Кановой и вручил ему письмо Н. П. Румянцева, который заказал знаменитому итальянскому ваятелю статую Мира (в честь трех мирных договоров, заключенных Румянцевыми): окрыленную богиню, попирающую ногою змею; в правой руке она держит оливковую ветвь, в левой — высокий жезл, принадлежность олимпийских богов...

Но особенной удачей было знакомство Батюшкова с молодыми «пенсионерами» Академии художеств. Как ни странным кажется для нашего восприятия выражение «молодые пенсионеры»,— с ним придется примириться, ибо речь идет о молодых воспитанниках Академии художеств, отправленных для обучения «на родину искусств», в Италию, на казенный счет («пенсион»). Практику отправления «пенсионеров» в Италию возобновил А. Н. Оленин, назначенный в мае 1817 года президентом Академии художеств и проведший в ней ряд значительных преобразований.

Батюшкову А. Н. Оленин поручил при отъезде провести «пенсионерам» инспекцию и передать некоторые поручения. В те времена в Италии жили живописцы Орест Кипренский, Василий Сазонов, Сильвестр Щедрин, скульпторы Михаил Крылов и Самуил Гальберг. «Пенсионеры», приехавшие в Италию раньше Батюшкова, были уже в Риме своими людьми, а для Батюшкова стали прямо-таки «чичеронами».

Более всех сблизился Батюшков с прекрасным русским пейзажистом Сильвестром Щедриным, жившим в Риме уже пять месяцев (с октября 1818 года). Видимо, поэта привлекла не только яркая одаренность, но и необычайная жизнерадостность, «солнечность» натуры молодого художника, которая для уставшей души Батюшкова была поистине целебной. Щедрин был всего на четыре года моложе Батюшкова,— но как художник только еще начинал. Ему была суждена недолгая жизнь: он умрет в Италии, в 1830 году, оставив после себя серию великолепных пейзажей...

С. Ф. Щедрин — родителям, 21 февраля/5 марта 1819, Рим:

«Батюшков в бытность свою в Риме оказывал мне всякие ласки,— отправляясь, велел мне написать к нему: когда я захочу приехать в Неаполь, то чтоб дал ему знать наперед, и если у него будет хоть одна лишняя комната, он мне оную уступит, в противном случае приготовит для меня все нужное, чем я постараюсь воспользоваться, ибо он пробудет там несколько лет при посольстве...»[2]

В Риме Батюшков заказал Щедрину пейзаж. «Если ему удаст-

ся,— пишет он Оленину,— сделать что-нибудь хорошее, то это даст ему некоторую известность в Риме, особенно между русскими, а меня несколько червонцев не разорят» (III, 540).

Вообще Батюшков взялся помогать «пенсионерам». Ознакомившись с условиями их жизни, он послал Оленину большое письмо не только с указанием на тяжелое положение отправленной в Италию группы художников, но и с подробным планом улучшения их быта: «Скажу вам решительно, что плата, им положенная, так мала, так ничтожна, что едва они могут содержать себя на приличной ноге. Здесь лакей, камердинер получает более. Художник не должен быть в изобилии, но и нищета ему опасна. Им не на что купить гипсу и нечем платить за натуру и модели. ...Число четырех пенсионер столь мало, что нельзя и ожидать Академии великих успехов от четырех молодых людей... Желательно иметь более десяти в Риме. Из десяти два, три могут удаться... За ними нужен присмотр, им нужен наставник, путеводитель... Вам доставят устав Французской академии. У ней не дом, а дворец. Желательно, чтобы наши имели только дом, кельи для ночлегу и хорошие мастерские, присмотр, пищу и эту беззаботливость, первое условие артиста с музою или музы с артистом. Впрочем, я говорю то, что чувствую, что видел на месте: издали все кажется иначе» (III, 540 — 541). Эти настояния Батюшкова послужили первым толчком к улучшению положения «пенсионеров». Об этом же позднее писал в Петербург римский посланник А. Я. Италинский, об этом свидетельствовали рапорты самих художников,— в результате чего положение «пенсионеров» впоследствии несколько улучшилось.

В конце февраля Батюшков приехал к месту службы — в Неаполь, который после тихого и чинного Рима оглушал шумом и бурными противоречиями многолюдной толпы. Батюшкову, однако, здесь сразу же понравилось именно это бурное противоречие всего и вся.

Батюшков — А. И. Тургеневу, 12/24 марта 1819, Неаполь:

«Прелестная земля! Здесь бывают землетрясения, наводнения, извержение Везувия, с горящей лавой и с пеплом, здесь бывают, притом, пожары, повальные болезни, горячка. Целые горы скрываются и горы выходят из моря; другие вдруг превращаются в огнедышащие. Здесь от болот или испарений земли вулканический воздух заражается и рождает заразу: люди умирают как мухи. Но зато здесь солнце вечное, пламенное, луна тихая и кроткая, и самый воздух, в котором таится смерть, благовонен и сладок! Все имеет свою выгодную сторону: Плиний погибает под пеплом, племянник описывает смерть дядюшки. На пепле вырастает славный виноград и сочные овощи...» (III, 548 — 549).

Одновременно с Батюшковым в Риме, а потом и в Неаполе,

находился великий князь Михаил Павлович, знаменитый впоследствии солдафон и муштровщик, а пока что — двадцатилетний юноша. Он совершал путешествие в сопровождении известного швейцарского педагога Фредерика-Цезаря Лагарпа, бывшего воспитателя царя. Естественными в этой обстановке оказались знаки великокняжеского внимания и к славному русскому поэту, и к художникам-«пенсионерам». С Батюшковым поспешили познакомиться и сам великий князь, и лица из его свиты: граф де Бре, граф Серра-Каприола, князь А. М. Голицын, князь Г. И. Гагарин... А форму великокняжеского одобрения «пенсионерам» подсказал Михаилу Павловичу сам Батюшков: дать молодым художникам заказы...

С. Ф. Щедрин — родителям, апрель 1819, Рим:

«Вы знаете, как я желал быть в Риме, а приехавши, стал рассчитывать, как бы побывать в Неаполе. Непредвиденный случай мне поблагоприятствовал... на обратном пути великого князя из Неаполя он призвал к себе и встретил сими словами: «Поезжайте в Неаполь и сделайте два вида водяными красками; Батюшкову поручено вам оные показать». Через несколько дней объявили цену, самую выгодную и царскую, то есть 2 500!.. Сверх того, Батюшков прислал мне сказать, что он у себя приготовил мне комнату, и с его услугой, и мне весьма приятно находиться с человеком, столь почтенным...»[3]

Батюшков — сестре Александре, 20 марта/1 апреля 1819, Неаполь:

«О себе ничего сказать не могу. Жил в шуму по приезде великого князя, ездил беспрестанно за город. Теперь начинаю помышлять о моих финансах. Дорогой издержал много денег, ибо три коляски переменил. Здесь не знаю, что проживать буду, но менее десяти тысяч на наши деньги невозможно. Жизнь дешева, нельзя жаловаться. Прекрасный обед в трактире, лучшем, мы платим от двух до трех рублей, но издержки непредвидимые и экипаж очень дорого обходятся. Здесь иностранцев каждый долгом поставляет обсчитать, особенно на большой дороге» (III, 546).

Другое разочарование: и здесь Батюшков не может отвлечься от мыслей о «финансах». То, что требуется ему для жизни, в десять раз перекрывает годовой оклад его жалованья... По службе, впрочем, Батюшкову покамест особенно не докучают, и он отдается на волю самых разнообразных впечатлений.

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу, 17 марта 1819, Варшава:

«Счастливец Батюшков! Мне точно брюхом захотелось итальянского солнца...»[4]

Лето выдалось жарким, и из Неаполя потихоньку уехали русские путешественники. Зато приехал Сильвестр Щедрин — и

поселился у Батюшкова до сентября 1820 года. В письмах к родным он оставил яркие описания батюшковского жилья в Неаполе.

Из письма от 15/27 июня 1819: «Я живу на берегу морском в самом прекраснейшем и многолюднейшем месте, ибо тут проезд в Королевский Сад еще лучше, под моими окнами ставят стулья для зрителей, на берегу множество разносчиков с устрицами и разными рыбами, крик страшный зевак, продающих тухлую минеральную воду, которую тут же черпают и подают проезжающим и проходящим. Зато целую ночь крик, и надобно привыкнуть, чтобы спать спокойно».

Из письма от 8/20 сентября 1820: «Квартира сия, хотя и довольно велика, но расположена по-итальянски, то есть все во двор, а на лицо только две небольшие комнаты, которые он (Батюшков.— *В. К.*) сам занимает, да и те на солнце»[5].

О неаполитанском шуме поминает и Батюшков: «Не могу привыкнуть к шуму на улице, к уединению в комнате. Днем весело бродить по набережной, осененной померанцами в цвету, но ввечеру не худо посидеть с друзьями у доброго огня и говорить все, что на сердце. В некоторые лета это может быть нуждою для образованного, мыслящего существа. Как бы то ни было, надобно ко всему привыкать» (III, 550).

Новая беда: одиночество посреди шума... До приезда Щедрина оно ощущалось особенно мучительно. Со здешним обществом Батюшков почти не вступает в контакт и ведет себя как-то особенно отгороженно, отъединенно.

Батюшков — С. С. Уварову, май 1819, Неаполь:

«Какая земля! Верите, она выше всех описаний — для того, кто любит историю, природу и поэзию; для того даже, кто жаден к грубым чувственным наслаждениям, земля сия — рай небесный. Но ум, требующий пищи в настоящем, ум деятельный, здесь скоро завянет и погибнет; сердце, живущее дружбой, замрет. Общество бесплодно, пусто. Найдете дома такие, как в Париже, у иностранцев, но живости, любезности французской не требуйте. Едва, едва найдешь человека, с которым обменяешься мыслями. От Европы мы отделены морями и стеною китайскою. ...В среднем классе есть много умных людей, особенно между адвокатами, ученых, но они без кафедры немы, иностранцев не любят и, может быть, справедливо. В общество я заглядываю, как в маскарад; живу дома, с книгами; посещаю Помпею и берега залива — наставительные, как книги; страшусь только забыть русскую грамоту, и потому не теряю надежды быть со временем членом Академии...» (III, 781).

И в этом же письме Батюшков выражает желание трудиться

«для России, следственно, для всего человечества, часто опечаливаемого глупостью и злодейством...» (III, 782).

В мае 1819 года Батюшков пишет последние письма в Россию, и в них как-то неуклюже отзывается об Италии: не то хвалит, не то ругает... «Вы сами знаете опытом, что не в чужих краях делаются связи, украшающие жизнь; может быть, знаете и то, что не в Италии живут сердцем» (из письма к Карамзину; III, 555). «...Не спрашивай у меня описания Италии. Это библиотека, музей древностей, земля, исполненная протекшего, земля удивительная, загадка непонятная... И вся Италия, мой друг, столько же похожа на Европу, как Россия на Японию» (из письма к Гнедичу; III, 553).

Даже описания итальянских красот и чудес выглядят в его письмах не совсем обычно: «Неаполь — истинно очаровательный по местоположению своему и совершенно отличный от городов верхней Италии. Весь город на улице, шум ужасный, волны народа. Не буду описывать тебе, где я был, но готов сказать, где не был. Не видал гробницы Виргилиевой: не достоин! Был раз в Студио: я не Дюпати и не Винкельман. Не видал Собачьей пещеры. И чем любоваться тут, скажите, добрые люди? Много и не видал, но зато два раза лазил на Везувий и все камни знаю наизусть в Помпее. Чудесное, неизъяснимое зрелище, красноречивый прах! Вот все, что могу сказать тебе на сей раз. Новостей не спрашивай; у нас все по-старому: и солнце, и люди» (III, 553).

Похоже, что уже через три-четыре месяца жизни в Неаполе Батюшков начал мечтать о возвращении на родину, к своим морозам, к своим друзьям... В Неаполе он отдален от какого-либо умственного движения, окружен недоверием и подозрительностью итальянцев. И он убеждается, что «ум, требующий пищи в настоящем, здесь скоро завянет и погибнет; сердце, живущее дружбой, замрет» (III, 781)...

Но как бросишь службу государеву, едва начатую и так нелегко приобретенную? Как уедешь со своей больной грудью из теплого климата? Там, в России, даже среди близких друзей, едва ли поймут этот поступок — сочтут его немыслимым, неблагоразумным, и осудят, и будут правы!.. И Батюшков насильно подавляет в себе тягостные ощущения, уповая на благоуханную итальянскую природу: «Здесь весна в полном цвете: миндальное дерево покрыто цветами, розы отцветают, и апельсины зрелые падают с ветвей на землю, усеянную цветами...» (III, 550).

Наконец Батюшков хочет найти убежище в истории, которой столь богата эта обетованная земля. Он подымается на Везувий и беспрестанно ездит в Помпею, некогда погибшую при извержении вулкана...

Батюшков — Н. М. Карамзину, 12/24 мая 1819, Неаполь:

«Судьба, конечно, не без причины таила около двух

тысяч лет под золой Везувия Помпею и вдруг открыла ее: это живой комментарий на историю и на поэтов римских. Каждый шаг открывает вам что-нибудь новое или поверяет старое: я, как невежда, но полный чувств, наслаждаюсь зрелищем сего кладбища целого города. Помпеи не можно назвать развалинами, как обыкновенно называют остатки древности: здесь не видите следов времени или разрушения; основания домов совершенно целы, недостает кровель. Вы ходите по улицам из одной в другую, мимо рядов колонн, красивых гробниц и стен, на коих живопись не утратила ни красоты, ни свежести. Форум, где множество храмов, два театра, огромный цирк, уцелели почти совершенно. Везувий еще дымится над городом и, кажется, грозит новою золою. Кругом виды живописные, море и повсюду воспоминания; здесь можно читать Плиния, Тацита и Виргилия и ощупью поверять музу истории и поэзии» (III, 556).

Батюшков едет в Баию, приморский город, некогда бывший излюбленным местом римской аристократии — «где римляне роскошничали, где Сенека писал, где жил Плиний, и Цицерон философствовал» (III, 557),— и увидел некогда роскошную Баию в печальных развалинах, частью затопленную морем... С этим впечатлением связано одно из немногих дошедших до нас итальянских стихотворений Батюшкова:

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод!

В июне в Неаполь приехал Сильвестр Щедрин — и положение Батюшкова, ранее общавшегося только со слугами (один из которых был немец, другой — итальянец, а в Неаполе говорили больше по-французски), несколько улучшилось. Он заметно повеселел, гуляя со своим приятелем по городу и явившись на сей раз его «чичероном».

С. Ф. Щедрин — родителям, 13/25 июля 1819, Неаполь:

«Неаполь, смотря на оный с какой-нибудь горы, иностранцу покажется городом разоренным, ибо все домы без кровель, и точно те домики, которые дети строют из карт. Город чрезвычайно обширен и местоположение самое привлекательное, но нет никакого пренсипального строения, как то имеют другие итальянские города...— но зато отличается шумом, и не мудрено: город сей из многолюднейших в Европе, и сверх того наполнен итальянцами, народом, ко-

торый имеет две крайности: или кричит во все горло, или показывает жестами. Толеда — пренсипальная и прекраснейшая вместе, регулярная улица, похожа на театр, в котором множество лиц действуют, а еще большее число смотрят: стук карет, крик разносчиков, перебегающих из одного кафе в другое, беганье людей по должности и без цели — все это заслуживает внимания иностранца... Сверх того, множество разносчиков с мелочами, у которых освещаются товары лампами или факелами. Тут же в разных местах есть украшенные стойки, где продается вода со льдом; желающим вливают зумбук, это наподобие водки из фиников, которые употребляют итальянцы свежими. Кн. Голицын, Батюшков и я, когда случалось разъезжать по городу, то прямо пили зумбук; сначала мне не понравилось, хотя все утверждают, что очень здорово. После вошел во вкус и пил часто, а теперь почти не могу хлебнуть, совсем кажется лекарством»[6].

Но Щедрин тотчас по приезде окунулся в работу — пишет сначала акварельные, затем живописные виды Неаполя: публичное гульбище Вилла Реаль, набережная Санта-Лючия... Батюшков все в книгах и в замыслах. Письма из России приходят редко, литературные новинки почти не приходят (Щедрин в своих письмах упоминает лишь о трех номерах «Сына Отечества», присланных к Батюшкову) — и он пишет без друзей, без пособий, некий большой труд — «Описание неаполитанских древностей».

В середине июля Щедрин проводил Батюшкова из Неаполя на остров Искию: тот решил для поправления здоровья «пользоваться теплыми минеральными водами»...

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу, 5 июля 1819, Варшава:

«Когда будешь писать Батюшкову, уговори его согреть меня тепленьким письмом из Италии... Уверен, что он скучает»[7].

ТОСКА

Батюшков не просто скучал — его охватила тоска, безотрадная и безысходная... Проходя усиленное лечение на острове Иския, 1 августа 1819 года он написал письмо Жуковскому,— последнее из дошедших до нас дружеских писем поэта (не считая маленького делового письма к сестре от 22 сентября 1819 года и двух писем к Гнедичу 1821 года, о которых речь впереди).

Это письмо — как последний монолог «уходящего со сцены». Батюшков рассказывает о себе: «...купаюсь в минеральных водах, которые сильнее липецких; пью минеральные воды, дышу

волканическим воздухом, питаюсь смоквами, пекусь на солнце, прогуливаюсь под африканскими аллеями (или омеками) при веянии африканского ветра...» (III, 559).

Он описывает чудесную природу, его окружающую: «...предо мною в отдалении Сорренто — колыбель того человека, которому я обязан лучшими наслаждениями в жизни; потом Везувий, который ночью извергает тихое пламя, подобное факелу; высоты Неаполя, увенчанные за́мками; потом Кумы, где странствовал Эней, или Виргилий; Баия, теперь печальная, некогда роскошная; Мизена, Пуццоли и в конце горизонта — гряды гор, отделяющих Кампанию от Абруцо и Апулии... Ночью небо покрывается удивительным сиянием; Млечный Путь здесь в ином виде, несравненно яснее. В стороне Рима из моря выходит страшная комета, о которой мы мало заботимся. Такие картины пристыдили бы твое воображение. Природа — великий поэт, и я радуюсь, что нахожу в сердце моем чувство для сих великих зрелищ...» (III, 559 — 560).

Впрочем, он работает, он «пишет *на прозах* довольно часто»: «...я пишу мои записки о древностях окрестностей Неаполя, которые прочитаем когда-нибудь вместе. Я ограничил себя, сколько мог, одними древностями и первыми впечатлениями предметов; все, что критика, изыскание, оставляю, но не без чтения. Иногда для одной строки надобно пробежать книгу, часто скучную и пустую. Впрочем, это все мaранье; когда-нибудь послужит этот труд, ибо труд, я уверен в этом, никогда не потерян» (III, 561).

«Записки о древностях Неаполя» были написаны. Вероятно, это был большой искусствоведческий труд в духе «Прогулки в Академию художеств». Больше мы о них ничего сказать не можем — до нас эти записки не дошли. Труд Батюшкова оказался *потерян* — в прямом значении этого слова. Вот два печальных свидетельства современников.

Н. Бунаков. Батюшков в Вологде. Заметки к его биографии:

«Записки были «О древностях Неаполя», но и эти записки, и другие бумаги К. Н. в один из припадков душевного расстройства сжег сам. Также пропала или была расхищена его богатая библиотека, тем особенно замечательная, что Батюшков любил при чтении на полях делать собственноручные заметки»[8].

Сведения о Батюшкове, составленные по указанию Д. Г. Бибикова:

«Некоторые предполагают, что Батюшков сам сжег все свои бумаги в припадке душевного расстройства, но это одно предположение; скорее надо думать, что они или затеряны, или похищены, равно как и его богатая библиотека, тем еще более замечательная, что, сколько известно, К. Н. любил при чтении делать собственноручные заметки в тех мес-

тах, которые в особенности останавливали его внимание. При скудости материалов для биографии Батюшкова, эти заметки были бы драгоценны»[9].

Вернемся к последнему дружескому письму поэта... В конце письма — разного рода поручения: перечисление друзей, которым надобно «напомнить» об его существовании,— а перед тем горькие строки: «...я совершенно доволен моей участью — без роскоши, но выше нужды, ничего не желаю в мире, имею или питаю, по крайней мере, надежду возвратиться в отечество, обнять вас и быть еще полезным гражданином: это меня поддерживает в часы уныния. Здесь, на чужбине, надобно иметь некоторую силу душевную, чтобы не унывать в совершенном одиночестве. Друзей дает случай, их дает время. Таких, какие у меня на севере, не найду, не наживу здесь» (III, 561).

Батюшков сознательно уходит в одиночество — тем более тягостное, что он превращает его почти в одиночество насильственное. Душевное уныние находит исход в равнодушии; сочувствия — подавляются; сострадание близким сменяется страшным, абсолютным, непроницаемым спокойствием.

«Впрочем, это и лучше,— добавляет Батюшков.— Какое удовольствие, вставая поутру, сказать в сердце своем: я здесь всех люблю равно, то есть ни к кому не привязан и ни за кого не страдаю» (III, 561). Трагическое одиночество становится жизненной позицией. Подобную позицию Батюшков представил еще в 1817 году в послании к Никите Муравьеву:

Забытый шумною молвой,
Сердец мучительницей милой,
Я сплю, как труженик унылой,
Не оживляемый хвалой.

Н. М. Карамзин — Батюшкову, 20 октября 1819, Петербург:

«Зрейте, укрепляйтесь чувством, которое выше разума, хотя любезного в любезных: оно есть душа души — светит и греет в самую глубокую осень жизни. Пишите, стихами ли, прозою ли, только с чувством: все будет ново и сильно. Надеюсь, что теперь уже замолкли ваши жалобы на здоровье, что оно уже цветет, и плодом будет милое дитя с венком лавровым для родителя: поэма, какой не бывало на святой Руси! Так ли, мой добрый поэт? — говорю с улыбкой, но без шутки. Сохрани вас бог еще хвалить лень, хотя бы и прекрасными стихами! Напишите мне Батюшкова, чтоб я видел его, как в зеркале, со всеми природными красотами души его, в целом, не в отрывках, чтобы потомство узнало вас, как я вас знаю, и полюбило вас, как я вас люблю. В таком случае соглашаюсь долго, долго ждать ответа на это письмо. Спрошу: что делает Батюшков? За-

чем не пишет ко мне из Неаполя? И если невидимый гений шепнет мне на ухо: Батюшков трудится над чем-то бессмертным, то скажу: пусть его молчит с друзьями, лишь бы говорил с веками!»[10]

Никакого ответа на проникновенное это письмо не воспоследовало. Батюшков замолчал вовсе. Лишь осенью 1819 года он пишет сестре, но о себе замечает лишь в нескольких строках: «...я начинаю быть доволен моим здоровьем, хотя климат Неаполя не очень благосклонен тем, которые страдают нервами. Впрочем, надеюсь, что здоровье мое укрепится. Я веду род жизни самый умеренный, не принимаю никакого лекарства и хожу пешком очень много» (III, 564). Ни одного привета ни к кому в этом письме Батюшков не передает...

Осенью 1819 года он вернулся с Искии — и начались служебные неприятности и столкновения с начальством. Место посланника в Неаполе занимал тогда граф Густав Эрнст Штакельберг, опытный пятидесятичетырехлетний дипломат. До Неаполя Штакельберг служил в Варшаве, Стокгольме, Турине, Берне, Гааге, Берлине,— занимая ответственные посты. Он был, между прочим, уполномоченным со стороны России на знаменитом Венском конгрессе... Но иметь дело с ним было не легко: об этом даже упомянул в своих записках министр иностранных дел К. В. Нессельроде: «Он любит дать почувствовать подчиненным тяжесть своей власти. Человек возвышенных чувств, сердца горячего, нрава, преисполненного странностей и гордыни...»[11]

Так уж получилось, что в конце 1819 года Батюшков оказался почти единственным канцеляристом у Штакельберга,— а дипломатическая обстановка в Неаполе между тем значительно осложнилась... По рассказам Д. Н. Блудова, между послом и Батюшковым стали происходить стычки, которые поэт переживал очень серьезно. Однажды Штакельберг поручил ему переписать бумагу, с которой Батюшков был не согласен. Попытка возражать была пресечена заявлением, что сверхштатный канцелярист «не имеет права рассуждать». Батюшков вспылил и... нашла коса на камень!

Неприятности привели к новым болезням — о них упоминает Тургенев, указывающий в своих записках на какое-то письмо Батюшкова от зимы 1819/20 года, до нас не дошедшее[12]. Болезни привели к еще более острому развитию ипохондрии. Батюшков месяцами не выходит из квартиры, никому не пишет, ни с кем не общается (в том числе, кажется, и со Щедриным, живущим рядом). Родные жалуются, что «от Константина Николаевича давно не получали известия»[13], а друзья объясняют, что «он, говорят, скучает и глупою работою замучен...»[14].

К этому же времени относится и его последнее литературное увлечение...

А. И. Тургенев — И. И. Дмитриеву, 6 января 1820, Петербург:

Батюшков «дал, наконец, знак жизни и описал мне образ ее, а вместе с тем и свои занятия. Ничто ему не чуждо. Он отвечает мне на некоторые вопросы по части наук политических и юридических и в то же время уведомляет, что теперь в Северной Италии пишут более и подражают немцам. Меланхолия и романтический вкус начинают нравиться внукам Ариоста. Старики гневаются, и Академия Крусиа старается всеми силами выгонять новые слова и выражения, кои вторгаются в святилище языка тосканского. Но талантов, как уверяет Батюшков, мало. Монти стареется. Италиянцы переводят поэмы Байрона и читают их с жадностию: следовательно, то же явление, что и у нас на Неве, где Жуковский дремлет над Байроном, и на Висле, где Вяземский бредит о Байроне. Но италиянцы имеют более права восхищаться им: Байрон говорит им о их славе языком страсти и поэзии»[15].

Байрон увлек Батюшкова. В августе 1819 года на Искии ему попался итальянский перевод четвертой песни «Паломничества Чайльд-Гарольда», только что вышедший,— и он перевел на русский язык строфу сто семьдесят восьмую. Это был первый стихотворный перевод произведений великого английского романтика на русский язык.

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них, не знаю.

Это стихотворение довольно точно передает содержание байроновской строфы,— но передает совершенно по-батюшковски. Сравните современный перевод той же строфы, выполненный В. Левиком:

Есть наслажденье в бездорожных чащах,
Отрада есть на горной крутизне,
Мелодия в прибое волн кипящих
И голоса в пустынной тишине.
Людей люблю, природа ближе мне.
И то, чем был, и то, к чему иду я,
Я забываю с ней наедине.
В себе одном весь мир огромный чуя,
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.

Батюшкова привлек в этом отрывке мотив разочарованности и бегства от мира действительности и от «ближних» в мир природы: в отличие от мировосприятия Байрона, она выступает как «природа-мать», природа-«владичица». Стихотворение становится близко к «переводам из антологии», и байроновский отрывок приобретает самостоятельное значение,— то, о чем Батюшков говорил в приведенном выше последнем письме к Жуковскому: «Природа — великий поэт...» Основные образы стихотворения связаны именно с поэтикой Батюшкова, а не Байрона: «говор валов», «пустынный бег», «холод годов», «стройные слова»...

Батюшков продолжил свой перевод четырьмя строчками из следующей, сто семьдесят девятой строфы, которые мы привели в качестве эпиграфа к главе. Это тоже собственно батюшковская мысль о тщетности и бренности надежд и желаний, ставшая основной в итальянский период его жизни:

Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран...

Байрон-«беглец», Байрон-«мечтатель» оказался очень соответствен Батюшкову. Позже, будучи неизлечимо больным, он, наряду с именами Тассо и Шатобриана, постоянно вспоминал Байрона. А в 1826 году даже написал письмо к «лорду Байрону, в Англию» с просьбой прислать учителя английского языка и пояснял: «Желаю читать ваши сочинения в подлиннике» (III, 586). Байрона тогда уже не было в живых.

Между прочим, этот перевод Батюшкова, впервые опубликованный в 1828 году, стал одним из любимых произведений русских писателей. Пушкин собственноручно вписал его в свой экземпляр «Опытов» (под заглавием «Элегия»). Им восхищался Белинский и тоже назвал «прекрасной небольшой элегией». Аполлон Майков причислил его к таким стихам, которые «имели главное и решающее влияние на образование» его «слуха и стиха»[16].

В 1820 году Батюшкова, кажется, не волнуют и литературные новинки. В сентябре А. И. Тургенев через некоего Погенноля (которого «нагрузил письмами и посылками для Батюшкова») отправил поэту множество русских книг,— в том числе только что вышедшую поэму Пушкина «Руслан и Людмила»...[17]. Но и на это — ответа не было.

С. Ф. Щедрин — брату, 29 июля/10 августа 1820, Неаполь:

«Константин Николаевич Батюшков живет теперь в Искии и пользуется тамошними банями, а я так хорош, что и не купался в море»[18].

В июле 1820 года началась Неаполитанская революция. Она началась восстанием гарнизона солдат, руководимых двумя «кар-

бонариями» — Морелли и Сильвати. Восставшие шли под лозунгами: «Да здравствует король и конституция!» Вспыхнувшие волнения возглавил генерал Гильельмо Пепе, либерал и конституционалист,— и вскоре волнения распространились на королевство обеих Сицилий. Король Фердинанд I 6 июля подписал два декрета: о даровании конституции и о передаче прерогатив верховной власти в руки наследного принца, герцога Калабрского. Генерал Пепе был назначен на высшую военную должность королевства. Италия бурлила. Австрийцы готовились вступить в ее пределы. Александр I на конгрессах великих держав в Троппау и в Лайбахе поддержал свергнутого короля...

С. Ф. Щедрин — родителям, 8/20 сентября 1820, Неаполь:

«Во время сих перемен я находился в Кастель-Амаро; министр также там жил; спустя несколько дней моего там пребывания, поутру садясь на своего осла, как мальчишка мой, проводник, с таинственным видом мне начал говорить, что в Неаполе бунт, что у них другой король, также и то, что русский министр со своей фамилией выбрался из Кастель-Амаро... Батюшкова в сие время не было в Кастель-Амаро... В сей же день я должен быть у министра, ибо я обучаю рисовать его дочь; пришедши туда, я застал только одного слугу, который забирал оставшиеся вещи, а мне приказано было сказать, что дадут знать, что я должен буду предпринять и должен ли буду возвратиться в Неаполь»[19].

Батюшков никак не отозвался на эти события. Ни волнения народа, ни чаяния свободы — ничто его не затронуло. Свидетель движения итальянских карбонариев, он заметил об них один раз, и то с досадою (в не дошедшем до нас письме к Е. Ф. Муравьевой): «Мне эта глупая революция очень надоела. Пора быть умными, то есть покойными»[20].

В декабре 1820 года, уставший от одиночества, уставший от неприятностей и болезней, Батюшков запросился в Рим, где посланником был Андрей Яковлевич Италинский, дипломат и археолог, добрейший старик (в 1820 году ему было уже семьдесят семь лет), чуть не полвека проведший в Италии. К концу 1820 года состав неаполитанского посольства увеличился двумя чиновниками — и Штакельберг отпустил Батюшкова: официально потому, что «вулканический воздух» Неаполя не благоприятствовал его здоровью.

БОЛЕЗНЬ

В Риме Батюшков поселился на плацца Пополи, на втором этаже невзрачного дома. Там он несколько отдохнул от неприятностей и «оттаял», даже написал несколько коротких писем: к Муравьевым, к Дашкову, к Карамзину.

Батюшков — Е. Ф. Муравьевой, 1/13 января 1821, Рим: «Я переведен из Неаполя в Рим, и был бы очень доволен моим положением, как доволен моим новым начальником, если бы здоровье мое исправилось. Но дурное его состояние мне докучает необыкновенным образом... Милого малютку в Москве, бога ради, не забудьте. Здоров ли он? Каков его пенсион? Имеет ли он все нужное? Уведомьте меня при случае»[21].

Карамзин — Дмитриеву, 10 марта 1821, Петербург: «Батюшков пишет из Рима, что революция глупая надоела ему до крайности. Хорошо, что он убрался из Неаполя бурного, где уже было, как сказывают, резанье. Жуковский видит и хвалит Шатобриана, собирается путешествовать, искать мыслей и чувств; Батюшков едва ли нашел их в Италии»[22].

Почему-то Батюшков упорно не пишет Вяземскому. В январе 1821 года в Варшаву, где служил Вяземский, вернулось из Рима семейство Четверинских,— а «Батюшков все хворал и... ни строки, ни слова не прислал мне через них...»[23].

Весной 1821 года Батюшков запросился в отставку. Добряк Италинский написал официальное прошение министру иностранных дел К. В. Нессельроде, в котором просил для Батюшкова «неограниченного отпуска, чтобы он смог позаботиться о своем здоровье». «Этот чиновник,— пишет Италинский,— достоин рекомендации, благодаря усердию, которое он проявлял в течение двух лет службы в Неаполе, несмотря на физические страдания (следствие тяжелых ранений)... а также благодаря его прекрасному поэтическому таланту, который делает его украшением своей родины»[24]. Нессельроде доложил прошение Италинского государю — и, кажется, что-то крепко напутал, так как ответом на прошение был указ Александра I о прибавке к жалованью Батюшкова «еще по пяти сот рублей в год, считая рубль в пятьдесят штиверов голландских»[25]. Указ был подписан в Лейбахе 21 апреля 1821 года, а 30 мая Италинский пишет к Нессельроде недоуменное письмо, на которое министр не отвечал...

А Батюшкова, что называется, «приперло». В мае он самовольно покинул Рим и отправился лечиться на места былых сражений — на курорты Германии, на минеральные воды Теплица. Недалеко оттуда он получил свое «несчастное ранение» в 1807 году, там в 1813 году был убит его друг Иван Петин... Как будто что-то снова тянуло его к этим проклятым местам, и именно туда он унес свою черную меланхолию и глубочайшую ипохондрию.

С. Ф. Щедрин — брату, 23 июля/4 августа 1821, Рим: «К. Н. Батюшков уже уехал из Риму, бог знает куда; не имею об нем никакого известия, но оставил у меня

портфель с естампами, которые велел доставить при удобном случае Н. И. (Уткину.— *В. К.*), но эти удобные случаи здесь редки»[26].

Батюшков упрям. Батюшков борется. Как рассказывал Д. Н. Блудов, встретившийся с ним в Германии летом 1821 года, лечился Батюшков прямо-таки ожесточенно, принимая по две ванны семьдесят дней сряду (другие больные опасались «удара» после первой же ванны),— как будто возврат здоровья сулил обновить его существование.

Как это часто бывало, при переезде на новое место у Батюшкова вновь появилась потребность в творчестве. В июне 1821 года он пересмотрел свои «Опыты в стихах» и начал подготовку нового издания: вычеркнул десять стихотворений, а на чистых листах книги вписал шесть «Подражаний древним» — своеобразное продолжение его антологических переводов. Это последний батюшковский цикл стихов: маленькие афористические зарисовки, именно «подража́ния» античным образцам, а не переводы:

Скалы́ чувствительны к свирели;
Верблюд прислушивать умеет песнь любви,
Стеня под бременем; румянее крови —
Ты видишь — розы покраснели
В долине Йемена от песней соловья...
А ты, красавица... Не постигаю я.

Они уже существенно отличаются от первого цикла антологических стихов своей тональностью. Если в первых главным было прославление любви, то здесь главенствует трагическая тема смерти, намечается сложный комплекс минорных и пессимистических мотивов:

Без смерти жизнь не жизнь: и что она? сосуд,
Где капля меду средь полыни...

Любовь в восприятии Батюшкова осложняется уже иными, надрывными ощущениями. И что такое, в сущности, любовь в этом страшном мире?

Когда в страдании девица отойдет
И труп синеющий остынет,—
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет.
Бледна, как лилия в лазури васильков,
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
И суетно благоуханье.

Образ «вянущих» человеческих перстов — это как будто преддверие поэзии начала XX века, потрясающий символический образ.

Но тут крупные неприятности пришли к Батюшкову именно с литературной стороны. От Блудова или от кого-то еще Батюш-

ков узнал, что его писательская репутация осложнилась маленькими скандалами, связанными с журналом «Сын Отечества» и с его издателями Н. И. Гречем и А. Ф. Воейковым. Во-первых, без ведома Батюшкова «Сын Отечества» включил его в число своих постоянных сотрудников. Это еще ладно. Во-вторых, в трех августовских номерах «Сына Отечества» за 1820 год прошла неприличная полемика о его стихотворении «Надпись для гробницы дочери Малышевой». Батюшков сообщил это стихотворение в письме к Блудову, тот прочитал письмо Воейкову; Воейков, со слов Блудова, запомнивши это стихотворение, напечатал его в журнале с полною подписью Батюшкова в совершенно изуродованном виде. Блудов написал в журнал опровержение и исправил ошибки. Воейков ответил статьей «Благодарность знаменитому литератору», в которой косвенно обвинил во всем Батюшкова... Это тоже ладно: дело прошлое.

Но вот в февральском номере «Сына Отечества» появилось стихотворение молодого поэта П. А. Плетнева «Б.....ов из Рима». Вследствие уловки того же Воейкова, оно появилось без подписи и было принято многими (в том числе Карамзиным) за произведение Батюшкова:

Напрасно — ветреный поэт
Я вас покинул, други,
Забыв утехи юных лет
И милые заслуги!..

В элегии от имени Батюшкова делались признания, что он скучает за границей, влачит дни без славы, что муза его «умерла» на чужбине... Батюшков, тут же переименовавший Плетнева в Плетаева, воспринял «пасквиль» как оскорбление своей чести, как «злость и лукавое недоброжелательство» со стороны врагов, как «голос», который предрекал конец развитию его таланта...

Оскорбленный, Батюшков написал письмо к Гнедичу, в котором просил друга напечатать в журналах объявление:

«Гг. издателям «Сына Отечества» и других русских журналов. Чужие краи. Августа 3-го н. с. 1821 г.

Прошу вас покорнейше известить ваших читателей, что я не принимал, не принимаю и не буду принимать ни малейшего участия в издании журнала «Сын Отечества»... Дабы впредь избежать и тени подозрения, объявляю, что я, в бытность мою в чужих краях, ничего не писал и ничего не буду печатать с моим именем. Оставляю поле словесности не без признательности к тем соотечественникам, кои, единственно в надежде лучшего, удостоили ободрить мои слабые начинания. Обещаю даже не читать критики на мою книгу: она мне бесполезна, ибо я совершенно и, вероятно, навсегда покинул перо автора.

Константин Батюшков» (III, 568).

Совершенно не помышлявший об этой обиде Плетнев, восторженно относившийся к Батюшкову-поэту, пытался поправить невольную вину свою, почти тотчас же опубликовав в том же «Сыне Отечества» хвалебное стихотворение «К портрету Батюшкова». Это было воспринято Батюшковым как новая обида, и он обратился к Гнедичу с новым письмом, в котором явственно выступила уже идея о кознях каких-то врагов, коих Плетнев является слепым орудием. Батюшков предельно резок: «Нет, не нахожу выражений для моего негодования: оно умрет в моем сердце, когда я умру. Но удар нанесен. Вот следствие: я отныне писать ничего не буду и сдержу слово. Может быть, во мне была искра таланта; может быть, я мог бы со временем написать что-нибудь достойное публики, скажу с позволительною гордостию — достойное и меня, ибо мне 33 года, и шесть лет молчания меня сделали не бессмысленнее, но зрелее. Сделалось иначе. Буду бесчестным человеком, если когда что-нибудь напечатаю с моим именем. Этого мало: обруганный хвалами, решился не возвращаться в Россию...» (III, 571). Письмо датировано 14/26 августа.

После этого случая Батюшков не пишет даже писем и лишь в короткой записке Италинскому сообщает о своем отъезде из Теплица: «Теперь нахожусь в Дрездене, чтобы переждать дождливую погоду и потом уж отправиться во Францию» (III, 572). Между тем Италинский шлет Нессельроде письма с просьбой об отпуске для Батюшкова, сообщает о том, что Батюшков оставил службу, что он болен, что он в Германии. Нессельроде считает неудобным вновь обращаться к государю и всячески тянет с ответом...

Е. Ф. Муравьева — А. Н. Батюшковой, 27 сентября 1821, Петербург:

Писем от Константина Николаевича я не имею, но имею известия очень верные. ...Дмитрий Николаевич Блудов ездил от обструкциев лечиться к Карлсбадским водам и на этих днях возвратился. Его там видел и нашел его лучше, нежели он был; он всем велел кланяться, но сказал, что писать не будет, потому что Дмитрий Николаевич живая грамота; он собирается ехать в Швейцарию, а зиму в Париж, откуда обещал писать, и очень просит, чтоб ему прислали денег, ибо путешествовать в чужих краях очень дорого. Жуковской также поехал в Швейцарию; то они, конечно, там увидятся,— вот все, что я знаю»[27].

Литературным знакомцам Блудов рассказывает о Батюшкове нечто совсем необычное. 30 сентября Карамзин пишет Вяземскому: «...знаете ли вы, что наш поэт Батюшков ссорится и с потомством, и с современниками, не хочет ничего писать, ни служить, ни быть в отставке, ни путешествовать, ни возвращаться в Россию, то есть он в гипохондрии, по рассказам Блудова.

Жалко и больно...»[28] В начале октября о том же пишет Вяземскому Тургенев: «Батюшков очень хандрит, всех разлюбил и, по словам Блудова, он близок к худшему роду меланхолии»[29].

Наконец 4 ноября 1821 года к Батюшкову в местечко Плаун под Дрезденом заехал путешествовавший по Европе Жуковский и записал в своем дневнике: «С Батюшковым в Плауне. *Хочу заниматься.* Раздрание писаного. *Надобно, чтобы что-нибудь со мною случилось.* Тасс; Брут; Вечный Жид; описание Неаполя»[30]. Эти отрывочные записи повествуют о том, что Батюшков раскрыл перед своим другом мрачное состояние души и намерение оставить литературу. Последние слова — перечень недавних произведений Батюшкова, уничтоженных («раздранных») им в порыве отчаяния... Тогда же Батюшков вписал в альбом Жуковского нечто вроде послания — или прощания:

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

А. И. Тургенев — Вяземскому, 7 февраля 1822, Петербург:

«Вчера Жуковский возвратился, видел Батюшкова в Дрездене, слышал прекрасные стихи, которые он все истребил»[31].

Батюшков уже «переступил грань». Началась тяжелейшая болезнь, которая медленно, но неуклонно забирала его в свои лапы.

Чем только не объясняли заболевание Батюшкова! Мемуаристы М. А. Дмитриев и Н. И. Греч писали, что Батюшков еще до отъезда в Италию знал о существовании тайного общества и находился в конфликте между долгом и родственным чувством: «Батюшков, с одной стороны, не хотел изменить своему долгу, с другой — боялся обнаружить сыновей своего благодетеля. Эта борьба мучила его совесть, гнела его чистую поэтическую душу. С намерением убежать от этой тайны и от самого места, где готовилось преступное предприятие, убежать от самого себя, с этим намерением отпросился он в Италию, к тамошней миссии, и везде носил с собой грызущего его червя...»[32] Предположение чересчур «красивое»: оно противоречит и фактам, и характеру самого поэта.

В петербургских светских кругах, основываясь на ранних эпикурейских стихах Батюшкова, сочинили легенду о том, что причиной болезни были «страсти» и любовные увлечения[33]. Но в

действительности Батюшков вовсе не был пылким любителем чувственных наслаждений.

Вряд ли стоит придумывать какую-то иную причину, кроме наследственности, того «черного пятна» на душе, о котором поэт знал и с которым героически боролся всю жизнь. Доктор Антон Дитрих, лечивший Батюшкова в тридцатые годы, добавлял к этой причине некоторые особенности душевного склада поэта, в котором «воображение брало решительный перевес над рассудком». И далее: «Страстность натуры Батюшкова была хорошим материалом для развития в нем психической болезни, а случайности жизни, отчасти в самом деле бедственные, а порой представлявшиеся ему таковыми, содействовали развитию недуга»[34].

Как бы то ни было, в 1821 году болезнь началась: она еще не приняла резких форм, но сказывалась постоянным стремлением уйти от людей, раздражительностью, ипохондрией, а иногда — бурными, ничем не объяснимыми порывами... Но Батюшков еще борется.

Он решает одним махом разрубить гордиев узел, завязавшийся вокруг его дипломатической службы. 12/24 декабря он пишет письмо Нессельроде, гордое и гневное, где подробно описывает службу свою у Штакельберга (указывая на свое «терпение» и «даже усердие») и заявляет: «Находясь в силу обстоятельств в шатком положении и не имея возможности ни продолжать мои путешествия, ни возвратиться в Россию прежде, чем получу известие о решении моей судьбы, я считаю своим долгом прибегнуть к справедливости вашего превосходительства... Я хочу только своей отставки» (III, 574 оригинал по-французски).

Бюрократическая машина снова завертелась: тем более что к своему письму Батюшков приложил официальное прошение на имя государя об отставке — «по причине болезни, которой ниже самое время не принесло очевидной пользы»[35]. Нессельроде пишет Италинскому, пишет Батюшкову, пытаясь уговорить, урезонить,— полагая, что просьба об отставке будет нежелательно воспринята Александром I.

Наконец, в феврале 1822 года министр разрешил Батюшкову «бессрочный отпуск», а в апреле обратился с официальным докладом к царю.

> «Его императорское величество высочайше повелеть соизволил: находящегося при Римской нашей миссии надворного советника Батюшкова уволить в Россию бессрочно с сохранением получаемого им жалованья, считая рубль в пятьдесят штиверов голландских.
>
> Подписано по сему: граф Нессельроде.
>
> Апреля 29 дня 1822 года»[36].

Так закончилась его дипломатическая служба.

Где-то около этого же времени Вяземский в своей запис-

ной книжке записал одно из последних высказываний Батюшкова о своем творчестве: «Что писать мне и что говорить о стихах моих!.. Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!»[37]

Глава десятая. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Премудро создан я, могу на свет сослаться;
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

Последнее стихотворение Батюшкова, написанное в Вологде 14 мая 1853 г.

Применительно к Батюшкову «последние годы»— это половина жизни.

Он прожил шестьдесят восемь лет. В 1821 году его настигла неизлечимая психическая болезнь, и эта дата разделила жизнь поэта на два почти равных отрезка: 34 года до сумасшествия и 34 года после...

В 1834 году известный русский поэт А. И. Подолинский впервые опубликовал стихотворение Батюшкова «Изречение Мельхиседека», снабдив его следующим примечанием: «Кто мне сообщил это стихотворение, не помню. Сообщивший утверждал, что оно уже по смерти поэта К. Н. Батюшкова было замечено на стене, будто бы написанное углем»[1].

Никто из читателей не усомнился в справедливости этого примечания. Между тем Батюшков был жив, и ему оставалось жить еще больше двадцати лет.

В 1843 году Белинский заметил о Батюшкове: «Превосходный талант этот был задушен временем. При этом не должно забывать, что Батюшков слишком рано умер для литературы и поэзии».

Разумеется, Белинский знал о том, что Батюшков жив и живет в Вологде. Но и он считал поэта уже как бы несуществующим...

Писать о том, что было с Батюшковым после душевного заболевания,— занятие тяжелое и неблагодарное. Можно было бы заключить содержание этой главы в несколько страниц и поставить точку. Но еще при жизни поэта вокруг его болезни и вокруг «умолчаний» о ней появились домыслы и слухи, сплетни и пересуды. Они распространялись, обрастали деталями и, наконец, дожили до нашего времени.

Мы хотим избавить светлую память большого русского поэта от «слухов». А это можно сделать единственным способом: противопоставив «пересудам» и «рассказам» документы, письма, достоверные воспоминания современников.

И, движимый чувством любви к Батюшкову, начинаешь перелистывать грустные страницы...

О ТОМ, ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ

Александр I подписал несколько «высочайших повелений» о Батюшкове. Последнее из них датируется 8 мая 1824 года и состоит из четырех пунктов.

«1. Объявить (Батюшкову.— *В. К.*) что прежде изъявления согласия *на пострижение*, государю угодно, чтоб он ехал лечиться *в Дерпт*, а может быть, и далее.

2. Выдать В. А. Жуковскому пожалованные 500 червонцев на путевые издержки Батюшкова.

3. Назначить для сопровождения курьера, который возвратится из Дерпта, если Батюшков там останется, или проводит его до Зонненштейна в противном случае.

4. Выдать паспорты для Батюшкова, сестры его и курьера»[2].

Последовало же это «повеление» после событий весьма не веселых.

14 марта 1822 года, после дрезденской зимы, Батюшков неожиданно приехал в Петербург, где поселился в Демутовом трактире, почти никого не посещая и не принимая к себе. Через месяц он обратился к графу Нессельроде с просьбой разрешить ему поездку «на Кавказ и в Тавриду», ибо «состояние моего здоровья снова вызывает необходимость лечения горячими водами и морскими ваннами» (III, 576; оригинал по-французски).

Письма и воспоминания друзей этого периода отражают смутную, но все возраставшую тревогу за Батюшкова.

Н. М. Карамзин — П. А. Вяземскому, 20 марта 1822, Петербург:

«Батюшков возвратился меланхоликом, ипохондриком, мрачным и холодным: остановился у Демута, сидит в своей комнате и не расположен часто видеться с нами; однако ж провел у него вечер кое-как...»[3]

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому, 21 марта 1822, Петербург:

«Батюшков все еще хандрит, живет у Демута и не переезжает к Муравьевым. Мы недавно были у него: много страшнее, но иногда говорит, хотя отрывисто, но умно...»[4]

А. Е. Измайлов — И. И. Дмитриеву, 6 апреля 1822, Петербург:

«Он (Батюшков.— *В. К.*), как говорят, почти помешался и даже не узнает коротко знакомых. Это следствие полученных им по последнему месту неприятностей от началь-

ства. Его упрекали тем, что он писал стихи, и потому считали неспособным к дипломатической службе...»[5]

5 мая 1822 года распоряжением Нессельроде Батюшкову был выдан паспорт для проезда «по России, в Таврическую и Кавказскую губернии»[6]. Известие об этом уже серьезно обеспокоило друзей.

Н. М. Карамзин — П. А. Вяземскому, 27 апреля 1822, Петербург:

«Батюшков едет на Кавказ: имею мало надежды, однако ж имею. Бог знает, что сидит в нем: меланхолия, ипохондрия? Грустно, а делать нечего: он заперся от дружбы; сердце его глухо для ее голоса». (В следующем письме, от 4 мая, Карамзин высказал свои надежды более определенно: Батюшков «третьего дня читал Блудову стихи свои: это хороший знак, и стихи хороши»[7].)

В. А. Жуковский — П. А. Вяземскому, начало мая 1822, Петербург:

«...Батюшков едет на Кавказ! возможно, поедет он через Москву: может быть, зайдет и к тебе, но ты не очень этому верь! он может еще и не заглянуть к тебе. Стереги его. Я у него бываю, но он ко мне ни ногой. Иногда по-старому обходимся друзьями, иногда дик и холоден»[8].

Н. И. Гнедич — П. А. Вяземскому, 17 мая 1822, Петербург:

«Здесь мелькнул Батюшков, или, лучше сказать, видение из берегов Леты, существо, впрочем, покрытое плотию цветущею, как и прежде, но забывшее все прежнее до самой дружбы. Он уехал — «рукой махнул и скрылся!» Уехал в Крым, на Кавказ и еще куда-нибудь — искать здоровье, которое у чудака совершенно здоровое. Как не повторить за ним: «Сердце наше кладезь мрачный!»[9]

В мае Батюшков пропал, а в августе — объявился в Симферополе, прибыв к тамошнему знаменитому психиатру доктору Мюльгаузену. Обратим внимание: прибыл сам, без чьего-либо понуждения. Батюшков хочет лечиться. Он исступленно борется против мрака, окутывающего его...

Между тем слухи вокруг его болезни все множатся...

А. С. Пушкин — брату Льву, 21 июля 1822, Кишинев:

«Мне писали, что Батюшков помешался: быть нельзя; уничтожь это вранье»[10].

Д. В. Давыдов — П. А. Вяземскому, конец октября 1822, Петербург:

«Забыл сказать тебе, что из Крыма получено известие, что Батюшков совершенно рехнулся»[11].

С. Ф. Щедрин — родителям, 6/18 ноября 1822, Рим:

«...мне сказали, что в Петербурге был Батюшков и что

он, бедной, в весьма дурном положении насчет здоровья; меня это крайне огорчило, он предобрый человек»[12].

К осени 1822 года болезнь Батюшкова приняла совершенно определенный характер сумасшествия на почве мании преследования. До друзей, наконец, дошли страшные вести, не оставлявшие уже никаких сомнений.

В. А. Жуковский — Вяземскому, 26 декабря 1822, Петербург:

«Теперь о главном: вот выписки из письма-доклада Мюльгаузена о Батюшкове; из него увидишь, в каком он теперь положении. Напиши к нему немедленно: я уже писал и еще буду писать. Не надобно, однако, в письме своем говорить, что знаешь о его болезни; надобно стараться пробудить в нем старого человека. Отсюда писали к его зятю Шипилову в Вологду, чтобы он за ним поехал. Если ему будет нельзя, то сбирается поехать Гнедич. Что, если б ты съезжал? — было бы всего, всего лучше. Если только он не побоится тебя: воображение его напугано...»[13]

В тот же день Никита Муравьев пишет П. А. Шипилову о больном Батюшкове: «...его невозможно оставить на собственный произвол его; надобно непременно предохранить его от самого себя и привезти сюда»,— Муравьевы ссужают Шипилова двумя тысячами рублей на эту поездку[14].

4 января 1823 года с той же просьбой обращается к Шипилову Вяземский[15] и одновременно пишет к Жуковскому: «Если есть еще прежняя дружба, то поедем за ним. Ты можешь отпроситься легко в отпуск, а я отпрошусь у обстоятельств,— и совершим это доброе дело»[16].

Е. Ф. Муравьева — П. А. Шипилову, 13 января 1823, Петербург:

«На сих днях мы ожидаем графа Нессельрода, министра иностранных дел, и я надеюсь, что по приезде его сюда он вызовет К. Н. от иностранной коллегии под каким-нибудь приятным предлогом, но о сем прошу вас ему не говорить. По приезде вашем в Симферополь я советую вам повидаться с тамошним губернатором г. Перовским, который берет большое участие в К. Н.»[17].

К. Ф. Нессельроде — Батюшкову, 9 февраля 1823, Петербург:

«Полагая, что Кавказские воды принесли некоторую пользу вашему здоровью, и желая, чтоб вы снова деятельным образом служили в нашем министерстве, я приглашаю вас возвратиться в С. Петербург, где я не премину дать вам занятие, приличное вашим достоинствам и усердию к службе его императорского величества»[18].

Вяземский — Жуковскому, 9 февраля 1823, Остафьево:

«Он (Шипилов.— *В. К.*) благоразумный и добрый чело-

век, но все было нужно привить ему некоторые мысли в отношении положения Батюшкова. А он теперь поехал к нему, ни с вами, ни со мною не повидавшись. Нужно было непременно узнать, понимает ли он положение Батюшкова. Без точного, так сказать, без изящного, если хочешь, без романтического понятия этого трудно ему будет быть ему в пользу. Тут прозы недостаточно... Я еще, кажется, до приезда Батюшкова или тотчас по приезде его писал, что должно бы встретить его камергерством и Академией. Против ребяческой болезни должно употреблять и ребяческие средства»[19].

14 февраля 1823 года П. А. Шипилов прибыл в Симферополь с намерением увезти Батюшкова. Сохранилось два свидетельства о состоянии здоровья поэта, оба помеченные 19 февраля.

Первое — письмо Шипилова к сестре Батюшкова Александре: «Состояние, в каком увидел я милого нашего брата, гораздо лучше, нежели можно вообразить себе в отсутствии. С удовольствием встретил он меня, с свойственным участием расспрашивал о всех, не только о родных или друзьях его, но даже о людях почти совсем посторонних... К сожалению моему, брат не хочет слышать об отъезде из Симферополя, и решимость (довольно тебе известная) столько непоколебима кажется, что, не знаю, и вызов министра едва ли заставит переменить ее...»[20]

Второе свидетельство — письмо к Жуковскому Д. А. Кавелина, старого знакомого Батюшкова, арзамасца, прибывшего в Симферополь по своим делам: «Я нашел его лежащим в халате на постеле в чрезвычайно холодной комнате. Принял он меня ласково, расспрашивал о тебе, о Катерине Федоровне Муравьевой, о Никите Муравьеве и об Олениных; говорил очень хорошо, пока не коснулся *гонений*, son idee fixe: будто бы он кем-то гоним тайно, будто все окружавшие его на Кавказе и здесь суть орудья, употребленные его врагами, чтоб довесть его до отчаяния, будто даже человек его подкуплен ими и делает разные глупости и непослушания»[21].

В марте состояние Батюшкова вовсе ухудшается. Таврический губернатор Н. И. Перовский докладывает в Петербург 15 марта 1823 года: «Пятнадцать дней тому назад он перерезал себе горло бритвой; рана не была смертельна, ее быстро вылечили, но стремление его лишить себя жизни очень навязчиво... За ним следят, как только возможно, но все же опасно держать его в краю, где нет к тому надлежащих средств и людей, ему близких...»[22]

За два дня до этой попытки самоубийства Шипилов выехал из Симферополя: «Брата Константина Николаевича, невзирая на все мои просьбы, убеждения возвратиться со мною, должен был я оставить, не исполнив возложенного тетушкиного поручения»[23].

В марте 1823 года Батюшков составляет, в виде письма к губернатору Н. И. Перовскому, свое завещание, в котором просит об одном: дать воспитание сводному брату Помпею. «Обреченный року», он мечтает о смерти и стремится к ней,— понимая, что только смерть избавит его от безумия: «Прикажите похоронить мое тело не под горою, но на горе. Заклинаю воинов, всех христиан и добрых людей не оскорблять моей могилы. Желаю, чтобы родственники мои заплатили служанке, ходившей за мною во время болезни, три тысячи рублей; коляску продать в пользу бедных колонистов, если есть такие; заплатить за меня по счетам хозяину около трех тысяч рублей; вещи, после меня оставшиеся, отдать родственникам, белье и платье сжечь или нищим; человека Павла, принадлежавшего К. Ф. Муравьевой, отправить к ней; бывшему моему крепостному человеку Якову дать в награждение три тысячи рублей» (III, 577).

Во всех поступках Батюшкова: и в «перемене мест», и в обращении к врачам, и в боязни «гонений», и даже в попытках самоубийства — прослеживается трагическая логика...

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу, 9 апреля 1823, Москва:

«Мы все рождены под каким-то бедственным созвездием... Бедный Батюшков, один в Симферополе, в трактире, заброшенный на съедение мрачным мечтам расстроенного воображения,— есть событие, достойное русского быта и нашего времени»[24].

Л. Н. Блудов — В. А. Жуковскому, апрель 1823, Петербург:

«Знаешь ли о несчастном Батюшкове? Он уже начинал резаться, и бог ведает, как ему помешали на этот раз... О судьба! О жизнь человеческая!»[25]

Н. И. Перовский — К. В. Нессельроде, 19 апреля 1823, Симферополь:

«Состояние его (Батюшкова.— *В. К.*) день ото дня ухудшается, и мне едва ли удастся сохранить его живым. Он делал несколько попыток самоубийства, которые, к счастью, были предотвращены мерами, мною принятыми. Он хотел выброситься в окно, пытался убежать, требовал несколько раз, чтобы я воротил ему шпагу и бритву... Я не в силах ни утешить его, ни предотвратить неминуемое несчастье»[26].

21 апреля 1823 года Батюшков был насильно отправлен Перовским в Петербург (в сопровождении доктора Ланга и двух санитаров) — и 6 мая благополучно туда доставлен. Он отказался поселиться у Муравьевых и нанял квартирку вдали от шума, на Карповке... А. И. Тургенев, почти ежедневно писавший обстоятельные письма Вяземскому, непременно касался в них состояния здоровья несчастного приятеля:

8 мая: «С Никитой, также и с сестрой своей очень

хорош и нежнее нежного... Со всеми говорит о своей болезни и показывает рану, еще не совсем зажившую. При Е. Ф. Муравьевой всегда благоразумен и не говорит вздор. Сказал о своем страхе в Симферополе, поэтому друзья решили не оставлять его одного и попеременно быть с ним».

11 мая: «Батюшков вчера был очень хорош. Я просидел у него один до двенадцатого часа...»

18 мая: «Батюшков опять сильно хандрит. Вчера ввечеру поручил Жуковскому своего брата и издание своих сочинений. Но после до первого часа мы у него сидели, и шутки Блудова оживили его и его остроумие. Он шутил с нами и насчет литераторов, и сам цитировал стихи».

22 мая: «Третьего дня был у него Нессельроде... Он заставил его переехать на дачу Муравьевой, куда он никак не хотел переезжать. Теперь решился из повиновения начальству, как он говорит»[27].

Н. М. Карамзин — П. А. Вяземскому, 1 июня 1823, Царское Село:

«Друзья делают для Батюшкова, что могут. Он беспрестанно говорит о самоубийстве: надеюсь, что и впредь будет только говорить; но мало надежды видеть его опять, как он был. У него полусумасшествие, и тем опаснее. Всего хуже бывает он наедине с людьми короткими»[28].

Бывают и минуты просветления. 14 июля Д. Н. Блудов сообщает в письме к В. А. Жуковскому: «Да! Батюшков велел кланяться тебе и сказать, что он «сдержит слово во всей силе слова»... и потом сочинил экспромтом пародию твоих стихов к нему, прибавив:

Как бешеный, ищу развязки
Своей непостижимой сказки,
Которой имя: свет!

Вот его состояние, и, кажется, он может из него быть излечен только каким-нибудь новым, сильным чувством; я в этом уверился, видя, как над ним подействовал один слух об опасности Карамзина. «Что бы я дал, чтоб спасти его? — говорил он.— Не жизнь свою, потому что презираю ее!»[29]

Батюшков воспринимается друзьями как «помраченное светило»: арзамасцы при нем почти неотлучно, ежедневно дежурят у него с мая 1823 по май 1824 года. Они пытаются (и безуспешно) перевезти больного на другую, лучшую квартиру, они находят видного психиатра Миллера, они сносят страшные припадки его меланхолии... А Вяземский из Москвы призывает поспешить и «решиться на что-нибудь»: «Не откладывайте: тут минута может все свершить и наложить на совесть вашу страшное раскаяние. Больно будет нам сказать себе, что он достоин был лучших друзей, а этот упрек висит у нас над головою, висит на нитке!»[30]

Но на что можно «решиться» друзьям в этой ситуации? Осенью консилиум врачей решает, что излечить больного в Петербурге не представляется возможным, и предлагает направить его в лучшие германские клиники. Родные и друзья медлят: они еще надеются на лучшее.

Н. М. Карамзин — П. А. Вяземскому, 27 ноября 1823, Петербург:

«Я видел Батюшкова в бороде и в самом несчастном расположении духа: говорит вздор о своей болезни и ни о чем другом не хочет слышать. Не имею надежды»[31].

Тягостно проходит длинная петербургская зима. Весной, в письме А. И. Тургенева к Вяземскому, появляется упоминание о последнем произведении Батюшкова: «На сих днях Батюшков читал новое издание Жуковского сочинений, и когда он пришел к нему, то он сказал, что и сам написал стихи. Вот они:

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Записка о нем готова. Мы надеемся скоро отправить его в Зонненштейн. С ним поедет и нежная сестра»[32].

Как только не называли исследователи это — последнее — произведение Батюшкова-поэта: «душераздирающий вопль», «могильная плита над всеми человеческими надеждами и усилиями», «итог творческого пути поэта»... Стихотворение действительно кажется своего рода «символом», «итогом», «воплем».

Мельхиседек, «изрекающий» трагическое надгробие человеку,— библейский пророк, носитель несчастий, а согласно одному из христианских апокрифов — священник, который во время землетрясения потерял весь свой род. Жизнь человека, по его мнению, представляет собою бессильное «рабство», цепь несчастий,— и она целиком определяется волей провидения, и в ней нет и не может быть никаких разумных целей. И за гробом тоже ничего нет, и смерть тоже «едва ли» что-нибудь откроет человеку. Абсолютный мрак, абсолютный пессимизм, абсолютная беспросветность,— как будто действительный «символ» того бытия, в которое вступал Батюшков.

Друзья хлопотали о направлении его в знаменитую немецкую психиатрическую лечебницу в Зонненштейне. Жуковский пишет Вяземскому: «Вчера я обедал у нашего Батюшкова... Все, что он говорил со мною, не показывает сумасшествия, если, конечно, не коснешься главного: его любви, друзей, правительства... Одно из двух: или решиться лечить его — тогда в Зонненштейн! Здесь и думать нечего! Или отказаться от лечения, отдать его на руки

родичам и перевезти в деревню — но как же на это решиться?»[33]

Решился сам Батюшков:

«Ваше императорское величество, всемилостивейший государь!

Поставляю долгом прибегнуть к вашему императорскому величеству с верноподданнейшею просьбою, которая заключается в том, чтобы вы, государь император, позволили мне непременно удалиться в монастырь на Белоозеро или в Соловецкий. В день моего вступления за пределы мира я желаю быть посвящен в сан монашеский, и на то прошу верноподданнейше ваше императорское величество дать благоизволение ваше. У православного алтаря Христа, бога нашего, я надеюсь забыть и забуду два года страданий: там стану памятовать только монаршую милость, о которой вас умоляю, государь всемилостивейший.

Вашего императорского величества верноподданный

Константин Батюшков

Сп.б., 11 апреля 1824»[34].

Александр I, получив это более чем странное прошение, вызвал Жуковского, и следствием разговора с ним явилось приведенное выше «высочайшее повеление».

ЗОННЕНШТЕЙН

Прекрасен здесь вид Эльбы величавой,
Роскошной жизнью берега цветут;
По ребрам гор — дубрава за дубравой,
За виллой вилла — летних нег приют.

Так начинается стихотворение П. А. Вяземского «Зонненштейн», написанное во время путешествия по Германии в 1853 году.

Везде кругом из каменистых рамок
Картины блещут свежей красотой;
Вот на утес перешагнувший замок
К главе его прирос своей пятой.

Содержание стихотворения — это отнюдь не описание величественных видов курортной Германии. Вид Зонненштейна напомнил Вяземскому события тридцатилетней давности,— то, что здесь в течение четырех лет жил его друг, который, может быть, «достоин был лучших друзей»...

Я предан был другому впечатленью.
Любезный образ в душу налетал,
Страдальца образ — и печальной тенью
Он красоту природы омрачал.

В Зонненштейне, дачном местечке в Саксонии, находилось знаменитое в Европе лечебное заведение для душевнобольных — Maison de santé доктора Пиница. Maison de santé — французское сочетание, которое буквально переводится «дом здоровья»...

10 мая 1824 года Жуковский, вместе с доктором Бауманном, повез Батюшкова в Дерпт. С этим городом у больного были связаны приятные ассоциации, и он охотно поехал,— а Жуковский поначалу хотел устроить друга к своему хорошему знакомому, известному врачу И. Ф. Эрдману.

Однако по приезде в Дерпт Батюшков внезапно убежал... «Он ушел,— сообщил А. И. Тургенев в письме Вяземскому,— и всю ночь его найти не могли; наконец, поутру на другой день проезжий сказал молодому Плещееву, что видел верст за 12 от города человека, сидящего на дороге. По описанию, это был Батюшков; Жуковский с Плещеевым поехали и нашли его спящего. Едва уговорили возвратиться с ними в Дерпт»[35].

Поэтому 17 мая, не задерживаясь долее, Жуковский довез Батюшкова до Полангена, а там, в сопровождении доктора Бауманна, больной доехал до Зонненштейна. Вслед за ним приехали туда Александра Николаевна, сестра (в сопровождении какой-то «компаньонки», капитан-лейтенантши Шарлотты Отто), и поселилась неподалеку от клиники в маленьком городке Пирна. Вскоре туда переехала и лечившаяся в Дрездене Елена Григорьевна Пушкина: она решила совместить лечение с заботой о былом добром знакомце. Обе женщины быстро сдружились. Батюшкова в своих письмах обе называли не по имени, а по какому-то условному обозначению: «Страдалец» и «Залог» — и то и другое непременно с прописной буквы.

Дрезденский посланник В. В. Ханыков (между прочим, друг М. Н. Муравьева и писатель) 26 июня сообщил в Петербург К. В. Нессельроде: «Уже в день приезда у него (Батюшкова.— *В. К.*) были сильные припадки, он пытался, несмотря на присмотр, убежать. Тем не менее, он был доставлен в Зонненштейн и отдан доктору Пиницу»[36].

Стремление «убежать» было для больного Батюшкова опять же подчинено некоей трагической логике. В четвертый раз судьба толкала его в Саксонию — и всегда на несчастья. Ранение в 1807 году, «гибель друзей» в 1813-м, первые признаки безумия в 1821-м — все это происходило на маленьком пространстве земли, вокруг Дрездена. Теперь он снова очутился здесь, на этой земле, и ему суждено было провести четыре года в одиночестве, в Maison de santé,— который только так называется: «дом здоровья»...

Н. И. Тургенев (август 1824): «Войдя в ворота, первый, попавшийся мне навстречу, был Батюшков: лицо мрачное; он шел по другой стороне и меня не узнал. Лекарь после сказал мне, что я хорошо сделал, и не свел меня

с ним. Он говорит, что теперь ему немного лучше. Прежде он воображал, что он в тюрьме...»[37].

Он в мире внутреннем ночных видений
Жил взаперти, как узник средь тюрьмы;
И был он мертв для внешних впечатлений,
И божий мир ему был царством тьмы.
(П. А. Вяземский. «Зонненштейн»)

А. И. Тургенев (6 августа 1825): «Осмотрев все заведение и полюбовавшись окрестностями, кои издали прелестны, мы пошли в квартиру доктора вне больницы, в которой содержит он 4 пансионеров и где живет и Ал. Ник. Батюшкова. Она вся задрожала, когда нас увидела, едва в силах была говорить и успокоилась не скоро. Первое слово ее было о брате... Она видела только один раз брата, провела с ним целый день, но он сердился на нее, полагая, что она причиною его заточения»[38].

Сестра Александра и Е. Г. Пушкина постоянно возле больного, хотя и редко видятся с ним. В марте 1825 года Пушкина радостно сообщает Жуковскому, что «наш Страдалец подчиняется, наконец, последовательному лечению», что «он согласился принять врача», что «сны его также стали спокойнее». «Надеемся, что продолжение лечения возвратит нам драгоценное здоровье нашего дорогого больного»[39].

В августе 1826 года проездом в Зонненштейне был Жуковский и говорил с А. Н. Батюшковой о здоровье «Страдальца». По инерции еще идут обнадеживающие известия: Батюшкову лучше, доктор Пиниц надеется «на время и доверенность своего больного»...[40]

Здесь он страдал, томился здесь когда-то,
Жуковского и мой душевный брат.
Он, песнями и скорбью наш Торквато,
Он, заживо познавший свой закат.

Не для его очей цвела природа,
Святой глагол ее пред ним немел;
Здесь для него с лазоревого свода
Веселый день не радостью горел.
(П. А. Вяземский. «Зонненштейн»)

Батюшков — Жуковскому, 28 марта 1826, Зонненштейн: «Выбитый по щекам, замученный и проклятый вместе с Мартином Лютером на машине Зонненштейна безумным Нессельродом, имею одно утешение в боге и дружбе таких людей, как ты, Жуковский. Надеюсь, что Нессельрод будет наказан, как убийца. Я ему никогда не прощу, ни я, ни бог правосудный, ни люди добрые и честные. Утешь своим посещением: ожидаю тебя с нетерпением на сей каторге, где погибает ежедневно Батюшков» (III, 586).

Среди безумных всплесков фантазии сумасшедшего спрятано всамделишное горе и слезы «выбитого по щекам, замученного и проклятого»...

В середине 1827 года консилиум немецких психиатров признал болезнь Батюшкова неизлечимой.

Д. В. Дашков — П. А. Вяземскому, 18 июля 1827, Петербург:

«Горестна участь всех друзей наших. Карамзины осиротели. Болезнь Батюшкова объявлена неизлечимой...»[41]

Не видел он, но ум его тревожил —
Что созидал ума его недуг;
Так бедный здесь лета страданья прожил,
Так и теперь живет несчастный друг.
(П. А. Вяземский. «Зонненштейн»)

Вяземский очень точен в описании самочувствия Батюшкова: «тревожный ум» не мог успокоиться и в «доме здоровья». Батюшков, как истинный художник, впавши в безумие, все-таки живет в сфере особых художественных запросов, связанных еще с одним его талантом...

РИСУНКИ ПОЭТА

Русские писатели первой половины XIX века отличались разносторонней талантливостью. Характерно, что многие из них проявили себя и как художники, рисовальщики. До нас дошло много зарисовок, офортов, гравюр В. А. Жуковского. Рисунки пером А. С. Пушкина поражают гениальной точностью линий. Общеизвестен художнический талант М. Ю. Лермонтова. Великолепные рисунки остались от Е. А. Боратынского, Д. В. Веневитинова, А. А. Дельвига...

Батюшков тоже был наделен ярким художническим даром. В 1828 году, в Зонненштейне, в один из редких моментов просветления, он с горечью признался сестре Александре (это признание зафиксировано в дневнике доктора А. Дитриха): «Да, я обладал талантом к сочинительству, мог быть также и живописцем, и скульптором; бывало, занимался целыми днями: то читал, то писал, то ездил верхом,— теперь все пошло прахом...»[42]

«Талант к сочинительству» Батюшкова воплотился в яркие образцы стихов и прозы. О таланте художника мы можем судить лишь по нескольким десяткам сохранившихся рисунков и акварелей. Этих рисунков было куда больше, но они, как и многие литературные произведения Батюшкова, разделили его печальную судьбу: частью были уничтожены самим поэтом, частью затерялись в потоке непамятного времени.

Батюшков не был «чистым» любителем «художества», как, например, Пушкин. В его рукописях не встретишь «ни женских ножек, ни голов». Он не творил тут же, на полях черновика,— он с детства, со времени «пансионов», привык относиться к живописи как к занятию специальному, требующему направленной усидчивости, и с гордостью посылал отцу результат этих трудов — «большую картину карандашом: Диану и Ендимиона» (III, 3). И в «муравейнике» и в салоне Олениных также господствовал культ «направленного», «осознанного» художества. Такими активными «творцами» были и знакомые Батюшкова О. Кипренский, Н. Уткин, А. Есаков, С. Щедрин. Таким идеологом сознательного, «направленного» искусства был и сам Оленин. Когда в 1817 году Батюшков услышал о назначении Оленина президентом Академии художеств, он поспешил поздравить его: «Порадуемся лучше... вместе со всеми умными, просвещенными и здоровыми людьми: наконец, у нас президент в Академии художеств, президент,

Который без педантства,
Без позы барской и без чванства,
Забот неся житейских груз
И должностей разнообразных бремя,
Еще находит время
В снегах отечества лелеять знобких муз,
Лишь для добра живет и дышит,
И к сим прибавьте чудесам:
Как Менгс — рисует сам,
Как Винкельман красноречивый — пишет» (III, 444 — 445).

Выражением вкусов кружка Оленина явилась и классическая статья Батюшкова «Прогулка в Академию художеств» (1814), которая стала первым опытом историко-культурного очерка в русской литературе. В этой статье, анализируя развитие архитектуры, изобразительных искусств, художественной жизни, он сумел показать русскую художественную культуру своего времени, ее прошлое, настоящее, перспективы ее будущего. В 1933 году искусствовед А. М. Эфрос так оценил «Прогулку в Академию художеств»: «Батюшков был Колумбом русской художественной критики... Живость воображения, тонкость вкуса, свободная манера письма и уверенность критического суждения кажутся нам пленительными даже спустя столетие»[43]. Огромное влияние оказала эта статья на формирование художественных вкусов молодого Пушкина...

Эти же мотивы отразились в рисунках поэта. Большинство из них создавались в минуты творческих раздумий, пауз, неудовлетворенности написанным. Это — рисунки «для себя». Отражая неожиданные ассоциации, отвлечения, обнажая самый ход размышлений, они помогают проникнуть в ту мысль, образ, чувство поэта, которые не выразились в словах. Здесь и автопортреты, и портреты друзей, карикатуры, жанровые сценки, профили, пей-

зажные наброски, иллюстрации к стихотворениям, затейливые росчерки и виньеты.

Интересны автопортреты Батюшкова. Несмотря на беглость и эскизность письма, они очень живы и выразительны. Вот молодой Батюшков, такой, каким он видит себя в 1807 году, отправляясь с милицией на войну с Бонапартом: «Вообрази меня едущего на Рыжаке по чистым полям, и я счастливее всех королей...» А через месяц — другой автопортрет: Батюшков на костылях (на которых он кажется себе «крайне забавен») — и посылает этот портрет Гнедичу «вместо имени».

Вот автопортрет в зеркале: профиль трогательного, доверчивого, почти детского лица. Он обладает той обаятельностью, которой в действительности обладал Батюшков,— не случайно именно с него В. В. Матэ сделал известную гравюру.

А вот набросок автопортрета 1823 года. Здесь уже ни наивности, ни вдохновения: похудевшее, усталое лицо, мешки под глазами, скорбно сжатые губы. И надпись возле портрета — цитата из стихотворения «Привидение»: «Посмотрите: в двадцать лет Бледность щеки покрывает. Константин Николаевич Батюшков. Приятный стихотворец и добрый человек». Ниже рукою А. С. Пушкина (сохранившего этот портрет) дописано: «Им самим рисованный»...

До нас дошли две иллюстрации Батюшкова к собственным стихам. Одна из них относится к 1810 году: она изображает амура, поймавшего бабочку, а под ней — стихотворение «Пафоса бог, Эрот прекрасный...». Этот рисунок хранится в Государственной публичной библиотеке в Ленинграде, а в Пушкинском доме — другой, изображающий фигуру молодой женщины перед стволом дерева, увитого диким виноградом (а рядом — автограф стихотворения «Явор к прохожему»).

Характерные портреты Батюшкова-художника хранятся в Публичной библиотеке: профиль мужчины в военном мундире (предположительно портрет И. А. Петина); профиль в условном наряде поэта (очень похожий на Байрона); монах в рясе; женское личико под вуалью и в шляпке; еще женское лицо, но уже с гладко прибранными волосами,— вероятно, крестьянка...

В составе письма П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу сохранилась озорная карикатура Батюшкова на Вяземского. Буквально несколько штрихов — и перед нами веселый, полнеющий человек в круглых очках, кудрявый и добродушный. За очками не видно глаз, что и подчеркивает надпись под карикатурой: «Без образа лице...»

В составе альбома С. Д. Пономаревой сохранился карандашный набросок жанровой сценки: сельская ярмарка. Мужики, приценивающиеся к полотну, купец в мурмолке, девушка с коромыслом, безногий солдат... Все фигуры прорисованы очень точно, до деталей.

В последние годы жизни больной Батюшков очень активно занимается живописью и скульптурой. А в Зонненштейне они становятся его единственным утешением. В дневнике А. Дитриха то и дело находим характерные пометы: «На рисование прилег с таким усердием, что еле отвечает на предлагаемые доктором вопросы. Во многих оконченных рисунках блещет талант». Или: «Содержание большей части картин относится к обстоятельствам заточения Тассо, изображает самого поэта, которого Батюшков любил больше всех писателей, отчасти, может быть, потому, что судьба их схожа...» Или: «Снова занят восковыми фигурами; требовал мел для исправления нарисованной на стене головы Христа, уголь добыл себе сам...»

Дитрих в дневнике указывает на большое разнообразие тематики батюшковских работ: то он лепит восковые фигуры брата и сестер, отца, Жуковского, Александра I, великого князя Константина Павловича, то рисует цветы с натуры или выдумывает какие-то «нездешние» пейзажи.

В Зонненштейне, как указывает со слов Дитриха Д. В. Дашков, «Батюшков любил рисовать: нарисовал несколько собственных своих портретов в зеркало и один весьма похожий, который теперь у сестры его; рисовал Тасса в разных видах, а по большей части в темнице за решеткой с венком на голове. Нарисовал на стене голову Христа углем и часто оной молился. Вылепил также из воску Христа. Тасса и отца своего...»[44]

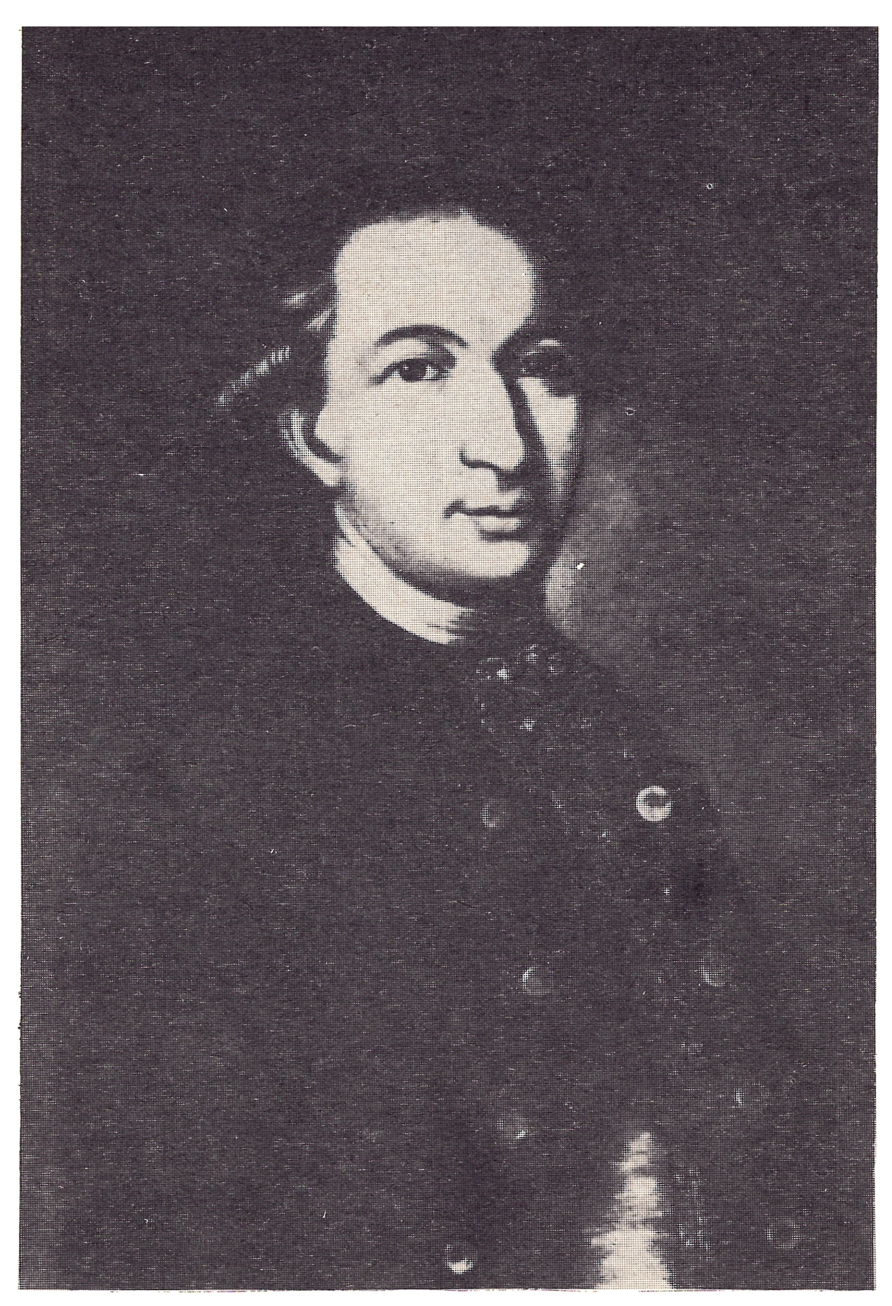
В 1828 году Жуковский в письме А. И. Тургеневу замечал: «Батюшков беспрестанно занят рисованием. Жихарев прислал мне один рисунок его. Видно, что он над ним трудился, и прилежно»[45].

Жаль, что не сохранилось ни восковых фигурок, ни большинства из этих рисунков.

Через тридцать последних лет жизни Батюшкова сквозной нитью проходит один пейзаж, одна тема. Н. В. Берг, посетивший Батюшкова в Вологде в 1847 году и оставивший интересный портрет больного поэта, так описывает этот, наиболее частый рисунок Батюшкова последних лет: «На его картинках всегда одно и то же изображение: белая лошадь пьет воду; с одной стороны деревья, раскрашенные разными красками — желтой, зеленой и красной,— ...с другой стороны за́мок, вдали море с кораблями, темное небо и бледная луна».

Этих рисунков сохранилось много, и все они почти одинаковы, хотя одни написаны в тридцатые годы, другие — в пятидесятые...

Герб рода Батюшковых.



Л. А. Батюшков, дед поэта. Портрет неизвестного художника, середина XVIII в.

Усадьба Батюшковых в Даниловском. Современная фотография.

A mon très cher Papa.

DISCOURS

POUR LE COURONNEMENT

de

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR

E TOUTES LES RUSSIES

ALEXANDRE I.

Prononcé

Le 15 Septembre 1801.

par

MONSEIGNEUR PLATON

ARCHEVEQUE METROPOLITAIN

DE MOSCOU.

Traduit de l'original par C. B.

à St. Pétersbourg.

A l'imprimerie du Gouvernement.

Титульный лист перевода речи митрополита Платона на французский язык, сделанного К. Н. Батюшковым (1801). Вверху — дарственная надпись отцу.

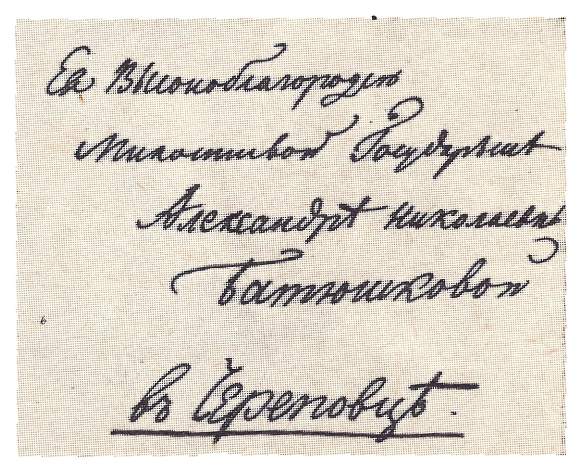
М. Н. Муравьев. Гравюра Н. Уткина с портрета Ж.-Л. Монье (1800-е гг.).

К. Н. Батюшков. Автопортрет. 1807 — 1810 гг.

А. Н. Оленин. Гравюра И. Пожалостина с гравюры Н. Уткина.

И. А. Крылов. Литография О. Эстер-рейха. 1824 г.

И. А. Крылов и А. Ф. Фурман в Приютине. Рис. О. Кипренского.

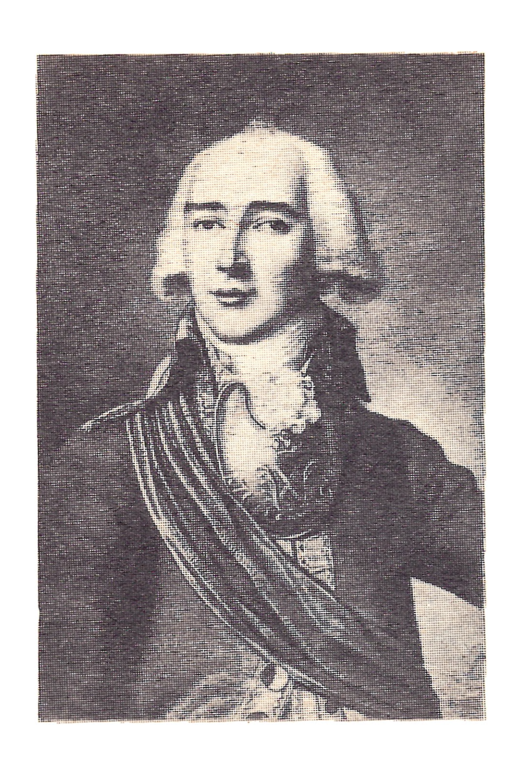

Ея Высокоблагородію
Милостивой Государынѣ
Александрѣ Николаевнѣ
Батюшковой
въ Череповецъ.

К. Н. Батюшков. Адрес на письме к сестре.

К. Н. Батюшков. Автопортрет в письме к Н. И. Гнедичу. Рига. Июнь 1807 г.

Хантоново. Нижний пруд и остатки парка. Современная фотография.

Рисунок и автограф К. Н. Батюшкова. 1809 г.



И. И. Дмитриев. Портрет неизвестного художника. 1810-е гг.

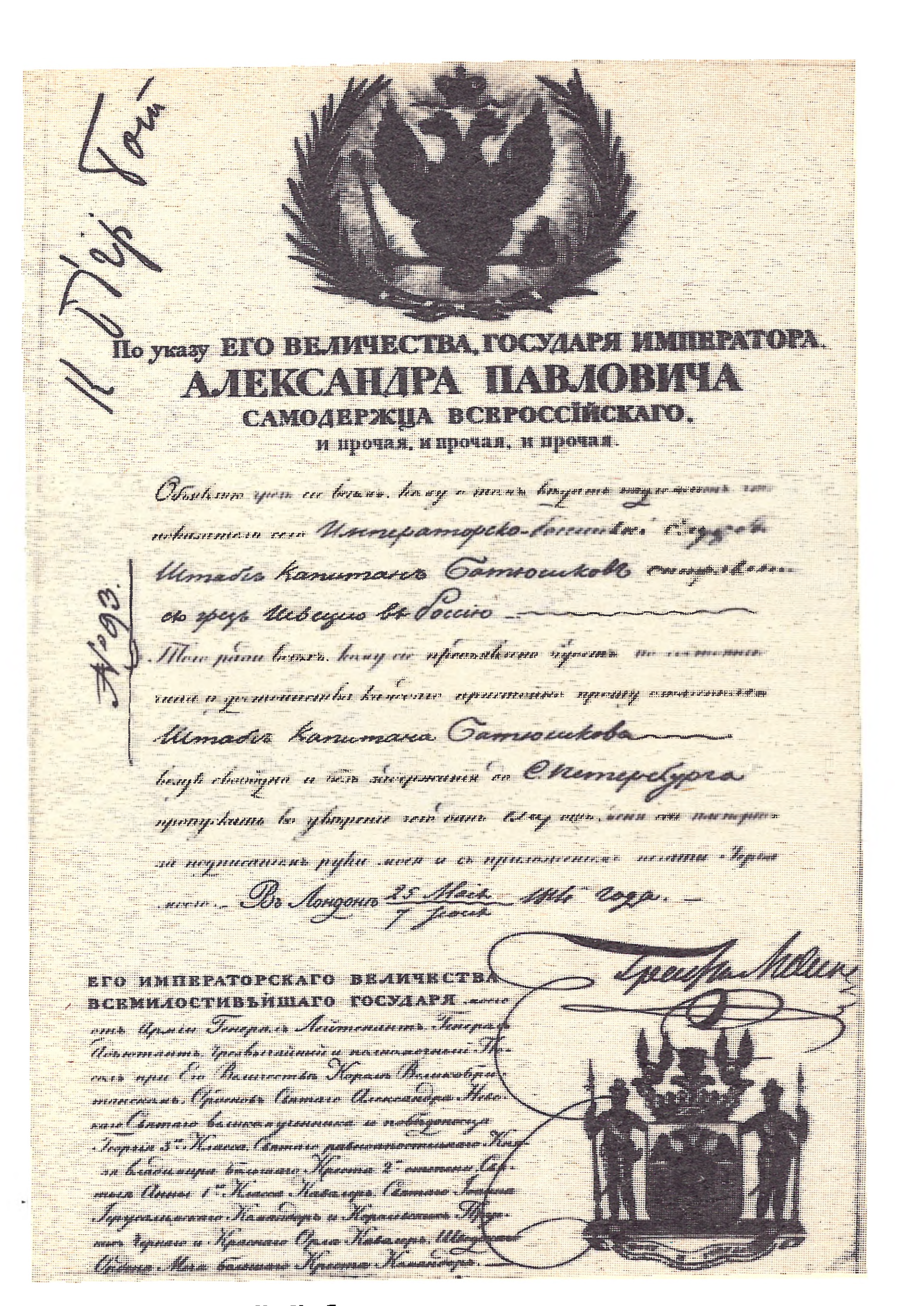
Ю. А. Нелединский-Мелецкий. Портрет Ф. Жерера. 1810-е гг.

В. А. Жуковский. Гравюра Т. Райта. 1810-е гг.

А. Н. Бахметьев. С портрета Д. Доу.

Битва под Лейпцигом. Художник Б. П. Виллевальде.

Рисунок К. Н. Батюшкова (предположительно, И. А. Петин).



По указу ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО,
и прочая, и прочая, и прочая.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ

Паспорт, выданный К. Н. Батюшкову для проезда через Швецию в Россию. 1814 г.

Каменец-Подольский. Гравюра.

ОПЫТЫ

ВЪ СТИХАХЪ И ПРОЗѢ

К. Батюшкова

ВЪ С. ПЕТЕРБУРГѢ

1817.

Обложка первого тома «Опытов...». Виньетка И. Иванова и И. Чесского по рисунку Оленина.

К. Н. Батюшков. Автопортрет 1817 — 1818 гг.

В. прибавил переводы из Антологии, уже напечатанные.

Автограф цикла стихотворений Батюшкова «Подражания древним» на экземпляре стихотворного тома «Опытов...» (1812).

УМИРАЮЩІЙ ТАССЪ,

ЭЛЕГІЯ.

Ты хочешь меду, сын? так жала не страшись;
Венец победы? смело к бою!
Ты перлов жаждешь? так спустись
На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец:
Лишь смелым перлы, мед, иль гибель... иль венец.

Подражание Древним.

Без смерти жизнь не жизнь: и что она? сосуд,
Где капля меду средь полыни;
Величествен сей понт! Лазурный царь пустыни
О солнце! чудно ты, среди небесных чуд!
И на земле прекрасного столь много!
Но, все подвластно, иль внушает скорбь:
Плачь смертный! плачь! твое добро
В руке у Немезиды строгой!

Скалы чувствительны к свирели;
Верблюд прислушивать умеет песнь любви
Стеня под бременем: румяные цвели
Ты видишь, розы покраснели
К восходу Зефира, от нежной соловья.
А ты, красавица... Не постигаю я.

Взгляни: сей кипарис, как наша степь бесплоден,
Но свеж, и зелен он всегда:
Не можешь гражданин, как пальма дать плода?
Так будь как кипарис угоден:
Как он уединен, осанист, и свободен.

Шафгаузен.
1 Июня 1821

Подражание Древним.

Когда в страданиях девица отойдет
И труп синеющий остынет:
Напрасно на него любовь и амвру льет
И облаком цветов окинет.
Бледна как лилия в лазури васильков;
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов
И суетно благоуханье.

О смертный! хочешь ли безбедно перейти
За море жизни треволненной?
Не будь горд: и в бурю вовремя опусти
Свой парус, счастием надменный.
Не покидай руля, как свищет буря вкруг!
Будь в счастии смирен, в тревоге брани горд.

Шафгаузен
2 июня 1821.

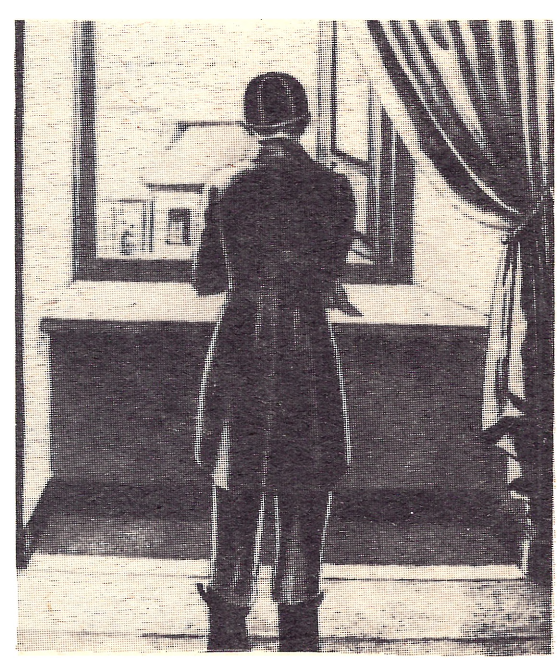
Италия. Байя. Иностранная гравюра.

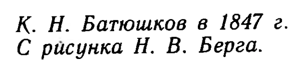
Демутов трактир в Петербурге. Гравюра В. Улриха с рис. Г. Шварца.

К. Н. Батюшков. Автопортрет. Ок. 1813 г.

Рисунок К. Н. Батюшкова периода заболевания.

Рисунок К. Н. Батюшкова периода заболевания.

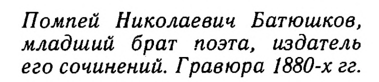




*К. Н. Батюшков в 1847 г.
С рисунка Н. В. Берга.*

К. Н. Батюшков в последние годы жизни. Портрет неизвестного художника.

Дом в Вологде, где Батюшков жил в 1833 — 1855 гг. Фото 1900-х гг.



Помпей Николаевич Батюшков, младший брат поэта, издатель его сочинений. Гравюра 1880-х гг.

Могила К. Н. Батюшкова в Спасо-Прилуцком монастыре. Фото 1900-х гг.

О самом докторе Антоне Дитрихе мы знаем мало. Знаем, что он, будучи врачом зонненштейнской клиники, ухаживал за больным Батюшковым с 21 февраля/4 марта 1828 года до середины 1830 года. Он доставил его из Зонненштейна в Россию и жил при нем в Москве, пока была хотя какая-то надежда на излечение. И все это время он с завидной немецкой аккуратностью вел ежедневный «дневник болезни» выдающегося русского поэта.

Доктор Дитрих, «предобродушный немец» (так его охарактеризовал Д. В. Дашков) был не чужд литературе и даже переводил на немецкий язык стихотворения Жуковского, Вяземского и самого Батюшкова (он перевел послание «Мои Пенаты»). Всей душой он хотел вернуть поэта к жизни и творчеству. Поэтому сухие, протокольные строки его дневника интересны не только для специалистов-психиатров. Они раскрывают упорную борьбу врача, очень ценящего своего пациента, и мучительные переживания больного, осознающего свою болезнь, борющегося с нарастающим безумием и не отступающего перед его натиском.

Батюшкова Дитрих называет просто «он», «больной»...

«Дневник болезни надворного советника и кавалера русского императорского двора г. Константина Николаевича Батюшкова» дошел до нас в копии на немецком языке. Он ни разу, по понятным причинам, полностью не публиковался. Мы также приводим небольшую его часть, выбирая лишь самые характерные отрывки.

4 марта (21 февраля по старому стилю: Дитрих все записи, даже и сделанные в России, датирует по григорианскому календарю) 1828 года — первая запись в дневнике: «У больного насморк и кашель; состояние духа покойное. С доктором Пиницем он обошелся дружески... На Жуковского очень сердит...»

22 февраля/5 марта: «...Он показывал восковой слепок с портрета брата, хотя и не особенно сделанный, но, по его словам, очень схожий с оригиналом. Жалуется на ослабление памяти... Не приходя в возбуждение, он несколько раз повторил: «Я еще не совсем дурак!»

27 февраля/10 марта: «На его слова можно положиться — он всегда держит их. Ночные похождения окончились».

14/26 марта: «Жаловался на боль в ноге, что, вероятно, связано с развивающимися припадками подагры, от которой умерли его отец, дед и прадед... Сегодня утром послал своей сестре через доктора Пиница восковой портрет отца, сделанный небрежно, но очень похожий...»

4/16 апреля: «Больной отлично сознает, насколько пострадал его рассудок. О родных говорил много и очень тепло, не вспомнил только Муравьевых, сосланных в Сибирь; им руководило, вероятно, сострадание к сестре...»

5/17 апреля: «Как сообщил служитель, больной сегодня очень грустен и постоянно призывает к себе смерть... Все сегодняшнее утро он провел в своей комнате, пряча заплаканное лицо в подушки...»

24 апреля/6 мая: «...Больной сдержан в обращении и вполне разумен, так как отстранился от обычных ложных идей. В нем снова проснулось желание деятельности; мы застали его рисующим, и он сейчас же попросил бумагу и карандаши для того, чтобы рисовать автопортрет...»

26 мая/7 июня: «Он просил служителя сходить к барону Ф. Хану (служившему прежде при русском посольстве в Неаполе) и, считая его живущим над собою в верхнем этаже, умолял его из человеческого сострадания не мучить его больше».

В середине 1828 года было решено увезти неизлечимо больного Батюшкова из Зонненштейна в Россию. Доктор Дитрих взялся сопровождать и лечить поэта.

20 июня выехали из Пирны А. Н. Батюшкова и Е. Г. Пушкина, а 4 июля Батюшков, сопровождаемый Дитрихом, бароном А. М. Барклаем-де-Толли (сыном героя Отечественной войны, который взялся помогать Батюшкову), слугой Яковом Маевским и санитаром Шмидтом, покинул Зонненштейн. Дитрих замечает в дневнике: «Известие, что дорожный экипаж у ворот, он принял с жаром со словами: «Отчего так поздно? Я здесь уже четыре года!»

Д. В. Дашков, со слов Дитриха, отметил некоторые характерные детали этого, первого, дня путешествия: «Выехавши из Sonnenstein, вспомнил мать: вышел из коляски, бросился на траву и горько рыдал, крича: «Маменька, маменька!» Потом, указав на сердце, сказал: «Тут болит». Дитрих, не зная по-русски, запомнил все русские слова его»[46].

Путешествие было долгим: Теплиц, Билин, Шлан, Прага, Галиция, Броды... Дитрих отметил: «Разнообразие прелестных долин, холмов, чистое темно-голубое небо производили на больного сильное впечатление, возбуждая в нем поэтическое настроение, которое сильно удивляло меня. Солнце и луну он боготворил, молитва его, обращенная к светилам, была трогательна и кротка при виде луны и всегда неумеренно восторженна при восходе солнца».

Днем 17 июля 1828 года путешественники пересекли русскую границу. «Когда мы ступили на русскую землю, он, увидя солдата, попросил у него кусок черного хлеба, говоря, что у русского солдата всегда есть в запасе черный хлеб. Взял ломоть, от-

ломил два куска, один дал мне, другой перекрестил и тут же съел...»

До Москвы ехали чуть ли не двадцать суток: больной пришел в сильное возбуждение, сопровождавшееся иногда приступами буйства... Наконец 4 августа прибыли в Москву, а на другой день поселили Батюшкова в небольшом домике в Тишине переулке, в Грузинах, который был специально нанят для поэта Е. Ф. Муравьевой. После перенесенных «буйных» припадков болезнь уже не поддавалась активному лечению,— и все усилия были направлены лишь на некоторое облегчение душевных страданий.

А. Н. Батюшкова — В. А. Жуковскому, 18 августа 1828, Москва:

«Мое свидание с Катериной Федоровной и заботы к приготовлению жилища нашему Страдальцу ⟨были⟩ причиною моей медленности вас известить о моем приезде в Москву... Мой бедный Залог приехал 4 числа сего месяца; не имею горестного утешения его видеть, но нахожу способ получать каждый час о нем известье и невидимкою устраивать его хозяйство... С помощью бога надеюсь иметь возможность отлучиться на короткое время отсюда, желаю обнять сестер, с лишком семь лет с ними в разлуке...»[47]

Это — предпоследнее дошедшее до нас письмо А. Н. Батюшковой, верной и незаменимой сестры поэта Александры: тихой, незаметной, полуграмотной — и великой русской женщины! Она не вышла замуж и всю суматошную, непутевую жизнь свою посвятила своим родным — и прежде всего брату. Живя чуть не впроголодь и неумело занимаясь хозяйством, она высылала ему все деньги, какие скапливала,— и получала в ответ короткие благодарности в письмах... Она всю жизнь заботилась о нем и, будучи едва старше его, сумела заменить ему мать, а ее чистая, трогательная и по-бабьи суетливая любовь с лихвой возместила для Батюшкова всех тех Лилет и Аннет, которых он рисовал в своем воображении. Она, посвятившая всю себя своим близким, сама оставалась очень одинока — и никто не замечал этого одиночества. Когда брату стало плохо, она бросилась на помощь — забыв о всех своих тяготах и болезнях. Ее брат, ее «Страдалец», ее «Залог» — стал смыслом всего ее суетливого существования.

Она была и осталась добрым ангелом — и исчезла так же тихо и незаметно, как исчезают добрые ангелы... Уехав осенью 1828 года из Москвы, она уже не воротилась туда. Через несколько месяцев ее настигла та же «родовая» душевная болезнь, что и ее «Страдальца». И почти никто не заметил ее болезни и никак не отозвался на нее. В сумасшествии Александра Николаевна прожила еще двенадцать лет в

имении Хантоново, без друзей, без родных, на руках дворовых людей...

> «10 июля 1841 года. Вологодской дворянской опеке.
>
> Пошехонский уездный предводитель дворянства от 12 июня уведомил меня, что пошехонская помещица Александра Николаевна Батюшкова кончила жизнь, оставив недвижимое имение, состоящее в уездах: Пошехонском — сельце Хантонове, деревнях Хантановом и Петряеве; Череповском — в деревне Филимонове; всего 67 мужеска пола душ...»[48]

Опись имения, составленная после смерти «пошехонской помещицы», точно фиксирует то, что оставила она миру после себя: семь «святых образов», двенадцать «книг французских», четыре серебряные ложки, «чайник фарфоровый и чашка с блюдечком», восемь «чулок бумажных», две пары постельного белья — и еще кое-какую мелочь...[49] Опись эта рисует картину крайней, удручающей бедности и запустения, в коих жила последние годы любимая сестра поэта. Всю жизнь она обо всех заботилась, и никто не позаботился об ней.

Но не будь ее — кто знает, существовал ли бы в русской литературе поэт Батюшков? Константин часто бывал к ней несправедлив, иногда — мелочно придирчив. Но всегда любил ее, и любил, наверное, больше всех других женщин, встречавшихся на пути, обольщавших, вдохновлявших — и исчезавших... А оставшаяся при нем навсегда, до конца дней, сестрица Александра, в ее простых бумажных чулках и с неприхотливыми душевными запросами, — не была ли той, которая действительно осталась достойной «памяти сердца»?..

Вернемся, однако, к дневнику Дитриха.

> **12/24 августа 1828:** «Несмотря на суетное желание уйти из нового места, он никогда не выходит из ворот, хотя те не закрываются; он жаждет тишины, и самый ничтожный шум возбуждает его...»
>
> **18/30 сентября:** «Не позволял топить у него печку; его не послушали, и он открыл окно, уверяя все время, что в печке притаились Штакельберг, Нессельроде и многие другие, которые начнут мучить его...»
>
> **11/23 ноября:** «То скучал, то насмехался; вообще же был тих».
>
> **18/30 января 1829:** «Вечером пришли князь Вяземский и Верстовский; последний играл на фортепиано в моей комнате; дверь была открыта, и больной мог отлично слышать игру... Он, лежа на диване, лепил из воска и не казался раздраженным, потому опыт и не был прекращен».
>
> **19/31 января:** «Утром рассказывал всякий вздор, с негодованием отнесся к вчерашней музыке...»
>
> **15/27 февраля:** «Утром умолял Шульца принести ему кинжал, чтобы умертвить себя, ибо жизнь ему надоела; ему чу-

дились Вяземский, Жуковский, император Александр Павлович и другие, которые записывали все, что он говорил и немедленно отсылали куда-то записанное...»

В дневниках Дитриха часто повторяется, что Батюшков главными виновниками своей трагедии считал графа Штакельберга, канцлера Нессельроде и Александра I. Последний однажды явился больному в образе душителя с веревкой.

В его теперешнем состоянии светлые минуты особенно радостны.

28 августа/9 сентября 1829: «Сегодня он вылепил из воска рог изобилия, обвитый змеей, голова которой выдается назад. Он приделал к нему ушко и повесил к окну, положив в него два живых цветка...»

19/31 декабря: «Последние полтора месяца... большею частью был спокоен, в целые дни проговорит не больше нескольких слов, постоянно гуляет по двору и саду...»

В феврале 1830 года Батюшков заболел воспалением легких. Болезнь протекала долго и тяжело. Дитрих записал в дневнике: «Вероятно, он скоро покончит с этим миром». Больного посетил знаменитый московский доктор М. А. Маркус и согласился с этим предположением. С конца февраля до конца марта Батюшков почти ничего не ел, ослаб, его чаще стали мучить припадки.

Из дневника историка М. П. Погодина, 14 марта 1830: «Батюшков очень дурен. Неужели он умрет?.. В роковые дни idns Martii к нему с Дитрихом. Чрез окно. Лежит почти неподвижный. Дикие взгляды. Взмахнет иногда рукою, мнет воск. И так лежит он два месяца. Боже мой! Где ум и чувство? Одно тело чуть живое. Страшно!»[50]

А. С. Пушкин — Вяземскому, около 18 марта, Москва: «Наше житье-бытье сносно. Дядя жив, Дмитриев очень мил. Зубков член клуба. Ушаков крив. ...Батюшков умирает»[51].

20 марта А. Дитрих был уже уверен в близкой смерти Батюшкова и записал в дневнике: «Сегодня он также не проглотил ни крошки. Не захотел чая, а вместо него потребовал свежей воды. Слабость его, само собой разумеется, все более увеличивается. Около 6 часов вечера пришли навестить его старушка Муравьева с княгиней Вяземской... Прошло с полчаса, как вдруг Шмидт громко позвал меня, сообщив, что больной умирает. Мы с Маркусом поспешили в его комнату; судороги сводили ему ноги, голова лежала глубже обыкновенного, руки были раскинуты, он стонал от боли... Лицо его, бледное, осунувшееся, безжизненное, было лицом мертвеца; в глазах отражался его помутившийся дух... Судороги скоро прекратились и уже не

возвращались более. Он отказался от чая, два раза предложенного, и погасил свечу».

Через два дня в доме умирающего Батюшкова была отслужена всенощная, на которую, среди других друзей, пришел Пушкин: проститься со своим поэтическим учителем.

22 марта/3 апреля 1830: «Вечером была отслужена всенощная. Певчие пели посредственно, но издали пение трогало больного. Двери были раскрыты, и звуки доносились до него; он лежал неподвижно на диване с закрытыми глазами и даже не шевельнулся, когда на стол к нему поставили свечу. Поэт Александр Пушкин, бывший во время службы вместе с Муравьевой и княгиней Вяземской, подошел к столу, у которого лежал больной, и, отстранив свечу, с оживлением начал говорить что-то больному, который не шевельнулся и не промолвил ни слова, даже не обратил внимания на лиц, стоявших у него в прихожей. Вероятно, ему слышалось пение архангелов. Когда к нему послали сиделку с чаем, с единственной целью посмотреть, как он с ней обойдется, он ответил: «Вы мне решительно не даете покоя!» Всю ночь он простонал».

Как убедительно показал академик М. П. Алексеев, стихотворение Пушкина «Не дай мне бог сойти с ума...» написано, вероятно, под впечатлением этой, последней, встречи его с Батюшковым.

В. А. Жуковский — Д. П. Северину, 13 апреля 1830, Петербург:

«О Батюшкове, который теперь в Москве, куда уже два года как перевезен из Зонненштейна,— весьма худые вести: он почти при конце жизни, и надобно желать, чтобы эта жизнь кончилась, чтобы его высокая душа вырвалась из тех цепей, которые так страшно обременяли ее; надежды излечения для него нет никакой»[52].

Впрочем, и в страшной болезни своей, в самые жуткие часы безумия, Батюшков остается поэтом. Вот запись из дневника Дитриха (1/13 августа 1828): «Он решительно не мог переваривать вопроса о времени. «Что такое часы? — обыкновенно спрашивал он и при этом прибавлял: — Вечность!»

Эта фраза больного Батюшкова, не будучи опубликованной, стала в определенном смысле крылатой. Именно она отразилась в известном стихотворении Осипа Мандельштама, горячего поклонника Батюшкова:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:

«Который час?» — его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «Вечность».

Может быть, подспудное сознание этой «вечности» помогло Батюшкову выжить в 1830 году. К середине апреля кризис миновал: больной начал есть, начал даже вставать с дивана. «Голос стал крепче, взгляд веселее и живее,— записывает Дитрих. Тем не менее Батюшков постоянно повторяет: «Хочу смерти и покоя!» К маю он уже совершенно выздоровел, окреп, пополнел, «хотя в психическом отношении ни на йоту не улучшился». Дитрих, наконец, пришел к выводу, что его пребывание у больного поэта бесполезно,— и решил возвратиться на родину.

Последняя запись в дневнике доктора Антона Дитриха датирована 18/30 мая 1830: «Сегодня больному исполнилось 43 года».

ОПЕКА

Жизнь Батюшкова последних лет помогают раскрыть деловые документы, относящиеся к опеке над его имуществом. Они хранятся в Пушкинском доме и представляют собой две объемистые единицы хранения[53]. В этой книге нет смысла приводить все эти документы или даже перечислять их: одна единица хранения включает в себя сорок три документа на двести двух листах, вторая — двести восемьдесят два документа на 1 296 листах. Но за многочисленными описаниями и сводками, приходно-расходными тетрадями, ордерами, докладными записками и деловыми посланиями встают живые человеческие судьбы и очень непростые взаимоотношения.

Одновременно с «высочайшим повелением» об отправке Батюшкова на лечение Александр I распорядился отсрочить его долги и учредить опеку над расстроенным имуществом поэта. 18 августа 1825 года Вологодская дворянская опека определила опекуном над имениями Батюшкова П. А. Шипилова, в то время надворного советника, директора училищ Вологодской губернии. Шипилов, в сущности, давно уже «опекал» имения своего шурина и на сей раз взялся за дело с охотой: уже 4 сентября он представил опись, согласно которой Батюшкову в Вологодском уезде принадлежали два сельца: Межки, с тремя деревнями, и Воздвиженское, с пятнадцатью деревнями. В них числилось триста двадцать пять душ мужеска и триста восемь душ женска пола. Первые лет пять Шипилов удовлетворял требованиям опеки (которые сводились к тому, чтобы он регулярно писал отчеты о хозяйствовании). Он подавал отчеты, собирал подати и, кста-

ти, сумел сделать очень большое и непростое дело: освободил имущество поэта от многочисленных долгов, расплатившись и с банками, и с частными кредиторами.

В 1829 году Шипилов уехал из Вологды в Петербург: он был переведен на должность директора 2-й Санкт-Петербургской гимназии, а позже стал директором Гатчинского института (он возвратился в Вологду лишь в 1847 году, выйдя в отставку). С этого времени он забросил опекунство со всеми его многочисленными хлопотами, а на требование опеки предоставлять отчеты — либо отмалчивается, либо прибегает к известным уловкам. Так, 3 мая 1830 года из Санкт-Петербургской управы благочиния поступило в Вологду сообщение о смерти Шипилова, и более года потребовалось на то, чтобы узнать, что опекун жив и здравствует.

Наконец, 11 января 1833 года Шипилов, представив записку о том, что за последние три года «ни прихода, ни расхода не имелось», подал просьбу освободить его «от занимаемой им должности опекуна».

Новый опекун был найден буквально тотчас же. Им стал «родной г. Батюшкову племянник, флота лейтенант Григорий Гревенц» (сын умершей в 1808 году старшей сестры поэта Анны). Он был назначен указом Вологодского губернского правления 18 января 1833 года,— то есть через неделю после просьбы Шипилова! Такая быстрота заставляет подозревать Г. А. Гревенца в некоей корысти... После 1833 года он заводит множество «тяжебных дел» против Шипилова, то есть, попросту говоря, склок и «наговоров», от которых Шипилов едва смог «оправдаться» (и то с помощью влиятельного родственника, сенатора П. Л. Батюшкова).

Об этих частных «склоках» родственников не стоило бы писать в биографии Батюшкова, если бы не был так живуч образ «великодушного племянника» поэта, некоего благородного бессребреника, который, увидев в 1833 году критическое положение больного Батюшкова, «приехал в Москву и... взял на себя успокоить страдальца-дядю»[54]. Эта фраза взята из воспоминаний П. Г. Гревенца, сына «великодушного племянника»— и так или иначе повторяется во всех биографиях поэта.

Все было не так.

До 1833 года Григорий Гревенц, лейтенант флота в отставке, не жил в Вологде. Его отец, Абрам Ильич, умер около 1817 года, не оставив сыну значительного состояния. Опека над душевнобольным дядей, известным поэтом и достаточно обеспеченным человеком (благодаря Шипилову, избавившему имения от долгов),— могла принести известные выгоды. Ежегодный доход с имений составлял шесть-семь тысяч рублей. До 1833 года Батюшков к тому же еще числился на службе и получал жалованье,— Гревенц (через Жуковского) исхлопотал увольнение поэта от

службы и пенсион, составляющий «сумму, равную окладу жалованья», то есть две тысячи рублей, которые тоже поступили в ведение опекуна. Кроме того, в том же 1833 году книгоиздатель А. Ф. Смирдин обратился к родственникам поэта с просьбой о разрешении переиздать сочинения Батюшкова. Гревенц заключил с ним контракт на восемь тысяч рублей.

Наконец, Гревенц рассудил, что служба в провинции для человека деятельного и энергичного может продвигаться более успешно, чем в столице,— и решил переехать в Вологду вместе с Батюшковым. Для этой цели у протоиерея Васильевского был нанят дом (за 400 рублей в год) и спешно были произведены необходимые приготовления: покупка мебели, обстановки, наем слуг и т. д. В марте 1833 года Батюшков был перевезен в Вологду — вместе с ним переехал туда и опекун с семейством.

Надежды Гревенца на Вологду вполне оправдались. Как свидетельствуют его отчеты, в 1839 году он уже титулярный советник, в 1842-м — коллежский асессор, в 1843-м — надворный советник, в 1845-м — коллежский советник, в 1849-м — статский советник. С 1840 года в здании, которое было нанято для Батюшкова, размещается Вологодская контора уделов (вследствие чего плата за наем дома сокращается вдвое: остальное доплачивает казна), и около этого же времени Гревенц становится председателем этой конторы — влиятельным в Вологде человеком. Иными словами, племянник не только «успокаивал страдальца-дядю», но и, находясь возле него, устраивал свою собственную судьбу.

Он же потихоньку и грабил его. В отличие от своего предшественника Шипилова, Гревенц весьма аккуратен в своих отчетах: он скрупулезно и педантично, учитывая каждую «четверть копейки», записывает и приход, и расход — куплено было то-то и то-то, съедено и выпито — столько-то... Но в том-то и дело, что отчеты эти нельзя считать безусловным источником сведений о последних годах жизни Батюшкова, и отражают они прежде всего натуру самого Гревенца.

Даже при самом поверхностном анализе нетрудно заметить, что показываемые опекуном «расходы» Батюшкова явно завышены, что опекун не ограничивается получением опекунских 5% доходов и часто нарочно завышает «расходы» своего больного дяди, чтобы как-то оправдать свои, действительные, расходы. Живут они вместе, одной семьей — поди докажи!

Так, если верить отчетам Гревенца, для Батюшкова было куплено в 1837 году три халата (на сумму двести девятнадцать рублей); в 1838 году — еще четыре халата (на сумму двести пятьдесят пять рублей); в 1839 году, после замечания ревизии, «покупка халатов» прекращается, зато куплено «платья разного» на сумму 2 518 рублей! На помаду, духи, курительные порошки и

зубные щетки Батюшков якобы израсходовал в 1837 году восемьдесят два рубля, а в 1838 году — сто пятьдесят три рубля пятьдесят копеек и т. д. На «стол» Батюшкова и его прислуги расходуется ежемесячно в среднем пятьсот рублей, а после замечания ревизии сумма уменьшается вдвое. Если верить отчетам, одного Батюшкова обслуживали шесть слуг: два лакея, повар, кучер, прачка и работница с ежемесячным жалованьем шестьдесят девять рублей (что было неслыханным роскошеством и щедростью по тем временам, да еще в провинции). Наконец, особенно популярным в отчетах опекуна оказалось «лучшее виноградное вино из Петербурга», которое больной Батюшков якобы потреблял в громадных количествах: семьсот — восемьсот рублей ежегодно!.. В сороковые годы, когда материальное положение Гревенца укрепилось, «расходы» Батюшкова снижаются вдвое.

Но как бы то ни было, появление «лейтенанта флота Григория Гревенца» знаменовало некоторый поворот в судьбе и в болезни Батюшкова, и поворот к лучшему...

«В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ И СКОНЧАЛСЯ...»

Последние двадцать два года жизни Батюшков прожил в Вологде.

Один из первых биографов Батюшкова, известный педагог Н. Ф. Бунаков, вологжанин по рождению, пишет о Вологде так: «Построенный среди болот и топей, город имеет неприветный и суровый вид, как вообще большая часть северных городов. Измученному прежней ужасной дорогой (особенно весной и осенью) путнику на плоской равнине видятся главы церквей и кучи домов, издали ни с какой стороны не расположенных живописно. Белые северные ночи, болотные испарения, которые не освежаются ветрами с моря, как в Петербурге, действуют на нервных людей особенно дурно»[55].

В центре Вологды, на перекрестке улиц Батюшкова (бывшая Малая Благовещенская) и проспекта Победы (бывшая Гостинодворская) стоит старый каменный дом, на полукруглом углу которого — мемориальная плита, поставленная еще в 1887 году: «В этом доме жил и скончался 7 июля 1855 года Константин Николаевич Батюшков». Жил он здесь в небольшой угловой комнатке во втором, верхнем этаже, окна которого выходили прямо на кремль и архиерейское подворье.

Жил он довольно тихо и незаметно — и об этом периоде сохранились лишь скудные, отрывочные воспоминания, часть из которых до сих пор не опубликована. Между тем в совокупности своей воспоминания эти дают картину яркую и выразительную.

А. С. Власов, директор Вологодской гимназии:

«В Москве Батюшкова держали в совершенном удалении от людей, в одиночестве; здесь же он жил в семействе. В первые годы его здесь пребывания душевная болезнь его обнаруживалась сильными припадками бешенства, и его должно было удерживать, чтобы он не нанес вреда себе или другим; но впоследствии постоянная заботливость, с которою предупреждали и исполняли все его желания, деликатное с ним обращение (что он в особенности любил) имели благодетельное влияние на его нервную систему: припадки стали делаться с ним реже, и он сделался спокойнее. Эта перемена в его моральном состоянии воспоследовала около 1840 года»[56].

Эта «перемена» подтверждается и записями современников.

А. В. Никитенко. Из дневника. 15 августа 1834:

«Дух этого человека в совершенном упадке. Я прочел ему несколько стихов из его собственного «Умирающего Тасса»: он их не понял... Он говорил страшный вздор о том, что у него заключен какой-то союз с Англией, Европой, Азией и Америкой; что он где-то видел, как кто-то влачил в пыли Карамзина и русский язык; вспоминал о какой-то Екатерине Карамзиной и все заключил неприличной выходкой против англичан. Затем он быстро вскочил и побежал в сад. Мы последовали за ним, но он уже больше ничего не говорил: был угрюм и молчалив»[57].

П. Н. Батюшков. Из записок:

«Лето 1838 года. Посетил брата в Вологде. Он выглядит неплохо. Перечитывает свои стихи. Даже говорит об их издании. Но затем забывает. Читает любимых латинских классиков. Многие места помнит наизусть. Затем все бросает и сидит, глубоко задумавшись... С интересом слушал о моих планах. Я с удовлетворением понял, что мое присутствие приятно дорогому Константину»[58].

М. П. Погодин. Из дневника. 20 августа 1841:

«Батюшков провел ночь нехорошо. Священник советовал мне встретиться с ним на прогулке в саду над рекою, куда он сейчас должен идти. Получив сведения об его состоянии и несколько рисунков его работы, я отправился в сад. Через час я вижу и Батюшкова. Он совершенно здоров физически, но поседел, ходит быстро и беспрестанно делает жесты твердые и решительные; встретился с ним два раза, а более боялся, чтобы не возбудить в нем подозрения»[59].

«Значительная перемена к лучшему» подтверждается и денежными документами опеки. Если в тридцатые годы «годовому доктору Энгельмейеру», лечившему Батюшкова, выплачивалась сумма триста и более рублей в год, то уже в 1840 году — 141 рубль

42 1/4 копейки, в 1845 году — 85 рублей 71 3/4 копейки, а в последующие годы доктор в годовых отчетах Гревенца вообще не упоминается.

Как свидетельствуют отчеты, в 1833 году вместе с Батюшковым в Вологду приехал его «компаньон», некий «штаб-ротмистр Львов». Обязанности «компаньона», вероятно, были аналогичны обязанностям сиделки: он везде находился вместе с больным. Гревенц платил «компаньону» значительную сумму — семьсот рублей в год. Потом эта сумма уменьшилась до двухсот рублей, а с середины сороковых годов «компаньон», как и «доктор», исчез из годовых отчетов (хотя, по свидетельству А. С. Власова, он остался в Вологде и часто прогуливался вместе с Батюшковым).

Постепенно Батюшков становится живой реликвией вологодского общества. А. С. Власов пишет: «Если бывали в доме гости, то он весьма редко являлся в зале; явившись же в собрание, употреблял всю энергию своего характера, чтобы сохранить приличие в обращении, и умел щеголять теми утонченными и остроумными манерами, которые составляли принадлежность образованного общества в конце прошлого столетия. Разговор его отличался решительными, резкими суждениями и, по большей части, сарказмом».

Литературою Батюшков почти не занимается, и, кроме приведенного в эпиграфе четверостишия да нескольких отрывков, которые, как заметил академик М. П. Алексеев, «в большей степени могут служить материалом для медико-психологических экспериментов, чем для истории русской поэзии»,— не написал ничего. Зато много читал. «...Любимыми его авторами были Карамзин, Жуковский и Гнедич; о своих сочинениях сам он нигде не вспоминал, но с видимым удовольствием слушал, когда их декламировали»,— вспоминает А. С. Власов. И далее: «Вообще говоря, он жил теми идеями и понятиями, которые вынес из сознательных годов своей жизни, и далее их не шел, ничего не заимствуя из современности, которой для него как будто не существовало».

Любимым занятием Батюшкова остается рисование. В рисунках он употребляет «цветную и золотую бумагу» и «разные бардеры» и с помощью этих подручных средств и красок создает нехитрые «ландшафты».

Лето Батюшков проводил обыкновенно в пригородной деревне Авдотьино, где Гревенс оборудовал для него небольшой домик, зимами жил в Вологде. День его обыкновенно начинался рано. «Вставал он в 5 часов летом, зимою же часов в 7, затем кушал чай и садился читать или рисовать; в 10 часов подавали ему кофе и в 12 он ложился отдыхать и спал до обеда, то есть часов до 4-х; опять рисовал или приказывал приводить к себе маленьких своих внуков, из которых одного чрезвычайно любил, и когда тот умер, то горевал очень долго о потере, как

он сам говорил, «своего маленького друга». Живя летом в деревне, К. Н. одну только ночь проводил в доме, а прочее время постоянно гулял, и это движение много способствовало тому прекрасному состоянию его физического здоровья, которым он пользовался до последних дней своей жизни»[60].

В последние годы жизни поэта в отчетах опекуна появляются новые статьи расходов, они обнадеживают: «на театр», «на почтовые расходы», «на газеты», «на фрак с прибором»...

С. П. Шевырев, бывший в 1847 году проездом в Вологде, пишет в путевых записках о Батюшкове: «Небольшого росту человек, сухой комплекции, с головкой почти совсем седою, с глазами ни на чем не остановленными, но беспрерывно разбегающимися, с странными движениями особенно в плечах, с голосом раздраженным и хрипливо-тонким, предстал передо мною... Вкус его к прекрасному сохранился в любви к цветам. Нередко смотрит он на них и улыбается. Любит детей, играет с ними, никогда ни в чем не отказывает ребенку, и дети его любят. К женщинам питает особенное уважение: не сумеет отказать женской просьбе»[61].

Интересный портрет Батюшкова этого периода оставил поэт и художник Н. В. Берг, приезжавший в Вологду вместе с Шевыревым: «Темно-серые глаза его, быстрые и выразительные, смотрели тихо и кротко. Густые, черные с проседью брови не опускались и не сдвигались... Как ни вглядывался я, никакого следа безумия не находил на его смиренном, благородном лице. Напротив, оно было в ту минуту очень умно. Скажу здесь и обо всей его голове: она не так велика, лоб у него открытый, большой, нос маленький с горбом, губы тонкие и сухие,— все лицо худощаво, несколько морщиновато, особенно замечательно своею необыкновенною подвижностью. Это совершенная молния: переходы от спокойствия к беспокойству, от улыбки к суровому выражению чрезвычайно быстры. И весь вообще он очень жив и даже вертляв. Все, что ни делает, делает скоро. Ходит также скоро и широкими шагами».

Воспоминания Шевырева и Берга относятся к 1847 году. Умерли или уехали из России почти все его литературные друзья: Карамзин и Василий Пушкин, Гнедич и Крылов, Никита Муравьев и Александр Пушкин, Жуковский и Александр Тургенев, Дашков и Северин... Ушли из жизни даже такие далекие «потомки» поэзии Батюшкова, как Рылеев, Лермонтов, Баратынский, Веневитинов, Языков... А Батюшков — жив.

Н. В. Берг продолжает: «И допив кофей, встал и начал ходить опять по зале; опять останавливался у окна и смотрел на улицу; иногда поднимал плечи вверх, что-то шептал и говорил. Его неопределенный, странный шепот был несколько похож на скорую, отрывистую молитву, и, может быть, он и в самом деле молился... В одну из таких минут, когда он стоял таким обра-

зом у окна, мне пришло в голову срисовать его сзади. Я подумал: это будет Батюшков, без лица, обращенный к нам спиной...»[62].

Берг нарисовал этот символический портрет отвернувшегося от мира Батюшкова: он появился в книге путевых записок Шевырева в 1850 году.

П. А. Вяземский — П. А. Шипилову, 17 декабря 1847, Петербург:

«Кланяйтесь от меня Вологде, то есть стенам, а знакомых мне, вероятно, уже никого в ней нет, кроме бедного Батюшкова. Боже мой, как подумаешь, скольких он пережил и как многих, может быть, еще и переживет в несчастном этом положении. И для чего? Никак умом не разгадаешь этой тайны...»[63]

П. А. Шипилов — П. А. Вяземскому, 17 июля 1848, Вологда:

«Он (Батюшков.— *В. К.*) нередко бывает ныне покоен и молчалив, а едва начнет говорить, то странные суждения его о людях и предметах тотчас обнаруживаются. Заметно лишь в нем, что ныне не только он опрятен, но более щеголеват и бережлив в одежде; разумеется, что в лице он постарел, но, пользуясь физическим здоровьем, он сохранил благовидную наружность»[64].

Во время Крымской войны Батюшков вдруг заинтересовался политикой и военными действиями. «...В последнее время своей жизни,— пишет А. С. Власов,— он исключительно занимался чтением журналов, сличал статьи одного с статьями другого, делал в них заметки и всем этим занимался, показывая то убеждение, что ему свыше вменено в непременную обязанность разрешить этот трудный вопрос и произнести решительный приговор».

П. А. Плетнев — П. А. Вяземскому, 6 января 1855, Петербург:

«...Батюшков внезапно пришел в сознание и, услышав об осаде Севастополя, попросил, чтобы ему собрали поболее карт этой местности, и с той поры сильно занимается европейской политикой... Вот что значит встать из гроба, пролежав в нем 30 лет»[65].

27 июня 1855 года у Батюшкова внезапно началась тифозная горячка. «Несколько времени до сразившей его болезни он был очень спокоен духом, даже весел и чувствовал себя как нельзя лучше. Но он заболел тифом, продолжавшимся две недели, от которого, впрочем, стал оправляться, и наконец, по отзыву пользовавшего его врача, был вне всякой опасности. За три дня до своей смерти он просил даже племянника своего прочесть все политические новости. Но вдруг пульс у Константина Николаевича упал, начались сильные страдания, которые унялись только за несколько часов до его смерти; он умер в совершенной

памяти и только в самые последние минуты был в забытьи».

В. А. Писарев, протоиерей Дмитриевской церкви в Вологде:

«Что же касается до последних минут его жизни, которых я был свидетелем, об этом говорить нечего: я застал его в предсмертном сне, после которого он уже не пробуждался. За несколько часов до меня был приглашен приходский священник с напутственными дарами; тогда он был в чувстве, но на все предложения не отвечал ни слова, а только показал рукою знак отрицательный. Этого священника он не знал, с незнакомыми же он говорил всегда очень мало и неохотно...»[66]

7 июля 1855 года в пять часов пополудни Батюшков умер. 10 июля в Вологде были его похороны.

«Гроб поэта к месту вечного покоя, в Спасо-Прилуцкий монастырь (в пяти верстах от города), провожали преосв. Феогност, епископы Вологодский и устюженский с знатнейшим, г. начальник губернии, наставники гимназий и семинарий, и все те, кто знал о смерти поэта и кому дорога память о нем как о знаменитом писателе и как о согражданине. По окончании литургии и отпевания тела, совершенных в монастыре самим преосвященным, магистр протоиерей Прокошев произнес надгробное красноречивое слово...»[67]

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Г. А. Гревенц вскоре после смерти Батюшкова уехал из Вологды в Петербург, а в 1858 году в доме, где жил Батюшков, была открыта Мариинская женская гимназия. Теперь там находится педагогическое училище.

П. А. Шипилов умер через полгода после Батюшкова. После его смерти в усадьбе его, в пригородном селе Маклакове осталась богатая библиотека Батюшкова и его архив. Архив сохранился: теперь он находится в Пушкинском доме. Библиотека пропала: вероятно, была растащена.

18 декабря 1856 года произошел раздел имения покойного Батюшкова между родственниками. Оно было разделено на три части. Сестре Батюшкова Варваре Николаевне Соколовой досталось семь деревень со 134 душами. Племянникам же, Григорию Гревенцу и Леониду Шипилову тоже отошли деревеньки с крестьянами: одному 139 душ, другому — 132[68].

А стихов и прозы покойного Батюшкова никто не делил. Они давно уже принадлежали всем русским людям, любящим свою историю и свою культуру.

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава первая. ДЕТСТВО

[1] Сведения о времени и месте рождения К. Н. Батюшкова были впервые указаны Н. И. Гречем, которому их сообщила сестра поэта Александра (см.: Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ГПБ), ф. 50, ед. хр. 35).

[2] Российская родословная книга, издаваемая князем П. Долгоруким. Спб., 1854 — 1857, т. I, IV.

[3] Колесников П. А. К истории рода Батюшковых.— В кн.: К. Н. Батюшков, Ф. Д. Батюшков, А. И. Куприн. Материалы Всероссийской научной конференции в Устюжне о жизни и творчестве Батюшковых и Куприна. Вологда 1968, с. 19. См. также: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1965, кн. 12, с. 108; кн. 14, с. 133.

[4] Родословную Батюшковых см.: ГПБ, ф. 50, ед. хр. 1.

[5] См.: Центральный государственный исторический архив СССР (далее: ЦГИА), ф. 840, д. № 3, л. 13 об.— 15 об.; ГПБ, ф. 850, ед. хр. 1, л. 3 об.— 4.

[6] Выдержки из писем Батюшкова и не переиздававшихся в советское время прозаических произведений приводятся по изданию: Сочинения К. Н. Батюшкова. Изданы П. Н. Батюшковым. Со статьею о жизни и сочинениях К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковым, и примечаниями, составленными им же и В. И. Саитовым. Т. II, Спб., 1885; т. III, Спб., 1886. Далее в тексте указывается номер тома и страница. Остальные выдержки приводятся без указания на источник.

[7] Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, т. I. Спб., 1803. Объяснение некоторых геральдических символов см. в кн.: Драчук В. С. Рассказывает геральдика. М., 1977, с. 60 — 79.

[8] Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 325 — 326.

[9] ЦГИА, ф. 840, оп. 1 , д. № 32, 33.

[10] Материал об И. А. Батюшкове приводится по статье: Барсуков А. Батюшков и Опочинин (Попытка дворянской оппозиции в царствование Екатерины II).— Древняя и новая Россия, 1878, т. III, № 12, с. 287 — 309.

[11] ЦГИА, ф. 840, оп. 1, д. № 51, л. 110.

[12] Майков Л. Батюшков, его жизнь и сочинения. Изд. 2-е. Спб., 1896, с. 7.

[13] В кн.: Батюшков К. Стихотворения. Л., 1948, с. V.

[14] В кн.: Батюшков К. Н. Сочинения. М. — Л., 1934, с. 14.

[15] Государственный архив Вологодской области (далее: ГАВО), ф. 914, оп. 1, ед. хр. 49, л. 6.

[16] ЦГИА, ф. 840, оп. 1, д. № 52, л. 1 — 1 об.

[17] Там же, л. 3 — 3 об.

[18] Даты рождения и смерти родственников Батюшкова здесь и далее (кроме особо оговоренных случаев) приводятся по книгам: Петербургский Некрополь, т. 1, 2. Спб., 1912; Московский Некрополь, т. 1. Спб., 1907; Русский провинциальный Некрополь, т. 1. М., 1914.

[19] См.: Бунаков Н. Ф. Батюшков в Вологде. Заметки к его биографии.— Русский вестник, 1874, № 8, с. 504.

[20] Даты рождения Александры и Варвары указаны в документах о разделе имения А. Г. Батюшковой: Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее: ИРЛИ), ф. 19, ед. хр. 55, л. 2 об. — 3.

[21] Петербургский Некрополь, т. 1, с. 158.

[22] См. автограф записной книжки «Чужое: мое сокровище!»: ГПБ, ф. 50, ед. хр. 10.

[23] Подробнее см.: Колесников П. А. Устюжна. Очерки истории города и района. Архангельск, 1979.

[24] Сын Отечества, 1821, ч. 70, № 24, с. 177.

[25] Греч Н. И. Записки о моей жизни. Л., 1930, с. 490.

[26] Опись представляет собой тетрадь большого формата, заполненную почерком Л. А. Батюшкова: ЦГИА, ф. 840, оп. 1, д. № 63.

[27] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. Изд. 3-е. М., 1964, т. 6, с. 596.

[28] См.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Пособие для учителя. Л., 1980, с. 42 — 52.

[29] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 20, л. 1 — 2.

[30] Там же, ед. хр. 79.

[31] Автограф письма см.: ГПБ, ф. 50, ед. хр. 23, л. 1.

[32] ЦГИА, ф. 840, оп. 1, ед. хр. 52, л. 4.

[33] Там же, д. № 73, 75.

[34] Там же, ед. хр. 65, л. 83 — 83 об.

[35] См. отрывки из некролога, приведенные Л. Н. Майковым (Батюшков, его жизнь и сочинения, с. 9).

[36] Беляев А. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805 — 1850. Ч. I. Спб., 1882, с. 50.

[37] Шарада записана в 1880-е гг. Н. Н. Новиковым: ГПБ, ф. 523, ед. хр. 527, л. 56.

[38] Там же, л. 56, 57.

[39] ЦГИА, ф. 733, оп. 86, ед. хр. 20, л. 1.

Глава вторая. МУРАВЕЙНИК

[1] См.: Жинкин Н. Л. М. Н. Муравьев.— Известия отделения русского языка и словесности императорской Академии наук, кн. I. Спб., 1913, с. 316 — 324; Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938; Кулакова Л. И. М. Н. Муравьев.— Ученые записки ЛГУ, серия филологических наук, 1939, № 47, вып. 4; Кулакова Л. И. Предисловие к кн.: Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967; Орлов П. А. Русский сентиментализм. М., 1977, с. 94 — 109, 191 — 197.

[2] Цит. по вступ. ст. Л. И. Кулаковой, с. 7.

[3] Там же, с. 8.

[4] Письмо опубликовано в кн.: Эйдельман Н. Я. Лунин. М., 1970, с. 5 — 7.

[5] Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 325.

[6] ЦГИА, ф. 733, оп. 86, ед. хр. 20, л. 2, 3.

[7] Там же, оп. 28, д. № 23.

[8] Майков Л. Н. Батюшков..., с. 13.

[9] Там же, с. 24.

[10] Цит. по кн.: Орлов В. Русские просветители 1790 — 1800-х годов, Л., 1950, с. 181.

[11] Жихарев С. П. Записки современника. М. — Л., 1955, с. 190.

[12] Гуковский Г. А. Очерки..., с. 252 — 253.

[13] Муравьев М. Н. Стихотворения. Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Л. И. Кулаковой. Л., 1967 (Б-ка поэта. Большая серия).

[14] Орлов П. А. Русский сентиментализм, с. 108 — 109.

[15] Гуковский Г. А. Очерки..., с. 279.

[16] Там же, с. 251.

[17]. Аксаков С. Т. Биография М. Н. Загоскина, М,. 1853, с. 12.

[18] А. В. (Уваров С. С.) Литературные воспоминания.— Современник, 1851, т. 27, № 6, с. 39.

[19] Солнцев Ф. Т. Моя жизнь и художественно-археологические труды.— Русская старина, 1876, № 3, с. 619.

[20] Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1892, ч. 4, с. 137 — 138.

[21] Неопубликованные письма А. Н. Оленина к К. Н. Батюшкову цитируются по автографу: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 41, л. I.

[22] Солнцев Ф. Т. Моя жизнь..., с. 619 — 620.

Глава третья. ДВЕ ВОЙНЫ

[1] Русская старина, 1896, т. 87, № 9, с. 621 — 622.

[2] Подробнее о милиции 1806 — 1807 гг. см.: Горновский И. А. Сто лет назад.— Русский архив, 1904, кн. 2, № 8, с. 534 — 554.

[3] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 53, л. 3.

[4] *Бобров Семен Сергеевич* (ок. 1767 — 1810) — поэт начала XIX века, предмет насмешек писателей-карамзинистов.

[5] Русский архив, 1892, кн. 2, № 6, с. 206.

[6] Москвитянин, 1851, ч. VI, № 11, с. 15. См. также: ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 2.

[7] Майков Л. Батюшков..., с. 50.

[8] Письмо опубликовано там же, с. 52.

[9] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 53, л. 1.

[10] Письма Батюшкова к Оленину опубликованы в томе III «Сочинений»; пять писем Оленина см.: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 41.

[11] Русский архив, 1869, № 2, с. 137.

[12] См. письмо московских купцов Дмитриевых к Батюшкову: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 31. Л. Н. Майков упустил этот «вологодский» период его жизни, отметив, что поэт был «на походе в Финляндии (Батюшков..., с. 56 — 57). Письма к Н. И. Гнедичу (III, 17 — 18) были написаны не «с похода», а из Вологды.

[13] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 20, л. 20 — 21.

[14] Документы по разделу имения см.: там же, ед. хр. 55.

[15] ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 2.

[16] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 41, л. 1 — 2.

[17] Там же, ед. хр. 24, л. 1 — 1 об.

[18] Там же, ед. хр. 74.

[19] Русский архив, 1870, № 3, ст. 356 — 357.

[20] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 41, л. 4.

[21] Здесь и ниже письма Н. И. Гнедича цитируются по автографу: ИРЛИ, Р. I, оп. 5, ед. хр. 56. Частично они опубликованы М. Г. Альтшуллером: Ежегодник Рукоп. отд. Пушкинского дома на 1972 год. Л., 1974, с. 78 — 92.

[22] ИРЛИ, 3006/XII, с. 51.

Глава четвертая. ХАНТОНОВО И МОСКВА

[1] *Сладковский Р. С.* — автор многократно осмеивавшейся поэмы «Петр Великий» (Спб., 1803).

[2] *Улисс, «Итакский муж»* — Одиссей, спутники которого были превращены в свиней; *Ио* — нимфа, превращенная в корову; *Леда* — здесь: гусыня; *Адмет* — фессалийский царь, стада которого пас *Аполлон* (греч. миф.).

[3] *Анна Петровна* — Квашнина-Самарина (см. главу вторую).

[4] Князь *И. А. Гагарин*, камергер двора, был близок со знаменитой трагической актрисой *Е. С. Семеновой, впоследствии ставшей его женой.* Гнедич обучал Семенову театральной декламации. В 1809 г. Гагарин, по ходатайству Семеновой, выхлопотал для Гнедича «пенсион». Батюшков в сентябре 1809 г. написал и от имени Гнедича послал Семеновой благодарственные стихи.

[5] *«Пальцы»* и *«Ода Лебрена на старость»* — не дошедшие до нас произведения Батюшкова.

[6] *Тургенев* Александр Иванович — см. о нем в главе пятой.

[7] Понятие и слово *«славенофил»*, в свое время сочиненное И. И. Дмитриевым, вошло в литературный обиход после сатиры Батюшкова.

[8] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 41, л. 7.

[9] Там же, ед. хр. 24, л. 3.

[10] Там же, л. 3 об.

[11] Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1895 год. Спб., 1898. Приложение, с. 11 (публ. И. А. Бычкова).

[12] Фридман Н. В. Проза Батюшкова. М., 1965, с. 56 — 64.

[13] Вигель Ф. Ф. Записки, ч. I. М., 1891, с. 187.

[14] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VII. Спб., 1890, с. 396.

[15] ИРЛИ, Р. I, оп. 5, ед. хр. 56, л. 12.

[16] Ряд непубликовавшихся писем К. Н. Батюшкова к П. А. Вяземскому хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (далее: ЦГАЛИ): ф. 195, оп. 1, ед. хр. 146, л. 1.

[17] Там же, л. 82.

[18] Рассказано П. Н. Батюшковым. См.: Майков Л. Батюшков..., с. 90.

[19] Тиханов П. Н. Н. И. Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам. Спб., 1884, с. 40.

[20] Там же, с. 64.

[21] Нечаева В. Отец и сын. Юношеские годы П. А. Вяземского.— Голос минувшего, 1923, № 3, с. 44.

[22] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 146.

[23] Здесь и далее неопубликованные письма П. А. Вяземского к Батюшкову цитируются по автографу: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28.

[24] ГПБ, ф. 178, ед. хр. 7. Запись Г. Н. Геннади (1849 г.) представляет собой пересказ воспоминаний его отца.

[26] Анастасевич Василий Григорьевич (1775 — 1845) — плодовитый писатель и переводчик, издатель журнала «Улей» (1811 — 1812).

[25] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28, л. 25.

[27] Экспромт Вяземского входит в состав неопубликованного письма к Батюшкову: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28, л. 21 — 21 об.

[28] Лотман Ю. М. А. С. Пушкин..., с. 12.

[29] Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4-х т., т. 4. М. — Л., 1960, с. 559.

[30] Бессараб М. В. А. Жуковский. Книга о великом русском поэте. М., 1975, с. 23.

[31] Пушкин. Полн. собр. соч. М. — Л., 1949, т. 12, с. 272 — 273.

[32] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28, л. 6.

Глава пятая. ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД

[1] *Захаров* Иван Семенович (1754 — 1816) — писатель, председатель одного из «разрядов» «Беседы любителей русского слова».

[2] *«Песня на зиму»* — стихотворение А. С. Шишкова.

[3] Под *Анакреоном* здесь понимается любитель «амурных» развлечений и женщин легкого поведения.

[4] *Висковатов* Степан Иванович (1786 — 1831) — писатель, член-сотрудник «Беседы...».

[5] *Станевич* Евстафий Иванович — член-сотрудник «Беседы...», подражатель «могильной» поэзии Юнга.

[6] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 28, л. 33 — 33 об.

[7] Там же, ед. хр. 39.

[8] См.: Русская старина, 1884, т. 43, с. 106 — 108.

[9] ИЛРИ, ф. 19, ед. хр. 30, л. 6.

[10] ЦГИА, ф. 733, оп. 15, ед. хр. 14.

[11] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 24, л. 4.

[12] Русский архив, 1869, № 1, ст. 181 — 182.

[13] Там же, ст. 183.

[14] Русский архив, 1868, № 12, ст. 1984 — 1985.

[15] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 38.

[16] Там же, ед. хр. 30.

[17] Там же, ед. хр. 25, л. 3 — 4.

[18] Тарле Е. В. 1812 год. М., 1961, с. 493. Курсив наш.

[19] Сын Отечества, 1813, ч. III, № 6, с. 296.

[20] Лотман Ю. М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века.— В кн. Л.: Статьи по типологии культуры. Материалы к курсу теории литературы, вып. 2. Тарту, 1973, с. 42 — 73.

[21] Лотман Ю. М. Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия.— Там же, с. 87 — 89.

[22] Русская старина, 1874, т. IX, № 4, с. 770.

[23] Там же, с. 766 — 767.

[24] Пушкин. Полн. собр. соч., АН СССР, 1949, т. II, с. 84; Записки княгини М. Н. Волконской. Чита, 1960, с. 46.

[25] Кривицкий А. Отблеск Бородина.— Смена, 1982, № 17, с. 17 — 22.

[26] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч, т. 13, с. 37.

[27] Глинка С. Н. Записки о 1812 годе. Спб., 1836, с. 98.

[28] Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981, с. 127.

[29] Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения, ч. I. М., 1839, с. 40 — 41.

[30] Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982, с. 178.

[31] Русский архив, 1869, № 1, ст. 207 — 208.

[32] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 20, л. 9.

[33] Цит. по кн.: Эйдельман Н. Апостол Сергей. М., 1975, с. 84.

[34] Русская старина, 1874, т. IX, № 3, с. 566.

[35] Неодобрительное упоминание М. И. Кутузова отражает настроения высшего московского общества, обвинявшего главнокомандующего в оставлении Москвы без боя.

[36] ИРЛИ, Р. I, оп. 5, ед. хр. 56, л. 14.

[37] Изв. АН СССР, Отд. лит. и яз., т. 14, вып. 4. М., 1955, с. 370.

[38] Русский архив, 1868, № 12, ст. 1984.

[39] Цит. по кн.: М. И. Кутузов. Материалы юбилейной сессии военных академий Красной Армии. М., 1947, с. 20.

[40] Русский архив, 1892, кн. III, № 10, с. 235.

Глава шестая. ТРЕТЬЯ ВОЙНА

[1] См. письмо С. П. Жихарева к Батюшкову: ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 32.
[2] См. письмо А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому, конец октября 1812: Русский архив, 1866, ст. 251 — 252.
[3] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 32, л. 2.
[4] Там же, ед. хр. 44.
[5] См. письмо Д. В. Дашкова к Д. Н. Блудову: ГПБ, ф. 78, ед. хр. 18.
[6] Русский архив, 1876, кн. III, № 10, с. 131 — 132.
[7] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3055, л. 3 об.
[8] Фонвизин М. А. Обозрение проявлений политической жизни в России.— В кн.: Общественное движение в России в первую половину XIX века, т. I. Спб., 1906, с. 172.
[9] Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., 1934, с. 243.
[10] Цитата из трагедии Вольтера «Эрфила». В оригинале — по-французски.
[11] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3055.
[12] Русский архив, 1888, кн. III, № 11, с. 384.
[13] ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 3.
[14] Дурылин С. Русские писатели у Гете в Веймаре.— Литературное наследство, т. 4 — 6. М., 1932, с. 260 — 264.
[15] Лорер Н. И. Записки. М., 1931, с. 335 — 336.
[16] См.: Русский архив, 1878, № 1, с. 127 — 128.
[17] Лорер Н. И. Записки, с. 339 — 340.
[18] Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 22, с. 30.
[19] Русский архив, 1888, кн. III, № 11, с. 383.
[20] ГПБ, ф. 588, ед. хр. 419.
[21] Русский архив, 1876, кн. I, № 2, с. 258.
[22] Тарасов Е. И. Донской атаман Платов. Спб., 1903, с. 25 — 27.
[23] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 36. Письмо датировано 14/26 декабря 1814 г.
[24] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1820, л. 6 об.
[25]. ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 50.
[26] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 58 — 59.
[27] Алексеев М. П. Вальтер Скотт и его русские знакомства.— Литературное наследство, т. 91. М., 1982, с. 254.
[28] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 46.
[29] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1820, л. 6. Цитата — из баллады В. А. Жуковского «Людмила».
[30] Русский архив, 1874, ч. II, № 9, с. 735 — 736.

Глава седьмая. НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

[1] Толстой Л. Н. Так что же нам делать? — Собр. соч.: В 22-х т. М., 1983, т. 16, с. 357.
[2] Русский архив, 1866, ст. 886.
[3] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 67 — 67 об.
[4] Русский архив, 1887, т. II, № 7, с. 343.
[5] ГПБ, ф. 50, оп. 1, ед. хр. 5, л. 107.
[6] Письмо Вяземского цитируется по автографу: ИРЛИ, ф. 19; ед. хр. 28, л. 28 — 28 об.
[7] Письмо Батюшкова цитируется по автографу: ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 60 — 60 об.
[8] Майков Л. Батюшков..., с. 2 — 3.
[9] Воспоминания Ф. А. Оома.— Русский архив, 1896, т. II, № 6, с. 222.
[10] Майков Л. Батюшков..., с. 146.
[11] Русский архив, 1896, т. II, № 6, с. 223.
[12] Там же, с. 225.
[13] Здесь и далее цитаты из статьи В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина (статья третья) приводятся по изд.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955.

[14] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 13, с. 3.

[15] В кн.: Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд. 2-е. Спб., 1899, с. 69.

[16] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 20, л. 2.

[17] Фрагмент письма с упоминанием Пушкина опубликован: Временник Пушкинской комиссии, 1962, с. 29 — 32 (публ. Н. В. Измайлова). Датировка письма уточнена нами с учетом анализа двусторонней переписки Батюшкова и Вяземского.

[18] См.: Майков Л. Н. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. Спб., 1899, с. 284 — 317; Гершензон М. Статьи о Пушкине. М., 1926, с. 18 — 30; Томашевский Б. Пушкин, кн. I. М. — Л., 1956; Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971, с. 315 — 358; Временник Пушкинской комиссии, 1972, с. 16 — 35; 1976, с 5 — 14, 24 — 45, 147 — 156 и др.

[19] М. А. Цявловский определил эту дату, сопоставив тетрадь заболеваний лицеистов с фактами жизни Батюшкова в Петербурге; однако Батюшков уехал из Петербурга не в феврале (как указал Л. Н. Майков), а в конце марта — начале апреля, то есть мог встретиться с Пушкиным и позже этой даты.

[20] Макогоненко Г. П. От Фонвизина до Пушкина. Из истории русского реализма. М., 1969, с. 502.

[21] Дементьев В. За белой зарей. М., 1978, с. 233.

[22] Уткинский сб., вып. I. М., 1904, с. 13.

[23] Жуковский В. А. Полн. собр. соч., т. IX. Спб., 1902, с. 30.

[24] Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946, с. 165.

[25] Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976, с. 343.

[26] Тургенев Н. И. Дневники и письма, т. III. Пг., 1921, с. 125.

[27] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 29.

[28] Там же, ед. хр. 54.

[29] Там же, ед. хр. 52.

[30] ЦГАЛИ, ф. 141, оп. 1, ед. хр. 177, л. 4.

[31] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 56, л. 13 об., 55, 252; ед. хр. 57, л. 1091 — 1098.

[32] См.: ГПБ, ф. 50, ед. хр. 31.

[33] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 20, л. 13.

[34] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11, с. 21.

[35] Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова, с. 186.

[36] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1416, л. 42. Батюшков имеет в виду послание В. А. Жуковского «К императору Александру».

[37] Вигель Ф. Ф. Записки, ч. 4, с. 170.

[38] Русский архив, 1864, ст. 459 — 460.

[39] Прометей, т. II. М., 1967, с. 147 — 148 (публ. Н. В. Фридмана).

[40] Вигель Ф. Ф. Записки, ч. 4, с. 173 — 174.

[41] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 13, с. 3.

[42] Из письма Д. В. Дашкова к П. А. Вяземскому от 26 ноября 1815. Цит. по кн.: Литературные салоны и кружки. М. — Л., 1930, с. 75.

[43] См.: Арзамас и арзамасские протоколы. Ввод. ст., ред. и прим. М. С. Боровковой-Майковой, предисл. Д. Д. Благого. Л., 1933.

[44] Современник, 1851, т. 27, с. 37 — 38.

[45] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. X. Спб., 1892, с. 246.

[46] Литературное наследство, т. 91. М., 1982, с. 657 — 658.

Глава восьмая. «ОПЫТЫ»

[1] Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка кн. П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. Спб., 1899, т. I, с. 36.

[2] Арзамас и арзамасские протоколы, с. 169.

[3] ГПБ, ф. 777, ед. хр. 1576.

[4] Отчет Имп. Публ. библиотеки за 1895 г., с. 16 — 18.

[5] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 31, л. 11 об.
[6] Там же, ед. хр. 4.
[7] Отчет Имп. Публ. библиотеки за 1895 г., с. 28.
[8] Там же, с. 20 — 23.
[9] Отрывки из не вошедших в т. III писем Батюшкова цитируются по тому же источнику, с. 23 — 27.
[10] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 20, л. 11.
[11] Остафьевский архив..., т. I, с. 83.
[12] Полевой Н. О духовной поэзии.— Библиотека для чтения, 1838, т. 23, с. 93.
[13] Арзамас и арзамасские протоколы, с. 242.
[14] Москвитянин, 1851, № 21, кн. I, с. 15.
[15] Арзамас и арзамасские протоколы, с. 152.
[16] Русская старина, 1899, № 5, с. 339 — 341.
[17] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. X, с. 246.
[18] Арзамас и арзамасские протоколы, с. 227.
[19] Архив братьев Тургеневых, т. III. Спб., 1910, с. 93.
[20] ЦГАЛИ, ф. 63, оп. 1, ед. хр. 12.
[21] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 5.
[22] Отрывки разрозненных воспоминаний Н. Н. Батюшкова хранятся у И. Я. Обуховой. Опубликованы в районной газете г. Устюжны Вологодской обл.: «Вперед», 17 декабря 1983 г.
[23] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 54, л. 1 об.
[24] Там же, ед. хр. 52, л. 1.
[25] Сын Отечества, 1820, ч. 62, № 23, с. 145—151.
[26] Арзамас и арзамасские протоколы, с. 34.
[27] ГПБ, ф. 50, ед, хр. 6, л. 1 — 1 об.
[28] Там же, л. 3.
[29] Остафьевский архив..., т. I, с. 121.
[30] Русская старина, 1893, т. 77, № 3, с. 527 — 528.
[31] Пушкин и его современники, вып. II. Спб., 1904, с. 77.
[32] ИРЛИ, Р. III, оп. 1, ед. хр. 518.
[33] Остафьевский архив..., т. I, с. 149.
[34] Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984, с. 74.
[35] ИРЛИ, Р. III, оп. 1, ед. хр. 518, л. 2.
[36] Жуковский В. А. Сочинения в трех томах, т. 3. М., 1980, с. 480.
[37] Остафьевский архив..., т. I, с. 150.
[38] Цит. по кн.: Майков Л. Батюшков..., с. 205.

Глава девятая. ИТАЛИЯ

[1] Скульптор С. И. Гальберг в его заграничных письмах и записках. Собрал В. Ф. Эвальд. Спб., 1884, с. 60.
[2] Щедрин С. Письма из Италии. Ред., вступ. ст. и прим. А. Эфроса. М.— Л., 1932, с. 88.
[3] Там же, с. 95.
[4] Остафьевский архив..., т. I, с. 202.
[5] Щедрин С. Письма из Италии, с. 110 — 111, 142 — 143.
[6] Там же, с. 116 — 117.
[7] Остафьевский архив..., т. I, с. 261.
[8] Русский вестник, 1874, № 8, с. 507.
[9] ЦГАЛИ, ф. 63, оп. 1, ед. хр. 16, л. 3 об. — 4.
[10] Погодин М. П. Н. М. Карамзин. Материалы для биографии. М., 1866, ч. II, с. 243 — 244.
[11] Русский вестник, 1865, № 10, с. 531.
[12] Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825 — 1826 гг.). М.— Л., 1964, с. 222 — 223.

[13] Из письма П. Л. и С. А. Батюшковых к П. А. Шипилову, 20 августа 1820.— ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 64.
[14] Остафьевский архив..., т. 2, с. 53.
[15] Русский архив, 1867, ст. 652 — 653.
[16] Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова, с. 229 — 230.
[17] Остафьевский архив..., т. 2, с. 60 — 61.
[18] Щедрин С. Письма из Италии, с. 136.
[19] Там же, с. 137 — 138.
[20] Русская старина, 1910, т. 144, № 11, с. 454.
[21] Там же, с. 453.
[22] Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982, с. 191.
[23] Остафьевский архив..., т. 2, с. 144 — 145.
[24] Цит. по кн.: Майков Л. Батюшков..., с. 245. Оригинал по-французски.
[25] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 6, л. 7 — 8.
[26] Щедрин С. Письма из Италии, с. 169.
[27] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 37.
[28] Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма, с. 212.
[29] Остафьевский архив..., т. 2, с. 216.
[30] Цит. по кн.: Майков Л. Батюшков..., с. 223 — 224.
[31] Остафьевский архив..., т. 2, с. 244.
[32] Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти, изд. 2-е. М., 1869, с. 197. См. также: Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.— Л., 1930, с. 406.
[33] См.: Русский архив, 1899, кн. II, с. 574 — 575; Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927, с. 183; Пушкин. Письма, т. III. М.— Л., 1935, с. 72 — 73, 500 — 501.
[34] Цит. по кн.: Майков Л. Батюшков..., с. 271. Оригинал по-немецки.
[35] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 6, л. 15.
[36] Там же, л. 21.
[37] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VIII. Спб., 1883, с. 481.

Глава десятая. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

[1] Библиотека для чтения, 1834, т. II, с. 18.
[2] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 6, л. 41.
[3] Старина и новизна, 1897, кн. I, с. 124.
[4] Остафьевский архив..., т. 2, с. 249.
[5] Русский архив, 1871, кн. II, с. 970 — 971.
[6] Паспорт см.: ГПБ, ф. 50, ед. хр. 6, л. 23.
[7] Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма, с. 213, 214.
[8] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1909, л. 16 об. — 17.
[9] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 5082, л. 99.
[10] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 13, с. 42.
[11] Старина и новизна, 1917, кн. 22, с. 31.
[12] Щедрин С. Письма из Италии, с. 181.
[13] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1909, л. 226.
[14] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 70.
[15] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 332.
[16] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 51.
[17] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 71.
[18] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 6, л. 33.
[19] Русский архив, 1900, № 2, с. 188 — 189.
[20] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 38, л. 1 — 1 об.
[21] Там же, ед. хр. 54.
[22] Цит. по кн.: Майков Л. Батюшков..., с. 251. Оригинал по-французски.
[23] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 38, л. 2.
[24] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2888, л. 34.
[25] Русский архив, 1902, кн. II, № 8, с. 342.

[26] Цит. по кн.: Майков Л. Батюшков..., с. 252 — 253. Оригинал по-французски.
[27] Остафьевский архив..., т. 2, с. 319 — 324.
[28] Старина и новизна, 1897, кн. I, с. 142.
[29] Русский архив, 1902, кн. II, № 8, с. 344.
[30] Русский архив, 1900, кн. I, № 2, с. 191.
[31] Старина и новизна, 1897, кн. I, с. 148.
[32] Остафьевский архив..., т. 3, с. 22.
[33] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 1909, л. 229 об. — 230.
[34] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 29, л. 11.
[35] Остафьевский архив..., т. 3, с. 50.
[36] Цит. по кн.: Майков Л. Батюшков..., с. 258. Оригинал по-французски.
[37] Остафьевский архив..., т. 3, с. 70 — 71.
[38] Тургенев А. И. Хроника русского, с. 288 — 289.
[39] Майков Л. Батюшков..., с. 259 — 260. Оригинал по-французски.
[40] Из письма А. Н. Батюшковой к В. А. Жуковскому от 4/16 марта 1827.— ГПБ, ф. 50, ед. хр. 49.
[41] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр.1820, л. 24 об.
[42] Здесь и далее выдержки из дневника Дитриха приводятся по подлиннику (в переводе с немецкого): ГПБ, ф. 50, ед. хр. 41 — 42.
[43] Эфрос А. Рисунки поэта. Л., 1933, с. 95.
[44] Майков Л. Батюшков..., с. 262.
[45] Русский архив, 1895, кн. I, с. 247.
[46] Майков Л. Батюшков..., с. 262.
[47] ГПБ, ф. 50, ед. хр. 49.
[48] ИРЛИ, ц. 19, ед. хр. 57, л. 1045.
[49] Там же, л. 1091 — 1091 об.
[50] Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. III. Спб., 1890, с. 36.
[51] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 14, с. 74.
[52] Русская старина, 1896, № 7, с. 84.
[53] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 56 и 57. Далее все материалы приводятся по этому источнику.
[54] Русская старина, 1883, т. 39, № 9, с. 548.
[55] Русский вестник, 1874, № 8, с. 512.
[56] Воспоминания А. С. Власова здесь и далее цитируются по автографу: ЦГАЛИ, ф. 63, оп. 1. ед. хр. 17.
[57] Никитенко А. В. Дневник, т. I. М., 1955, с. 157 — 158.
[58] «Вперед», 17 декабря 1983.
[59] Москвитянин, 1842, № 8, с. 281 — 282.
[60] Непеин С. Вологда прежде и теперь. Вологда, 1906, с. 127.
[61] Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь в 1847 году. М., 1850, ч. I, с. 111.
[62] Там же, с. 112 — 114.
[63] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 67, л. 3 об.
[64] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 3055, л. 13 об.
[65] Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. I. Спб, 1885, с. 419.
[66] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 5888.
[67] Вологодские губернские ведомости, 1855, № 29 от 16 июля. Автор некролога — П. Сорокин.
[68] ИРЛИ, ф. 19, ед. хр. 57, л. 1293 — 1293 об.

СОДЕРЖАНИЕ

Кошелев Вячеслав Анатольевич

КОНСТАНТИН БАТЮШКОВ.
СТРАНСТВИЯ И СТРАСТИ.

Редактор *Т. Марусяк*
Художественный редактор *А. Никулин*
Технический редактор *Н. Ганина*
Корректоры *О. Добромыслова, Г. Панова*

ИБ № 4725
Сдано в набор 14.01.87. Подписано к печати 03.09.87. А 12066. Формат 60×84/16. Гарнитура литер. Печать офс. Бумага офсет. № 2. Усл. печ. л. 20,46. Усл. кр.-отт. 41,27. Уч.-изд. л. 22,43. Тираж 50 000 экз. Заказ 365. Цена 2 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30